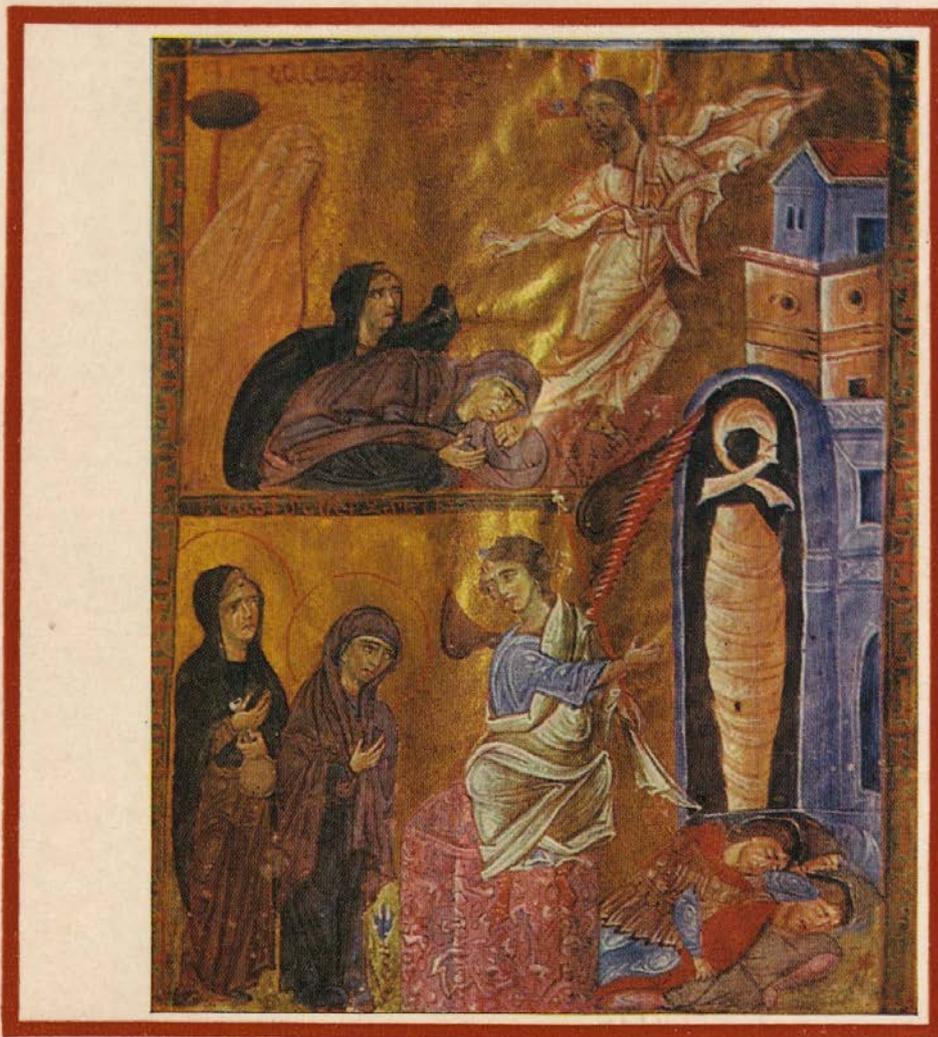
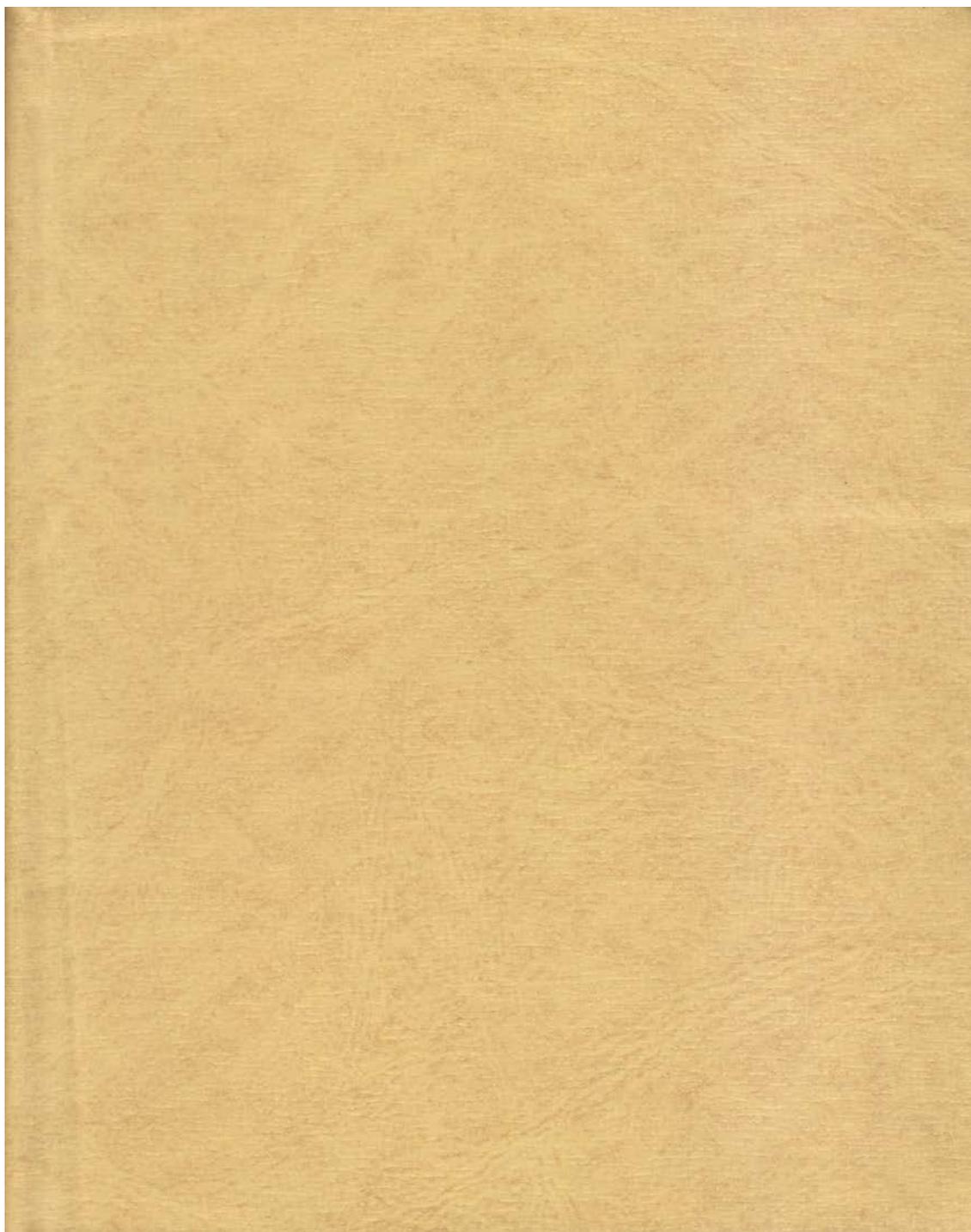


ТЕЛЬМАН ЗУРАБЯН
Дорог Рослин





ТЕЛЬМАН ЗУРАБЯН

Գործընկեր
Մանկիկ

Издательство
"Советакан Грох"
Ереван ~ 1978

T5 Ap 1
P 74 3

3 $\frac{70303 (475)}{705 (01) 78}$ 96.78 «М»

© Издательство «Советакан грох», примечания, 1978

ОТ АВТОРА

Книга «Торос Рослин» посвящена великому армянскому художнику-миниатюристу XIII века, его времени.

Нехватка материала осложняет работу биографического произведения. Мы мало знаем о Брейгеле Старшем, однако жизни и творчеству великого голландца посвящено множество исследовательских и беллетристических работ, сохранились дома, мимо которых он проходил, церкви, в которых он молился.

О Рослине известно гораздо меньше. И самой его Родины — Киликийской Армении — уже нет. Есть руины. Традиции прежней богатейшей культуры оборваны.

Делая попытку воссоздать образ живописца по его искусству, автор с предельной строгостью отнесся к отбору фактов. События того времени — естественный фон. Он остановился на тех из них, которые опосредованно отразились в искусстве Рослина.

Автором избрана форма, в которой сочетаются искусствознание и история, проза и публицистика. Естественно, такая форма допускает и домысел, но исторически достоверный, психологически убедительный, ибо автор строил свой замысел на тщательном изучении материала об эпохе.

«Торос Рослин» — художественное произведение, однако содержащиеся в нем сведения находятся в строгом соответствии с наукой.

Автор за то, чтобы о художнике писать образно, воссоздавая его мир и стиль. Краски художника, цвета его земли становятся как бы действующими лицами такого произведения, помогая сделать его созвучным искусству героя, настроениям и ассоциациям, которые рождают его картины.

Целью автора было показать художника в кругу страстей его современников, развернуть перед читателем картины нравов, обычаев, предрассудков эпохи.

Автор придерживается девиза Юрия Николаевича Тынянова «Там, где кончается документ, я начинаю!». Есть в книге главы, где Рослин не появляется и не упоминается, но они помогают понять время, страну. Трагизм и драматизм — основные черты искусства киликийца, они рождены судьбой художника, связанной с судьбой его народа.

Каждая глава книги — новый ракурс. (Исключение — «Силуэт», здесь собраны все сведения о герое). Ученик, мастер, главный художник скриптория, окружающие его лица, отношение к ереси, к кипевшим вокруг страстям, дух творчества, суровые дни Киликии.

Глава «Странствия» посвящена пребыванию Рослина в Константинополе, среди памятников византийского искусства. Цель ее — показать, что именно в этом искусстве близко мироощущению киликийского художника, поскольку византийская книжная живопись оказала влияние на киликийскую и, в частности, на самого Рослина. Глава «Странствия» помогает понять истоки творчества Рослина, национальную основу его живописи, традиции, которые он развивал, его новаторство.

Одна из глав — о величайшем памятнике армянского искусства, рукописи «Чашоц». На протяжении многих лет иллюстратором «Чашоца» считали Рослина, и теперь, когда ученые отклонили это мнение, хотелось показать, насколько различны Рослин и неизвестный мастер «Чашоца», два больших живописца своего времени.

Великий художник, мыслитель, гражданин. Таков Рослин. Таким автор и хотел представить его читателю.

Хвала тебе, человек, что вырастил в саду, цветущем и вечном, свое могучее древо. Хвала тебе, мастер, что подарил людям красоту, дотоле неведомую. Хвала тебе, сын народа, что увековечил дух и чаяния родной земли.

Ты творил под сенью креста, но вокруг была жизнь. Она захватывала, увлекала красками, звуками, ароматами, цветением, воздухом. Она окрыляла, волновала, заполняла душу. И краски твои, овеянные светом горящих свечей, несли в себе и свет солнца.

В твой век, когда из картин изгонялась плоть, и взгляды, безжизненные, отрешенные, тянулись вверх, к богу, ты смог подняться над канонами и показать красоту сущего.

В твоих Христах и богоматерях билось живое сердце. И что бы ни писал ты — рай, ад, радость или скорбь, во всем этом всегда была любовь к человеку, человеческому. Так хвала тебе, мастер, за эту любовь. И да будет благословен час, когда ты взял кисть и увиденное оком твоим воскресло на пергаменте!

ПРОЛОГ



кажи о себе, Торос Рослин, о деяниях своих, о прожитой жизни...

— Я художник.

— Говорят, к тебе благоволили царь и католикос, ты был вхож в их хоромы, присутствовал на их празднествах...

— Я художник.

— Тебя, лучшего мастера Киликии, знали во многих странах, ты вкусил радость большого признания.

— Художник, художник я...

Льет дождь, хлещет ветер, заходит и восходит солнце, кружится, кружится и возвращается на круги свои. Вырастают и гибнут деревья, заполняются и высыхают моря. Человек в длиннополой мантии смотрит вдаль...

Неужели он превращается в бронзу, становится памятником?

Скорбь, муки, маята, тяготы, страх, укор, боль телесная, любовь, надежда, вера, радость. Страсти земные, человеческие. Седоглавые, умудренные жизнью старцы, стройный девичий стан, изумленные детские лица. Трепетны руки, дышат тела, напряглись в раздумье головы. Ступает нога по земле, опаленной солнцем, оранжевой. И видишь пурпурные хитоны, серебристые туники, сверкающие глаза. Прост Христос, и все святые сродни людам. Их лики насмешливы и грустны. И золотом залиты земля и небо. Врываются в облака островерхие купола. Свисает с арок пышная зелень. Чинно ступает спесивый красавец павлин, вьют гнезда аисты. Пестрит одежда акробатов и плясунов. Замерли в ожидании схватки тигры, львы и барсы. И комедианты вот-вот захохочут...

Торос Рослин!

Тихо, тихо. Замолкли колокола, застыли одинокие развалины. Недвижимы пальмы и кипарисы. Замерли волны морские и стихли ветры. Но тишину нарушают шаги. Они приближаются.

Он шел по раскаленным камням большого города мимо плоскокровельных усадеб, увитых виноградными лозами, оливковых садов, изрезанных узенькими канальчиками, дворцов с бельведерами и террасами, угрюмых соборов, увенчанных высокими крестами, многолюдных, шумных площадей, где звучали речи, сверкали украшения, мимо толпы менял, мимо торговцев, жаждущих сделки, оракулов, поражавших предвидениями. В длиннополом голубом хитоне, расшитом шелком, с откинутой головой, со сдержанным, но приветливым взглядом, он походил на пророка со страниц писания.

— Варпет Рослин...

Ему отвечивали почтительные поклоны, и он отвечал тем же. Он любил приезжать в столицу, ходить по ее улицам, подолгу, внимательно вглядываясь в лица людей, в строения.

— Варпет Рослин, хотелось бы знать, что ты думаешь о богохульниках-комедиантах, грешных и растленных, желающих опорочить наши души, вселить в них беса? Они сегодня будут играть притчу Мхитара Гоша, мнившего себя мудрецом и, к сожалению, почившего

своей смертью, когда его следовало бы высечь при всем честном народе и предать анафеме.

Он остановился и призадумался.

— Досточтимые горожане, — сказал он. — Я вижу на ваших лицах злобу, а мир нуждается в доброте! Мнения расходятся, как отроги гор или разливы рек. Я иду посмотреть комедиантов. Надеюсь, буду там не один.

Цветистые шатры комедиантов раскинулись у подножья горы рядом с орхестрой — утрамбованной площадочкой из красного щебня.

Склон, на котором расселись зрители, пестрел одеждами, зонтами и навесами. Торос любил приходить в эти места, где гудела толпа, сменяли друг друга оживление и восторг, слышались вздохи, восклицания, мелькали лица, сталкивались добро и зло.

В этом море страстей Рослин отличал истинное изящество от напыщенного жеста, доброту от подделки под нее.

Он смотрел на сцену, а у него было ощущение, будто он склонился над пергаментом с кистью в руке. Мир открывался перед ним бездной красок, во всей широте, и он мечтал. Было в этом волшебное и манящее.

Под голубым небесным сводом свершалось действие. Показывались обряды, заклинания, сцены из Евангелия, умирали святые, воскресали люди. Толпа негодовала и восторгалась. Она рукоплескала Христу, освистывала Иуду, проклинала Пилата, готовая выскочить на сцену и покарать злодея. Ее изумляли маски, акробаты, шуты, жонглеры, люди, ряженные в драконов, павлинов и обезьян.

Иногда Торос приходил задолго до начала представления, когда на подмостках только начинали устанавливать стулья, столы, вешать занавесы из пурпурной ткани, выносить позолоченные подсвечники и сосуды. Со сцены лилась песня, кто-то читал монолог, доносились реплики, шуты хохотали и трясли миртовыми ветками. Плясали под музыку львы, колдовали перед горящей свечой, звеня бубенцами, обезьяны, ползла по руке дрессировщика змея. Она обвивала его шею, падала и свивалась в клубок.

Торос восторгался этими пластичными существами. Они уводили его воображение к родным лесам, к землям, далеким и жарким. Звери бывали добрыми и злыми, угрюмыми и ласковыми, покладистыми и недовольными. Зевали, почесываясь, полосатые тигры, гримасничали морщинистые обезьяны, вытягивали лапы оцепеневшие в сонной истоме рыжие львы, скулили волки, вцепившись острыми зубами в железные прутья клетки, медленно двигали челюстями иссиня-черные буйволы.

Львам поклонялись. Они олицетворяли солнце, ловкость и смелость, плодоносящие силы природы. Поклонялись также обезьянам, быкам, змеям. Вознеся молитвы, прихожане отправлялись обычно на церковный двор к клеткам и просили у зверей удачи.

Торос всегда был рад своим мохнатым и пятнистым друзьям, наблюдал за ними на городских и сельских площадях, на спектаклях в дни свадеб и маслениц. Ему хотелось писать их. И на страницах евангелия появлялись львы, тигры, барсы. Он писал их, представляя оскал зубов, ярость, слыша дикое рычание, громкий рев, мурлыканье. Изображения не соответствовали евангельскому тексту, но это была жизнь...

Гул рядов, неугомонный, как рокот моря, разносился по склонам. Большие песочные часы извещали о скором начале спектакля. Словно на тропах, восседали именитые горожане с жезлами в руках; купцы — важные, с непроницаемыми лицами — рассказывали о странствиях и странах; о чем-то перешептывались и обменивались плутовскими взглядами ростовщики; чинно покачивали головами краснолицые мясники; ученые мужи спорили между собой, тыча пальцами в свитки пергамента; молча созерцали окружающее благочестивые священники. Слуги и рабы, полунагие, сидели в ногах своих господ, держа на подносе фрукты и сладости.

На сцену вышел комедиант в синем кафтане и красном колпаке, слышались радостные крики, взлетели вверх платки, накидки, затопали по каменным плитам ноги. К нему подскочил шут и, вытащив из-за пазухи рог, затрубил. Появление на сцене людей с раскрашенными лицами и насурьмленными бровями вызвало в рядах зрителей восторг. Потом шут исчез, а комедиант, лукаво улыбнувшись, крикнул: «Мы сыграем вам, люди добрые, притчу мудрого Мхитара Гоша. Ее покажут наши прославленные артисты, ни с кем не сравнимые, известные в Тарсе, Корикосе, Адане, Аназарбе и Маместии, а также за пределами нашей славной Киликии!»

Заколыхались многоцветными волнами зонты, веера, шлемы, накидки, венцы, тиары. Поднялся занавес, и зрители замерли в восторге: разделенная на две части и освещенная горящими свечами сцена предстала перед ними в радужных красках. Слева стояла тахта, расшитая золотыми узорами; стол, инкрустированный драгоценными камнями и слоновой костью; трон, высокий, увенчанный резным куполом. Справа изображалась пустыня: толстый слой песка, небольшая пальма и поблескивающий над ними желтый, обитый шелком круг — солнце.

Появился первый персонаж — царь. Он скинул о себя накидку, снял корону, лег на тахту и захрапел. Это рассмешило зрителей. Царь неожиданно встал и развел руками.

— Странный сон, — сказал он. Падали с неба лисицы, словно дождь. Что бы это значило? Тысяча дахеканов тому, кто истолкует мой сон.

Не успел он произнести это, как прозвенела струна. На сцену вышел человек в разорванной одежде.

— Лишь я, бедняк, — он низко поклонился царю, — могу истолковать твой сон, но дай мне три дня сроку.

Его уверенность потрясла зрителей. Раскрыв рты и вытянув шеи, следили они за тем, как, получив согласие царя, бедняк побежал в «пустыню», взывая к помощи мудрого змея.

А потом раздались звуки свирели, и на сцену медленно выползла змея, большая и серебристая. Она скользила по песку, шурша и извиваясь. Подняв голову, она уставилась на бедняка.

Ряды ахнули. Жизнь бедняка была в опасности. Но тот, как ни в чем не бывало, приблизился к змее.

— Помоги мне, и я отдам тебе половину денег...

Бесстрашие бедняка поразило всех, но вскоре стало ясно, что змея прирученная. Раздались веселые реплики, смех.

Под звуки все усиливающейся музыки змея сворачивалась завитушками, свивалась в узлы, водила головой из стороны в сторону. Она уползла обратно, а бедняк, всем своим видом показывая, что узнал у нее нечто очень важное, воскликнул:

— Спасибо, мудрая змея! Так и передам царю: настало время людей коварных и лживых, как лисицы.

Он передал царю слова змеи, слова тому понравились, ибо люди в его стране тогда были точно такими. Царь распорядился заплатить бедняку тысячу монет, но тот не отдал змее обещанную половину.

— Зачем ей, змее, деньги, — сказал он, заливаясь хохотом. — Мне они больше пригодятся!

Теперь толпа негодовала. Слышалась брань, на бедняка замахали кулаками. Но многим его поступок пришелся по душе.

— Не отдавай, — кричали они. — Деньги всегда пригодятся!

А царь тем временем уже видел другой сон — точно дождь, падали с неба овцы. И бедняку было стыдно опять идти к змее, но он все же пошел, хоть и укорял себя в собственной неблагодарности. Как и в прошлый раз, заиграла музыка и выползла змея, настоящая,

серебристая.

— Прости меня и истолкуй второй сон, — сказал бедняк, — тогда я дам тебе денег и за первую, и за вторую услугу.

Он кинул змее мешочек с деньгами. Вновь под звуки музыки показала змея свои заученные движения, и бедняк, снова всем своим видом давая понять, что узнал нечто важное, воскликнул:

— Так и передам царю: наступило время людей с чистыми, беззлобными, как у овец, душами.

Но в третий раз, когда приснились царю падающие с неба мечи, и змея истолковала это как наступление времени насилия и меча, бедняк не только не дал змее денег, а даже хотел убить ее, но та ускользнула.

И вот он, бедняк, стоит в пустыне, пав в собственных глазах. Зачем он так поступил! Но послышалась знакомая музыка, и подползла к нему змея, а из-за кулис выбежал навстречу бедняку комедиант и, посмотрев на него, сочувственно произнес:

— Вот что передает тебе мудрая змея: не огорчайся, человек, ты ничего не делал по собственной воле, а действовал так, как предписывало тебе время. Времена же были разные. Ты обманул змею во время коварных притворщиков; ты раскаялся, когда пришли им на смену люди с чистой душой, а убить змею захотел, когда настало время торжества людей насилия.

Комедиант захохотал, а выглянувший из-за занавеса шут добавил:

— Вот вам и конец притчи. Не знаю, что хотел сказать наш мудрый Мхитар Гош, но я, люди добрые, понял это так: имей для каждого времени свою шкуру!

...Он шел по прямой тропе, нахмурив брови, углубленный в свой, от всего отгороженный мир. Навстречу вырастал город с куполами, колокольнями, башнями, бамбуковыми и кипарисовыми рощами, густыми и зелеными садами: оттуда доносились голоса пирующих, звуки кимвалов и зурны.

Ты слышишь, варпет Рослин, речь зашла о времени...

Время людей коварных и лживых, время людей чистых душой, время людей жестоких...

Иметь для каждого времени новую шкуру?

А каково оно, твое время, варпет Торос?

Плавно скользит по пергаменту кисть, ложатся краски, и на сверкающем золотом фоне вырисовываются людские лики. Они хохочут, улыбаются, негодуют, смотрят озабоченно. Может, это смеются влюбленные, радуются весне крестьяне или страдают парикосы-изгои, лишенные крова?

Какое оно, твое время, варпет Рослин?

КИЛИКИЯ



умело море. И волны разбивались о скалы. И горы отступали от моря гигантскими ярусами. Вершины их были увенчаны неприступными крепостями. И горы сами тоже были неприступные. Они защищали страну от ветров и нашествий...

Леса здесь изобиловали дичью, долины зеленели садами, а реки несли плодородие землепашцу. В городах шла бойкая торговля, искусства славили жизнь. А в шумных портовых тавернах моряки пили за новые земли и удачу.

Страны этой сегодня нет, но в XI—XIV веках она была в расцвете и славе. Ее называли тогда по-разному — «Киликийская страна», «Армянская страна», по имени ее столицы «Сисван» — «страна Сиса», «Армянская Киликия». Сегодня историки ее называют Киликийской Арменией или просто Киликией.

Расположенная на побережье Средиземного моря, в юго-восточном углу Малой Азии, на юге нынешней Турции, она находилась на стыке трех частей света: Азии, Европы и Африки...

Века, века, нашествия...

«Килаку» — первое упоминание об этой стране находим в клинописи ассирийского царя Салманасара III. Затем о ней вспоминают Геродот и Гомер, Ксенофонт и Страбон, пишут Марко Поло, Вениамин Тудельский, русские летописцы. Ее богатства и выгодное географическое расположение разжигают алчность завоевателей. Ее сокрушают, делят, застраивают и снова сокрушают — чего только не испытывает этот клочок земли! По ее дорогам проносятся колесницы Кира Младшего и Александра Македонского... Обильная, плодородная Киликия привлекает завоевателей и как военный плацдарм — Помпей содержит здесь 50 тысяч солдат, готовых при удобном случае обрушиться на соседнюю страну. Киликийцы не раз восставали против гнета и постоянных грабежей, но безуспешно, — завоеватели, как обычно, оказывались могущественнее...

Прокуратором Рима в Киликии был Цицерон. Не один раз брал он с киликийцев налог по многу миллионов сестерциев...

Века, века — арабские халифы, византийские императоры... И все же завоеватели не только разрушали. Они воздвигали здесь храмы, мосты, водопроводы и военные дороги. Это делалось для собственной пользы. Но они уходили из страны, а сделанное ими оставалось. Впрочем, уходили не все. На этой щедрой земле многие нашли свою вторую родину. И вместе с ними прижились их привычки и традиции. Пусть пришедшее извне часто не приживалось, исчезало. Однако исчезнуть бесследно оно не могло.

В солнечный день, в лунную ночь, в ненастье и мглу — не раз проезжал по этим местам всадник из Ромклы — крепости на скале — в стольный город Сис и обратно.

Белели каменистые дороги, шумели водопады и реки, журчали ручьи, серебрились вершины Аманских гор, ближе к столице они постепенно переходили в голую равнину. А дальше, за горами, равнина становилась все зеленее — появлялись фисташковые кустарники, оливковые рощи, потом посева ячменя, проса, сахарного тростника, а еще дальше начинались сплошные виноградники. Изредка вдоль дороги попадались развалины храмов и забытые часовни.

По утрам над равниной стлался золотисто-голубой пар, и краски вокруг излучали неопишемое сияние.

Далеко в лесу каркали вороны, пели иволги. Всадник видел, как скрывались в чаще дикие козы и олени, антилопы, красные лисицы и барсы.

Южнее зеленый покров вспыхивал ярким цветом. Горизонт скользил куда-то вдаль, и это вызывало ощущение беспредельности. А еще южнее было море...

Перед глазами — густые сочные луга, и зеленый цвет их живителен и ярок, перед глазами — залитые солнцем громады гор, белоснежные вершины их поблескивают. Море — бесконечная синева, волна медленно выползает на берег.

...Высятся островерхие, с могучими колоколами храмы. Под сводами их клубится дым курений, горят канделябры, амфоры, светильники, лампы... Священник в черной сутане с крестом на груди читает молитву. Лица прихожан смиренны, взоры обращены вверх...

...Через глубокие рвы, ущелья и долины рек проходят акведуки. Высокие мосты соединяют крутые берега. Сады и поля изрезаны канальчиками. Насыщена влагой земля. Лениво волочат соху буйволы; взлетает и опускается, поблескивая, серп; золотом отсвечивают хлеба. Босые ноги крестьянина давят виноград. В гигантские карасы стекает вино. Крупные оранжевые плоды оттягивают ветви апельсиновых деревьев. Сушатся под солнцем абрикосы, персики, сливы. Ложатся на дороги длинные тени пальм и кипарисов. А дороги все тянутся, тянутся...

Безжизненны развалины римских и языческих храмов. Древние врата горных проходов обросли мхом и лианами. По пологим склонам плавными лесенками спускаются реки. Дороги ведут к городам, где над порталами дворцов высечены гербы, где у триумфальных арок расхаживают художники, мыслители и поэты, а деловой люд собирается небольшими группами, обсуждая свое — куплю, продажу...

...Мелькают облачения, шитые золотом и серебром, униженные жемчугами. Мягкими складками ниспадает парча. На атласных шелках туник, хитонов и плащей — геральдические изображения — орлы и львы...

...В тавернах шумно. В кубках плещется вино. Поблескивают в пламени свечей рыцарские латы, обоюдоострые мечи. Хохот, возгласы, крики...

...Завалены товарами базары. Горы фруктов, дичь, козы, бараньи туши, пряности. В клетках обезьяны, попугаи, павлины. Длинные лавки устланы коврами — коврами. Тут же чаши, ковши, вазы, переплеты книг, ларцы, светильники, напоминающие своей формой сказочные чудовища...

Киликия...

Это был необычный тип армянского государства, и возникновение его было также необычным. Его прошлое имеет далекую предысторию. Еще в первом веке до нашей эры Киликия, в то время римское владение, была завоевана армянским царем Тиграном Вторым. При нем Армения достигла наибольшего расцвета. Киликия открыла путь армянам в восточные страны, к Евфрату и Тигру, центральным караванным путям. Рим сделал все, чтобы отвоевать ее у Тиграна. Но армянские переселенцы, пришедшие вместе с войском, остались жить на этой земле. С веками число их не убывало. Они строили там свои монастыри, школы, говорили на родном языке, отстаивали свою веру. А при византийских императорах армян в этих краях стало еще больше.

Захватив Васпураканское царство (в X веке на территории Великой Армении образовалось несколько самостоятельных царств) и желая его ослабить, византийцы насильственно сгоняли армян в Киликию. «Греки, — писал армянский историк Товма Арцруни, — жаловали армянским феодалам земельные наделы, чины, придворные должности. Взамен их городов — крупные города, взамен крепостей — неприступные крепости и еще округа, селения, поместья, монастыри. Третью населения Васпуракана, крупнейшей области Армении,

в 1021 году была переселена в Каппадокию — 4 тысячи селений, семьдесят два замка, восемь городов».

А в 1042 году греки пытались захватить Ани, знаменитую столицу Армении. У них ничего не вышло, и они прибегли к испытанному средству — вероломству. Хитростью и обманом заманили они анийского царя Гагика II в Константинополь, якобы для заключения дружественного договора, а затем насильственно заставили его отказаться от власти, предложив взамен его царства два каппадокийских города. А потом царь Гагик II был убит...

А когда засверкал меч варвара-сельджука и запылала в огне города и нивы, двинулись из Великой Армении на юг, к своим соотечественникам, в Киликию, тысячи обездоленных. Вторжение сельджуков началось в середине XI века. К 1065 году сельджуки завоевали уже почти всю страну...

Вместе с горсточкой родной земли, вместе со священными реликвиями уносили армяне-беженцы и древние рукописи. Шли люди, желая возродить свое славное прошлое там, за горами Тавра, где царил мир, жила надежда на будущее. Было среди беженцев много писателей, поэтов, ученых, золотых дел мастеров, каменотесов, были зодчие, художники, переписчики, изготовители красок и пергамента... Бежали в Киликию и ученые монахи. Их становилось все больше и больше. Росли горы рукописей, привезенных из земли предков, для них строились хранилища, вырастали новые монастыри, и патриарший престол был перенесен в 1113 году из Великой Армении в Киликию.

Знаменитые скриптории Сиса, Дразарка, Ромклы, Скевры, Грнера, Акнера и Млджи возникли чуть позже. Новых рукописей в Киликии пока не создавали, пользовались привезенными, а если и создавали, то по образцу привезенных. Страницы этих пергаментных скитальцев, местами сожженные, покрытые кровью, их росписи, живые и образные, несли в себе дух времени и страны Арарата.

Дух страны, где краски контрастны, как ее жаркое солнце и холодные горные вершины, где люди живут среди камней и умеют покорять камни. Под их резцом камень обретал бесчисленные формы — от угловатых, тяжелых, до легких, ажурных. Там из каменных глыб высекали хачкары — плиты с рельефным крестом, окруженным богатой резьбой, которая как бы лилась ручейками, переплетавшимися подобно виноградным лозам или плющу.

Хачкары высекались из туфа и базальта у храмов и внутри их, у подножий скал, в пещерах. Серые, охристые, рыжие, черные, розовые, голубые — они покоряли живописностью и выразительностью линий.

Каменная песнь, поэзия, сотворенная резцом, — она не могла не вдохновить древнеармянских художников. На пергаментных страницах все чаще стали появляться орнаменты, виноградные лозы, лепестки цветов. Нередко изображался и весь хачкар: в красках он был еще живописнее...

В миниатюрах Великой Армении краски локальны и насыщены. Мощные колонны хоранов, евангелисты, угловатые, тяжело восседающие в креслах, арки, узоры — все это словно высечено из камня, перенесено на пергамент с армянских церквей, крепостей, мостов и арок. И кисть художника сумела передать их сущность: каменность. Зеленые, красные, желтые, фиолетовые, синие, охристые — краски на миниатюрах сдержанны.

Вряд ли могли предположить греки, что предпринятые ими действия обернутся против них самих. Возникшие в Каппадокии, Сирии, Месопотамии и Киликии армянские княжества все усиливались. Прилив армян в эти княжества нарастал. Особенно после вторжения сельджуков в Армению и Малую Азию...

Один из приближенных царя Гагика князь Рубен в ответ на вероломное убийство своего царя захватил в Киликии, в горах Тавра, крепость Бардзрберд. В дальнейшем ему удалось не только удержать свои завоевания, но и расширить их. Так, вдали от прародины за-

родилось новое армянское государство, которое впоследствии европейские хронисты называли королевством.

Да, это было необычное армянское государство.

*Киликия, моя мечта,
Ты мне всегда напоминала...*

Армения на берегах Средиземного моря — Армения пальм, кипарисов и олив. Где яркое солнце, лазурь небесная и морская отражались в характерах людей, в искусстве. Где жили выходцы из разных земель, принесшие в армянский мир свои представления и краски. Сирийцы и греки были землепашцами, венецианцы и генуэзцы содержали таверны и кузницы, евреи занимались торговлей. На небольшом клочке земли уживались разные обычаи, вероисповедания, предрассудки.

Ревностно оберегая свои традиции и язык, киликийцы в то же время говорили на французском, итальянском, греческом, арабском и сирийском. Они одевались на европейский лад, придерживаясь рыцарских обычаев, — для армянской страны это необычно, но так было...

Могучие цепи Тавра, отроги Антитавра и Аманский хребет отгораживали Киликийскую Армению от мусульманского окружения, защищали от греческих вторжений. Несмотря на ревностное отношение к своим национальным традициям, языку, вере, взор Киликии с надеждой был обращен к молодой Европе. Армянский язык был государственным в стране, и по-армянски говорили все. Но многие документы составлялись на латинском, французском, итальянском. Генуэзские и венецианские купцы пользовались здесь особыми льготами, крестоносцы чувствовали себя как дома, киликийцы наивно верили в их благие намерения. Крестоносцам помогали жильем и продовольствием, участвовали вместе с ними в походах, строили для них замки и укрепления. Пусть время показало истинное лицо «освободителей гроба Господня». Но тогда им верили.

Конечно, были и противники чрезмерной европеизации страны. Но как ни протестовали некоторые государственные мужи, европейский дух все глубже проникал в умы киликийцев, все больше отражаясь на их быте и образе жизни.

На европейский лад был преобразован и государственный уклад. У армян, как у «франков», существовали титулы коннетаблей, канцлеров, маршалов, сенешалей...

Порты — пестрые, многоязычные, кипучие. Айяс и Корикос, Тарс и Маместия, Адана и Селевкия — они всегда были переполнены судами со всех концов земли. Марин Сануто, итальянский писатель XIV века, перечисляет в своей книге 25 портов Киликийской Армении. Сегодня большинство из них лежат в развалинах, исчезли под землей, но тогда они были известны всему миру...

Громкие возгласы и оклики, быстрые, энергичные жены, живые, выразительные глаза — там, в портах жило самое характерное, киликийское...

Марко Поло изумился Айясу. На берегу Александретского залива, глубоко врезаемый в материк и окруженный горами, он манил путника своими кабачками, пестрыми балаганами и базарами. Венецианец отмечал огромное значение армянского порта для торговли Европы с внутренней Азией.

Славился и Корикос. Порт, окруженный высокими каменными стенами, он уже издали восхищал величием и красотой. Две мощные, неприступные крепости защищали его от врагов. Одна возвышалась на берегу, другая — чуть поодаль, на острове, соединенном с берегом молом. Перед крепостными стенами были вырыты глубокие рвы, туда со склонов гор стекали воды, а разбросанные вокруг острова гигантские каменные глыбы не давали вражеским судам возможности приблизиться...

В портах, как обычно, было многолюдно — купцы, торговцы, грузчики, матросы, рыбаки, контрабандисты, бродяги, ищущие случая подработать. У причалов раскачивались корабли, флаги которых пестрели гербами разных стран.

Заплывали в Киликию суда с тюками отборного индийского имбиря; белокурые северяне выгружали со своих галер шкуры соболя, куницы и горноста; привозили из разных стран сахар, хлопок, золото, серебро, виссон, златотканую одежду, ожерелья, пояса, усеянные драгоценными камнями. Товар увозили в амбары, хранили под непромокаемыми навесами. Из темных, окруженных железными решетками садов доносился запах благовоний и ароматных византийских вин...

Из амбаров выносили огромные тюки, навьючивали ими верблюдов, караваны которых шли в города и села страны. Другие верблюжьих караваны шли через горные проходы — в Сирию, Египет, Крым, Среднюю Азию, Иран, Армению, Византию, а оттуда — в Европу.

Увозили из Киликии шерсть, пряности, камелот, славящиеся во всем мире армянские ковры — карпеты, чеканку, серебряную и медную посуду, домашний скот, мулов и скакунов.

Было в портах что-то от красочности и многообразия росписей. Быстрый и громкий говор сицилийцев перебивался резкими, отрывистыми голосами германцев, звучные мелодичные возгласы венецианцев приковывали слух, заглушая речь арабов. Скандинавов можно было узнать по молодежьим, почти детским лицам; египтянин запомнился чувственными губами и мелким завитком волос; греки были одеты в длинные изящные хитоны. При встрече они приветствовали друг друга вскинутой вверх правой рукой. Старые знакомые, они рассказывали о странствиях, сделках, хвалились товарами и удачами. Делалось это при помощи жестов, кивков или движений глаз.

Генуэзцы и венецианцы чувствовали себя в Киликии, как дома. Хрисовулы киликийского царя давали им право въезда в страну «по суше и по морю, купли и продажи, захода в порты и выхода из них».

Иногда на венецианских судах привозили рабов.

— Сюда, сюда, — кричали работоторговцы, — товар из Туниса, Антиохии и Кипра!.. Землекопы, грузчики, огородники! Для вас есть работники — сильные, послушные и, главное, за бесценок.

Рабов выставляли на деревянных помостах. Бритоголовые, бледнолицые, босые, в увечьях, тела исполосованы шрамами. Ноги и руки закованы в цепи. Время от времени, на всякий случай, их хлестали плетью. Боязливо поглядывали они на покупателей, которые осматривали товар с видом знатоков.

Чинно расхаживали между помостами ростовщики, скупщики, слуги богатых господ, зажиточные мастеровые. Покупатель останавливал выбор на ком-нибудь, и раба отводили в сторону. Начинался более тщательный осмотр, а затем торг.

В мертвых глазах этих проданных и перепроданных людей лишь изредка вспыхивала искорка надежды. Но тут же мгновенно потухала.

На работоторговцев поглядывали с недоверием. Бывалые люди поговаривали, что это пираты, и похищение киликийских каменщиков, признанных всеми мастеров, — дело их рук. Обвиняли в этом и некоторых купцов. В торговом договоре киликийского царя с венецианскими купцами специально оговаривалось обязательство последних впредь не похищать армянских строителей и не увозить их на стройки в Венецию.

Удачная сделка или торговля отмечалась моряками пышно. Они приходили в таверну, пили много вина, наслаждались танцами и музыкой. Плавные мелодии зурны или тара переходили в резкий стук кастаньет, звон гитары. Гусаны под восторженные возгласы восхваляли стройных красавиц, их чары, их жгучие глаза. Им аплодировали, посылали в знак восхищения флорины и таколины, ладан и фимиам, серебряные броши и пояса.

Напившись, моряки орали, свистели, били посуду, кололи ножами бурдюки с вином. Каждый требовал песен своей земли. Они выходили в круг, начинался пляс. За разбитую посуду, как и за стол, расплачивались щедро.

Когда музыка надоедала, музыкантов спихивали со сцены, и гости сами начинали воспроизводить на их инструментах несуразные, дикие звуки. Часто дело кончалось дракой. Брань на разных языках смешивалась со свирепыми криками и пронзительным визгом. Мелькали кулаки, сверкали ножи, кто-то истошно кричал, бил себя в грудь, кто-то плакал...

К ночи все стихало. Одних одолевал сон. Другие уходили к подружкам. А утром все шли к своим кораблям, как ни в чем ни бывало.

Удивительная страна! Но какие контрасты! В нравах и обычаях, климате, пейзажах. Горы и низменность — горы южные, средиземноморские, пусть местами покрытые кустарниками и лесами, с альпийскими лугами на прогалинах, но в общем-то скалистые, увенчанные мохнатыми белыми шапками, то серебриющимися под солнцем, то обретающими необычно светлую синеву; и низменность — вечнозеленая, взлохмаченная садами, густой дикой растительностью субтропиков, темнеющая квадратами вспаханных полей, жаркая летом и теплая зимой, с богатыми деревнями и густонаселенными городами.

Горы с трех сторон окаймляли Киликийскую Армению — на западе и севере Киликийский Тавр, на северо-востоке отроги Антитавра, а на юго-востоке Аманский хребет.

Сквозь горные щели, меж крутых, свисающих скал пробивались дороги. Их называли проходами. По ним шли караваны верблюдов. Купцы из разных стран привозили и увозили товары. Они шли под палящим солнцем, в лунные и безлунные ночи, во мраке, освещая дорогу факелами. Не всем им было суждено дойти до конца пути. Не раз под темным киликийским небом караваны настигали кинжалы сельджуков или египтян, и добро продавалось потом за бесценок на ближайшем базаре.

Знаменитые горные проходы Киликии — Гуглак, Селевкский, Капан, Портелла... — они вели в Каппадокию и Иконию, Месопотамию, Сирию, Египет...

Горные проходы защищались неприступными крепостями. Могучие, высокие крепости казались неотделимыми от окружающего ландшафта, словно сотворенные самой природой.

По горным путям рвались в Киликию полчища завоевателей. Явно превосходящему врагу, бывало, удавалось преодолеть сопротивление встретившего их войска. Тогда вслед за ворвавшимся врагом запирались ворота проходов, и неприятель оказывался как бы в мышеловке... Через горные проходы киликийцы сами не раз вторгались в другие страны.

Быстро сбегали с гор к равнинам небольшие прозрачные ручейки, а уже там, на равнине, они сливались, вырастали, обретая величавое спокойствие.

Пирам, Сар, Кинд, Каликадн — реки поили низменности, оживляли беззвучные пространства своим шумом, ставшим родным слуху киликийца. И не в горных местностях брало свои истоки искусство этой страны. А там, на низменности, на морских берегах.

Волны морские и пальмовая ветвь... Море уводило воображение киликийца к новым берегам. Море было для них и мечтой, и явью, и повседневностью! А пальма?..

Реки текли к долинам через горные теснины. Они отлагали на низменности ил. А мягкий и влажный воздух приносил этим краям плодородие. Рядом с апельсиновыми, лимонными, кипарисовыми деревьями там росли и пальмы...

Когда говоришь о художниках Киликии, то невольно думаешь о красках, щедрости и мягкости природы их родины — волны морские и пальмовая ветвь...

ВРЕМЯ



нижние росписи Тороса Рослина — тысячи лиц. Они суровы, непроницаемы, они грустят, плачут, полны доброты, ехидства, негодования или страха. Страх! Каким он может быть, страх? Ужас при виде чуда! Или, быть может, померкли глаза в ожидании божьей кары? Страх перед неминуемым. Трепет...

Сколько оттенков чувств может выражать лицо современника Рослина! Сколько оттенков радости или страдания, восхищения или мук! Радость искупления грехов, радость освобождения от божьей кары, радость сопричастия своего к деяниям священным и, наконец, радость удачи, осуществленной мечты. Но у каждого свои радости и свои удачи. Радость купца — выгодная сделка, радость рыцаря — подвиг, безумная отвага. Крестьянину для радости нужен клочок земли, царю — просторы, художнику, творцу — весь мир.

Тысяча лиц Рослина — сонм черт, характеров, страстей, переживаний... Я не склонен думать, что люди разных эпох чувствуют по-разному. И все-таки есть оттенки, отличающие наши чувства или переживания от чувств наших далеких предков.

Пергаментные страницы рукописи уводят в красочный мир Рослина, знакомят с тайнами его мастерства, показывают, как оно росло, развивалось. Но чтобы понять глубже героев Рослина, проследить истоки его творчества, нужно мысленно углубиться в века, уйти к старинным строениям Ромклы или Сиса, пройтись по торговым рядам городов, послушать завсегдатаев городских или сельских площадей, торговцев, менял, делящих жизнь между коммерцией, политикой и пирами. Здесь, рядом с триумфальными арками и статуями, на узких и широких улицах, среди роскоши и нищеты, в бездне страстей, суеверий и предрассудков, известное ранее обретает большую ясность, и бесчисленные разрозненные мазки сливаются в одно огромное полотно — Время.

Торос Рослин на городской площади, среди возбужденной не то от ужаса, не то от жажды отщепенца толпы. Солдаты оцепили место казни — небольшую площадку, на которой сколочена виселица. Рядом с ней в высоких креслах восседают судьи — самые почтенные горожане. Перед ними на столе листы пергамента. Вершители правосудия о чем-то перешептываются, время от времени на их суровых лицах вспыхивает негодование.

Но вот и преступник. Его гонят к месту казни два стражника, слегка подталкивая рукоятью секиры. Ветер шевелит взлохмаченные седые кудри старика. Он в белом рубище, бос, ноги и руки сковывают кандалы. Из раны на правой щеке сочится кровь, на лбу — ссадины. Стражники подводят его к столбу позора, увенчанному головой дьявола.

А потом главный судья зачитывает обвинение: вина преступника в том, что его конь наехал на человека, убив его. Но обвиняемый решительно отказывается признать себя виновным: ему ли скакать на коне, все видят, как он стар. Этот негодник, — указывает он на свидетеля обвинения, — оклеветал его за то, что он не выдал за него свою дочь. Но свидетель обвинения кладет руку на Библию, клянется в правдивости своих слов.

Где происходило это? Могло — в Тарсе, Сисе, Корикосе, Маместии, Аназарбе. Могло в других городах, селах или замках...

Если всадник сбил с ног человека и тот умер, то виновника казнили повешением. Закапывали живьем в землю вора; хулителя церкви забивали насмерть камнями. Убийце привязывали на шею огромные камни и сталкивали в реку или море. Законы были жестокими. Но в одной ли Киликии? Жестоким был век...

А потом дают последнее слово старику. Звеня цепями, он делает несколько шагов вперед, окидывает безумными глазами толпу и, трясаясь от отчаяния, кричит:

— Люди, не дайте мне погибнуть! Не виноват я!

Ответом ему — гробовое молчание.

Измученный, обессиленный, он уже не видит людей, бессмысленно ломает руки, вытирает кровь, которая струится по лицу. Но неожиданно он выпрямляется, и лицо его становится суровым и уверенным.

— Господи, — говорит он громко, — о, господи! Ты меня, наконец, услышал. Я знал, что ты меня не оставишь в беде, господи, господи! Теперь, когда ты меня слышишь, я прошу тебя, покарай виновного. Пусть отсохнут у него руки, ноги, отыметя язык, ослепнут глаза, коль не признается он в своей клевете.

Старик впился глазами в небо — да, Он там, Он его слышит, Он его не оставит.

— Он услышал меня, люди! Виновному не миновать кары, — старик возводит руки к небу. — Он там, там, я вижу Его... Посмотрите, с каким укором смотрит Он на вас, люди...

Сотни глаз устремляются в ясное голубое небо. Толпа как бы съежилась, ее охватывает растерянность и страх. Слышатся жалобные вздохи, молитвы. Судьи в нерешительности. Один из них растерянно мнет в руках пергамент. И только палач уверенно движется к своей жертве. Но в это время случается неожиданное — свидетель делает несколько шагов вперед и опускается перед судьями на колени. Глаза его широко раскрыты от страха, руки дрожат.

— Прости меня, боже, — шепчет он лихорадочно, — простите меня, люди добрые... Виноват я, оклеветал человека...

Могло произойти это в Сисе, Тарсе, Корикусе. Могло — в других городах, селах или замках...

Страх перед божьим гневом... Беспомощные попытки убедить в своей правоте, и безумное, судорожно-страстное в своей беспомощности стремление поверить в желаемое. Судорожно-страстное, заражающее и других.

«Летопись» Смбата Гундстабля — история киликийского армянского государства. Полководец, ученый рассказывает о важнейших событиях своего времени, но не оставляет без внимания «темные, злые силы», наваждения, им сопутствующие. Он делает это с полной верой и убежденностью. Его летопись — не только исторический памятник, но и картина нравов, суеверий эпохи.

Твердо веря в чудеса, таинства и предсказания, киликийцы живо, как наяву, представляли себе ад и рай, гнев и милость всевышнего. Жизнелюбие ничуть не ослабляло в них набожности. Воображение этих людей, согретых южным солнцем, выросших у моря, было способно мгновенно воспламениться.

Дурные предзнаменования заставляли их снять осаду города, отказаться от ранее намеченного похода, изменить путь, по которому двигалось войско. Вера в таинственные силы и чудеса влияла и на психику, взгляды, склад ума.

В Ромкле, где жил Торос, да и не только в Ромкле, во всей Киликии, Армении, да и в других странах мира хорошо знали архиепископа города Тарса Нерсеса Ламбронаци. И хотя он умер в 1198 году, имя его еще долго упоминалось в научных трудах, проповедях и диспутах. Торос Рослин не мог не интересоваться личностью архиепископа, в книгах и посланиях которого говорилось об объединении армянской и византийской церковью, о нововведениях в религиозной догматике.

Один из могучих умов Киликии и своей эпохи, Ламбронаци нередко ведет переговоры от имени царя Левона II с правителями многих государств.

Это он написал царю Левону: «Для меня армянин и латинянин, латинянин и эллин, эллин и сириец, сириец и египтянин — одно и то же.

Если бы я был приверженцем лишь одного из этих народов, я не мог бы иметь общения с другими, но я всех, кто враждует между собой, объединяю и тем самым приобретаю».

Это он, проклятый не раз своими соотечественниками за приверженность ко всему византийскому, ведет отчаянные споры в Константинополе с халкедонитами, которые стоят за сближение церквей, но видят возможность такого сближения при уступках со стороны одних лишь армян.

Беспокойный, неугомонный Ламбронати ведет дружескую переписку с сирийским патриархом и крестоносцами, обрушивается в посланиях на армянских феодалов и церковников, упрекая их в стремлении к чинам и званиям.

Но обвиняют и его. Причем довольно часто. Епископам Великой Армении чужды идеи архиепископа Тарса — они видят спасение нации прежде всего в незыблемости ее церкви. Конфликты между церковными деятелями доходят до брани. В порыве гнева ученый архиепископ обзывает настоятеля Санаинского монастыря... свиньей.

Можно представить, как загораются его глаза, когда он выводит на пергаменте это слово. Можно представить его гордый взгляд и непреклонное лицо, когда он пишет царю, что он виновен в приверженности к римской церкви не больше, чем сам Левон, подражающий быту и обычаям европейцев, называющий своих сановников и придворных на европейский лад.

Не раз слышал Торос Рослин с амвона и кафедр яростные речи, где обвиняли друг друга в отступничестве, чуть ли не в измене. Приверженец римской или византийской церкви был так же искренен в своих стремлениях, как и защитник армянской.

Ораторы не ограничивались словами. Убеждения нередко отстаивались мечом. Знатные армянские княжеские роды на протяжении долгого времени служили Византии, ведя войны с правящим в Киликии родом Рубенидов. Сражались, убежденные, что с Византией нужно не воевать, а искать пути к сближению. В своих войнах с Рубенидами византийцы опирались на Ошинидов — второй по могуществу армянский княжеский род. Ошиниды были вассалами греческих императоров и не подчинялись киликийским правителям. Со временем Левону II удалось подчинить их себе, но прежде пролилась кровь.

Страницы «Судебника» Смбата Гундстабля: Киликия...

Знал, видел, общался с ними варпет Торос. С людьми в длиннополых златотканых накидках, розовых или голубых хитонах, черных сутанах, стальных шлемах и панцирях. Сухопарые и плотные, высокие и приземистые, бледные и загорелые, орлиные носы, в живых горящих глазах ум,мышленость, движения быстры и резки. И вот некто с лицом многозначительным и важным накидывает на плечи мантию Справедливости...

Судят епископы, бароны, князья, сам царь. Они восседают в тяжелых, усеянных жемчугами креслах. В одной руке — священное писание, другая вскинута вверх: именем закона...

У времени — своя справедливость, и справедлив царь, когда после удачного похода забирает себе все золото и половину остальной добычи, а другая половина делится между князьями. Берет себе царь златотканые полотна, а серебро, шелка и вышитая серебром ткань достаются князьям; шерсть, хлопок, медь и железо — остальному войску. И все отдают десятую часть добычи церкви.

Только у него, царя, властелина, наместника бога, есть право чеканить монету, строить города и замки, мосты на больших реках и приюты на больших дорогах...

В одной руке — священное писание, другая вскинута вверх: именем справедливости... Золотые прииски — владения царя, серебряные рудники — часть паронов, часть — тоже

царские. Князь может взять себе добытую на его земле селитру, соль, железо, собранные в его лесах орехи, фисташки, вишню. А дикие ягоды крестьянам...

Они, судьи, сидят с мрачными лицами, скрестив руки, но что-то может вдруг вывести их из терпения, и на виновного посыплется проклятья, брань. Тот подрался с высшим по сословию, этот сквернословит, ругает государя! О, такому следует вырвать язык!

Живые образы прошлого встают перед взором, и вот назидание: «Уважайте всякого рода ремесленников, но в большей мере кузнеца, плотника, каменщика. Еще больше — писателей и врачей — они пекутся о людях. Дворцовые сановники (или верховные судьи) заслуживают уважения всей страны. Больше всякого рода людей должны быть уважаемы вардапеты, так как они — врачеватели душ и опора церкви. Но все судьи должны знать, что наслаждения этого мира похожи на сновидения, и что они преходящи, и что те, кто вершит суд, должны отчитаться за все несправедливые приговоры перед праведным судьей — Христом. Все, что вы совершите здесь, вы найдете там — будет ли это зло или добро».

А что они свершали здесь? Все наслаждения похожи на сновидения, и они преходящи — о, в этом никто из них не сомневался! Но наслаждаться в Киликии любили и умели. Любили шумные пиры, где были женщины, смех, вино и музыка. Летописцы обрушиваются на святых отцов, которые не гнушаются мирскими соблазнами, пьют вино, слушают песни «этих негодников гусанов». По законам Киликии священник, занимающийся ростовщичеством, лишается прихода, в каком бы он ни был сане; епископ, который пытается захватить должность другого, теряет право переступать порог церкви; кто дает займы, тот не должен брать проценты — это запрещает закон господний. Если инок тайком ест мясо, то его обязаны судить как нечестивца и наложить на него двойное наказание и покаяние — епитимью.

Законы знали, от чего остерегаться. Дьявольские соблазны витали над крестом, предприимчивость главенствовала над всем. Ни богобоязнь, ни боголюбие не могли заменить того, что можно было приобрести в торговых рядах.

Находчивость и дальновидность, суеверие и трезвость, верный взгляд на вещи — вот черты современников Рослина.

Трезвость властвовала над умами, верой, взаимоотношениями людей. В Киликии, как и в Великой Армерии, усердно посещали церкви. Все события вершились именем бога. Но, отдавая должное всевышнему и веря в его силу, люди здесь и сами не плошали. Киликийцы, которых обвиняли в эпикурействе, умели веселиться, любить: личность здесь имела право на земное счастье.

От глаз Тороса, истинного киликийца, ничто не ускользало. Росли соблазны, множились пиры, развлечения. В деловых конторах купцы и маклеры заключали крупные торговые сделки. Чья-то рука жадно сгребала золото, чей-то хмельной голос нашептывал: «Как они звенят. Сколько радостей обещает этот звон! А блеск! Венецианские и генуэзские дукаты, арабские динары... А вот и наши киликийские даhekаны из золота»... Со сцены доносился визгливый голос шута: «Помните мудрого грека Прокла? И золото, и серебро, — говорил он, — зарождается в земле, но от небесных богов и от нисходящего свыше излучения». Шуту рукоплескали. «Так пусть же излучают они для нас свет луны и солнца! — продолжал скоморох. — Благороднейшие металлы, отчеканенные в разных странах! Вы найдете у нас достойный приют, вам будут поклоняться все!»

Бывало, какой-нибудь купец устраивал пиршество в кабаке в честь удачи. Пили за царя, благочестие, милосердие божие. Удачник вытаскивал из-за пазухи мешочек с золотом и выворачивал его на стол. Заманчиво блестел металл, а хозяин восклицал:

— Кто тебя не любит и кто не любил? Может, эти пустословы греки? Тогда почему они воздвигали золотые статуи Девы Афины и Зевса Олимпийского? Ха-ха-ха!

Вокруг выражались восторги:

— Какой блеск! Будто застряли в земле солнечные лучи...

— Выше кубки! За царственный свет золота!

— За поблескивающую в нем славу, за его всесилие!

А в церкви предостерегали от земных соблазнов, искушений и всего того, что может ввергнуть душу в пучину греха. Призывали жить праведно, чтобы попасть в царствие небесное, где дикие звери не нападают на людей, а змеи не ядовиты, где люди перекуют свои мечи на орала, а копья на серпы.

И доносилось с амвона: «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Остерегайтесь всего плотского».

Земное счастье не всем отпускалось в одинаковой мере. А говорит об этом Нерсес Шнорали, католикос, великий поэт. Его «Энциклика» — «Послание» — состояла из нескольких отдельных посланий — князьям, епископам, священникам, настоятелям монастырей, ремесленникам, купцам, землепашцам. Это было в семидесятых годах двенадцатого века. Но все, о чем говорил тогда католикос Нерсес Шнорали, бытовало и во времена Рослина. За восемьдесят — девяносто лет могли измениться границы, разрушиться или возникнуть города, но зло оставалось тем же. Раб оставался рабом, господин — господином, были те же представления о правах. Разве только выросла страсть к деньгам, умножились стяжательство и обман? «Послание» католикоса Нерсеса не устарело. А говорил он о сребролюбии царей, князей, правителей, судей, остерегал епископов, «ибо сребролюбие светских властей, из-за которого они несправедливо судят, воруют, убивают и притесняют, приносит ущерб, сребролюбие же духовенства вредит душе».

Он обвиняет священников в том, что те занимаются торговлей на городских рынках, спорят и ругаются, чтобы отбить друг у друга прихожан, притесняют прихожан при совершении требы, творят многие беззакония.

Он возмущается монахами, которые в миру были неимущими и платили подати князьям, а когда приняли духовный сан, разбогатели, пресытились. Кто в миру был обременен работой и заботами, тот в монастырях разжирел от безделья. Должность настоятеля стала такой выгодной, что домогающиеся ее не гнушались ничем. Католикос Нерсес стыдил монахов, получавших должность за взятки, запускавших руки в церковную казну.

Он призывал князей не притеснять бедняков, не взимать с них тяжелых и непосильных налогов, чтобы те не жаловались богу и не предавали своих угнетателей проклятью; призывал не назначать несправедливых правителей, начальников, которые занимаются лихоимством, воровством и угнетают народ налогами в большей мере, чем установлено законами. «Не принуждайте подвластных вам много работать, — писал Нерсес Шнорали, — не обременяйте их, как бессловесных животных, тяжелым и непосильным трудом, не урезывайте платы труженику. Довольствуйтесь тем, что от их труда вы богатеете и сверх меры жиреете, и пусть никто из вас, оправдываясь, не говорит: если не станем захватывать и притеснять — наша власть не будет прочной».

Как католикос, как потомок княжеского рода Пахлавуни, Шнорали старался утвердить эту власть. Как человек умный и дальновидный, он знал, что всему есть предел и чаша терпения может переполниться. Как поэт, гуманист он искренне возмущался алчностью одних и бесправием других, видя, что в горниле страстей рушится святыня, за которую ратует с амвона он, Нерсес Шнорали.

Время меча и насилия...

Время людей коварных и лживых...

Вспыхивают глаза, жадно трясутся руки. Толпа лиц недоуменных и испуганных — свершилось чудо, грядет божья кара... При свете горящих свечей сверкают алтари, резные сосуды и светильники, медленно поднимается вверх рука, держащая крест, — огради господи!. И звонкий смех, при свете канделябров текут темно-красные ручейки — то льется вино, стекает по обнаженной груди киликианки.

Все это, несомненно, присуще Киликии, но ведь лучшее ее в другом...

Краса и величие Киликии прежде всего в ее созидательной силе, унаследованной от предков. Армянские традиции учили киликийцев почитать искусства. Средиземноморский климат надделил их чувствительностью, способностью восторгаться красотой.

Рядом с жестокостью, алчностью и вероломством, распутством и неистовством дурных страстей жило благородное, светлое.

Оно восторгало, вдохновляло Тороса Рослина. Это и была для него подлинная Киликия. Страна, где появлялись все новые письмены, стучал молоток резчика по камню, где люди смотрели на родную землю и радовались тому, что она есть.

Часто ездил из Ромклы в столицу Торос Рослин, ездил в другие города Киликии. Видел по пути замки, крепости, обнесенные стенами в два-три ряда, мосты многоарочные, видел в городах гостиницы, караван-сарай, дворцы и соборы. Знал Торос Рослин, как высок уровень киликийского зодчества, и не мог не радоваться от сознания, что оно оказывало влияние на соседние страны. И только ли на них?

Крестоносцы должным образом оценили киликийские укрепления. Стремясь упрочиться на завоеванных землях, они решили строить новые крепости и замки. Сооружали их, как правило, армянские мастера и зодчие, оставляя на стенах свои знаки и имена. Вот почему укрепления пришельцев с запада несли в себе элементы армянской архитектуры. Тип горного замка, техника каменного зодчества были перенесены крестоносцами в Европу. Там их воздвигали на равнинах — замок Шато Гаяр, возведенный Ричардом Львиное Сердце, или другой замок — Томар, принадлежащий храмовникам на Пиренейском полуострове.

Славились не только строители, почитали и киликийских врачей. Еще в X веке знаменитый арабский историк и географ Ибн Хаукаль писал: «Армянские врачи богаты опытом, блестящи своими познаниями». Продолжая традиции предков, киликийцы шагнули еще дальше. Они изучали анатомию и физиологию путем вскрытия трупов. Заметим, что в то время в европейской медицине господствовала схоластика, анатомия же и физиология как науки не существовали вообще. Киликийская медицина в XII веке дала врача Мхитара Гераци, прозванного современниками «мудрым» или «великим» Мхитаром.

Он знал греческий, арабский и персидский языки, изучал философию, астрономию и естественные науки. Его труд «Утешение при лихорадках», написанный на разговорном языке, пользовался широким признанием в Киликии и за ее пределами. В науке он был далек от церковной догматики, имел смелость критически отнестись к своим знаменитым греческим и арабским коллегам.

Гераци написал также «О камнях и их свойствах и исцелении ими» и другие медицинские труды, отрывки из которых сохранились в книгах врачей более позднего времени.

Живое, образное слово было у киликийцев в почете. Там сочиняли рифмованные хроники, такие, как «Ишатакаран» Смбата Гундстабля — памятная запись, дневник, состоящий из шестидесяти строк в стихах.

Труды многих историков написаны ярко и сочно — это литература. Можно здесь упомянуть «Летопись» того же Гундстабля, «Историю Рубенидов» Ваграма Рабуни или «Хронику» Матевоса Ураеци. Все они высокообразованные люди, хорошо знали армянских и

иностранных историков, религиозные и богословские труды. Их повествование порою походит на живой пленительный рассказ.

Высоко ценился в Киликии ораторский талант. Византийцы и крестоносцы называли Нерсеса Ламбронаци вторым апостолом Павлом. Послания, письма, панегирики, проповеди Ламбронаци, учителем которого был великий поэт Нерсес Шнорали, высокохудожественны.

Торос Рослин, человек, увлекающийся поэзией (в ишатакаранах — послесловиях — его рукописей есть стихи), несомненно, хорошо знал поэзию Шнорали. Его духовные песни, таги и философские сочинения в стихах, назидательные четверостишия, элегии «Сын Иисус», «Плач на взятие Эдессы» отличаются высоким мастерством, глубокой мыслью и музыкальностью. В библиотеке Ромклы, несомненно, хранились произведения поэта, и Торос Рослин, вероятно, нередко раскрывал одно из них и задумывался над строками...

*...Благ источник, хвалят кого, с сонмом духов, отроки церкви,
Наши души, в свете зари, осияй твоим мысленным светом...*

Среди последователей Шнорали был и такой высокоодаренный поэт, как Григор Тга, поэт, достигший в описании своих душевных мук, переживаний огромной художественной выразительности. Размышляя о судьбах страны, Рослин мог не раз обратиться к глубоко патриотичной поэзии Тга.

В своих стихах Тга пишет о несовершенстве мира, человека. Его мучает, что существует вокруг зло, силы противоположные терзают его душу: «Жар молитвы вокруг, но и холод рядом»...

Шнорали, Ламбронаци, Тга — большие поэты времени... Когда Валерий Брюсов писал: «Средневековая армянская лирика есть одна из замечательнейших побед человеческого духа, какие только знает летопись всего мира», — он включал в эту сокровищницу и киликийскую поэзию.

Пользовался в стране большой известностью и Вардан Айгекци, притчи и басни которого передавались из уст в уста, переводились на арабский, а с арабского на европейские языки. Немало переводов с греческого, латинского и сирийского делали и сами киликийцы: труды по философии, медицине, богословию, юриспруденции. В Киликии строили библиотеки, больницы, высшие школы, скриптории.

При дворе искусство миниатюры было в моде. На страницах рукописей изображались дворцы и крепости, персонажи басен. Торос и его собратья — дети своего времени.

В стране по ту сторону Тавра все сильнее пробуждалась в людях жажда деятельности. В Киликии зародился новый тип правителей, в которых сила и могущественность сочетались с утонченностью. Многие из них были учеными, вроде царя Левона III, Смбата Гундстабля или канцлера Ваграма Рабуни, они писали трактаты, стихи, философские и исторические труды, покровительствовали искусствам.

Тонкость, вкус помогали им отличить подлинное от подделки. Приобретенные рукописи становились предметом их гордости. В своих ишатакаранах — в памятных записях к манускриптам — они воспевали красоту. Эго были панегирики в честь Слова и Мастера.

Художники и поэты в Киликии пользовались особым почетом. Когда поэт Ованес Ерзнкаци приехал туда из Великой Армении, то царь Левон III устроил в честь его торжественный прием. Если в XIII веке художников-миниатюристов почти во всех странах считали мастерами, то в Киликии к ним относились иначе. Достаточно сказать, что искусством миниатюры занимались даже епископы. Одним из лучших художников страны был архимандрит города Сиса Ованес, брат царя Гетума I.

Да, здесь все способствовало расцвету искусства — природа, традиции и страсти, рожденные жаждой жизни, радостью обретенной свободы, долгожданные, желанные для творчества. На Киликию смотрели как на оплот армянского мира.

СИЛУЭТ



пав ниц, я, уставший переписчик рукописи, прошу помянуть меня, родителей моих, сестер и братьев моих и сына моего»...

Он дописал последнее слово, усталое опустился в кресло. За окном мерцали звезды, шумел Евфрат. Было слышно, как в лесу воют волки. Звуки наполняли ночь ощущением жизни...

...Средневековая крепость... Художник в хитоне... Тусклый свет лампы... Вижу его, задумавшегося, с кистью в руке, на столе горит свеча, лист пергамента, склянки с красками... Но ведь это воображаемое. А как представить своего героя, не пускаясь в домыслы, лишь по тем скудным сведениям, что дошли до нас?

Где-то во мраке времени возникает человеческая фигура, точнее — силуэт. Неразличимы черты. Тогда чем же моя фантазия находит опору? Что оживляем силуэт?

В шедеврах, созданных самыми разными художниками, стремились увидеть руку Рослина. Восхищение его искусством привело к некоторым скороспелым выводам. К семи достоверным Рослинам прибавилось еще шесть, приписываемых ему. Число произведений, в которых утеряны листы с именем автора все росло. Те, кто считали их автором Тороса, обычно размышляли так: последнее достоверное произведение Рослина относится к 1268 году, те, на которых не значится имена автора, созданы позже и уже зрелым мастером.

Так и хочется подумать: кто же еще, как не Рослин?! Но стиль...

Стиль отвергает домыслы. Авторы — разные художники, это видно. К тому же со временем выясняется, что приписываемые Торосу работы принадлежат не одному, а нескольким художникам. Цельный, последовательный в своем творчестве Рослин не мог быть столь эклектичным: приписываемые ему произведения слишком различны по стилю, их никак не воспринимаешь как грани единого целого. Особенно трудно представить его в роли автора «Чашоца» 1286 года, где видна рука виртуоза, художника красок праздничных. Рослин же беспокойный и драматичный мастер. Я вовсе не пытаюсь умалить значение неизвестного нам миниатюриста «Чашоца». У него свои достоинства и преимущества. Просто речь идет о двух разных стилях и людях, ведь «стиль — это человек».

Конечно, жизнь течет, и человек непостоянен в своих стремлениях, привычках и вкусах. Но непостоянство непостоянству рознь. Тот, кто самоуглублен, кто видит в жизни самые драматические ее стороны, тот не может круто свернуть в другую сторону: трудно уйти из одной завершенности, из одной гармонии в другую. Ишатакараны — памятные записи приписываемых Торосу работ вызывают у толкователей предположения о месте рождения художника, его становлении. Написано об этом очень интересно. Таким мог бы быть Рослин, и все-таки это не Рослин. Источником этих допущений послужила рукопись, подписанная каким-то Торосом. Но явно не Рослином. Теперь это доказано.

Семь рукописей — вот где надо искать подлинного Рослина. Шесть евангелий (в них он «Торос Рослин») и одна книга канонов, обрядов и церемоний, называемая «Маштоцем» в честь ее составителя Маштоца Егвардеци, католика, жившего в девятом веке. В этой рукописи художник называет себя просто по имени. Но это, вне сомнения, Торос Рослин — его стиль...

Со временем книгам стали давать имена местностей, где они хранились или хранятся. Так, евангелие 1256 года — зейтунское (старое название) или константинопольское, евангелия 1260, 1262, 1265 и «Маштоц» 1266 — иерусалимские (они хранятся в библиотеке армянского патриархата), второе евангелие 1262 года — балтиморское (оно находится в американском городе, в галерее коллекционера Уолтерса), евангелие 1268 года — ереванское (находится в Матенадаране). В пяти рукописях Рослин был и писцом, и художником, а в балтиморском евангелии и «Маштоце» — только художником. Писцом этих двух последних рукописей был знаменитый киликийский каллиграф Аветис.

«И пав ниц, я, уставший переписчик рукописи, прошу помянуть...»

Кто его родители, сестры, братья, сын, о которых он пишет в ишатакаране? В другом ишатакаране он называет себя Торосом из рода, еще в старину получившего прозвище «Рослин», и просит помянуть брата своего Антона. Значит, «Рослин» — прозвище, и отец его тоже Рослин. Кто была жена, о которой он так и не обмолвился? Делила ли она его радости и печали? Как сложилась их жизнь?

До сих пор никто не ответил на эти вопросы. И не ответит. Возможны лишь предположения с той или иной степенью вероятности. Ибо важнейшие моменты жизни одного из лучших художников времени окутаны мраком. А если что-то и говорилось о нем, то оно исчезло, и, наверное, навсегда...

Кто он? Священник, монах или мирянин?

Во всех своих рукописях он просто Торос Рослин. Или «Торос из рода, еще в старину получившего прозвище «Рослин»». Он — «никчемный», «недостойный» — но он, Торос Рослин, «художник и писец». И это все.

Возможно и другое предположение, хотя и недосказанное, но близкое моему восприятию и пониманию: что он не был ни священником, ни монахом. Он мирянин. Аргументы?.. Прежде всего само искусство киликийца, дух его. То ощущение живого во всем его многообразии, которым отличается большинство работ Мастера.

Конечно, простор и природа вдохновляли не только его. Многие художники, служившие церкви, изображая деяния святых, показывали земное, человеческое — их фантазия и талант тоже не вмещались в канон. Но Рослина отличишь и от этих художников. Я говорю о жизни, которую познаешь среди людей, разделяя их заботы, горе, радость, природе, которую познаешь в самой природе. Раскованность — поразительная творческая раскованность, — за которой невольно видятся странствия, долгие наблюдения, беспокойство, поиск. Не о праведной жизни служителя церкви или монастыря думаешь, когда смотришь на его евангелистов, волхвов, Христов, богоматерей. Это люди, знакомые и близкие ему.

Да, он смел, он ищет, он растет, его палитра меняется. Без оглядки устремляется Торос в жизнь, пытается показать характер и натуру человека, самые потаенные его черты. Ощущаешь беспредельность фантазии, стихийность, размах. Нет, не монастырские стены встают передо мной, когда я смотрю на изображенные им моря, деревья, горы, храмы. Ни стилизация, ни условность не приглушают в его творениях жизни. В миниатюрах он полон сострадания к обиженным, негодует на обидчиков. Он шутит и даже насмехается. Его святые дышат, двигаются, говорят, им не чужды людские переживания и заботы. Реальна у него и сама земля. Чувствуешь весомость, притягательность этой земли. И люди прочно стоят на ней, а не тянутся к небу, как на картинах его современников. Рослин верит, что герои его сотворены богом, но вместе с тем восхищается их земной, человеческой сутью.

Монах или священник, особенно если он был из Ромклы, этой ученой обители Киликии, — олицетворял в глазах киликийцев образованность. Вряд ли кто из писцов и художников стал бы умалчивать о своей принадлежности к церкви или монастырю. Наоборот, это

даже подчеркивалось.

Армянские писцы и художники часто становились монахами или служителями церкви, особенно тогда, когда им приходилось туго. Когда государственная власть слабела, церковь становилась пусть относительным, но единственным очагом спасения. Она давала художникам кров, защищала их от завоевателей.

В годы могущества страны художники не столь нуждались в покровительстве церкви, — тем более в Ромкле, недоступной крепости, славившейся миниатюристами, имевшими могущественных меценатов. Ход рассуждений приводит к мысли: Рослин — художник мирской. К тому же известно, что в Киликии заказы церкви часто выполнялись художниками не из духовного сословия.

Каждая деталь характера и внешности приобретает ценность, когда речь заходит о таких людях, как Торос.

Он не оставил нам автопортрета. Не оставили его портрета и другие художники. Да, скудные сведения о нем не дают ясного представления о его жизни. О Торосе как о человеке можно узнать из его творчества. И оно рассказывает о художнике красноречиво и убедительно.

Цвет, композиция, сюжеты — это видишь, и это вполне достоверно. Но видишь и другое — его вкус, темперамент, восприятие, его творческое волнение. И тогда художник как бы оживает.

Когда родился он? В 1223, 1225 или в 1230-ых годах? Год рождения важен для биографии. Но в применении к нему возраст теряет смысл. 745 или 750 лет Торосу? И в том, и в другом случае для нас он где-то там, вдали, недосыгаем. наших знаний недостаточно, чтобы написать портрет, но их хватает для того, чтобы очертить силуэт.

Подобно другим киликийским художникам, он любит синий цвет. Синие полосы колонн, синие орнаменты, синие плащи и седалища, синие реки, моря и небо яркое, синее...

Тот, кто скажет, что это небо Киликии, будет прав. Тот, кто скажет, что этот синий неотделим от цвета Средиземного моря, будет прав вдвойне. Как безгранично выразителен синий цвет Рослина! Густой и интенсивный в первых его работах, он обретает со временем бесчисленные тона и оттенки, а в более поздних миниатюрах, как например, в «Переходе евреев через Красное море» или в сцене с Ионой, словно излучает свет или превращается в прозрачную голубизну. Высятся ярко-синие соборы, витает в лазурном небе Христос, падает в голубое море Иона, где-то вдали залито небо солнечными лучами. Он любит синекрасные сочетания, но синий контрастирует и сочетается также с другими цветами, вживается в золото...

Синий превалирует во многих творениях Рослина, но синий сбавляет пыл, сдерживая страсти, порождая равновесие.

Но вот в «Поклонении волхвов», миниатюре рукописи 1260 года, синий, этот холодный синий, вносит в картину внутренний динамизм, накал, ощущение драматизма.

Да, он трудолюбив. За один лишь 1262 год он переписал одну и иллюстрировал две рукописи. Миниатюры здесь показывают, что проделан огромный творческий путь.

В рукописи 1256 года Христос, в отличие от Христов XIII века, лишен всякой стилизации. Он шагает, как обыкновенный человек, поступь твердая, в руках крест. Впереди Голгофа, и он сознает свою участь. Такие Христы с их земными муками были написаны лишь много позднее художниками Возрождения.

В рукописи этой, как и в более раннем произведении — портрете престолонаследника Левона (если считать художником портрета Рослина), художник следует старым византийским традициям. Он все еще придерживается иконографической схемы, заметно влияние учителей Киракоса и Ованеса. И тем не менее уже здесь виден его недюжинный талант.

Рисунок Рослина — будь то растения, птицы, портреты евангелистов или воинов, дома, одеяния — всегда точен. Согбенная фигура белобородого евангелиста Иоанна компактна и динамична. Иоанн склонил голову, опираясь ею об руку, с которой свисает белый пергаментный свиток, взгляд сосредоточен. Его изумрудного цвета хитон, темно-коричневая накидка вместе с таким же темно-коричневым, украшенным драгоценными камнями креслом создает удивительно благородное сочетание красок.

Смелость мысли — вот что прежде всего поражает в искусстве Тороса Рослина. Он один из первых вводит в киликийскую живопись многофигурную композицию. Сцены живые, образные, взятые из самой жизни. В интерпретации библейского сюжета он отходит от канона.

Мастерство киликийца растет. Если в некоторых своих первых работах он несколько бравурен, параден — звонкие узоры хоранов, пестрящие многоцветием павлины, яркие, отсвечивающие синевой часовни, — то уже в «Маштоце» и расписанном позже евангелии 1268 года его живопись обретает интимность, спокойствие. В изображениях киликийца поражает и чувство формы, рельефность предмета. В поисках своих он приближается к передаче светотеней, моделирует более светлыми тонами, порой светлыми бликами, стремится к трехмерности в передаче пространства...

Рослин — художник вечных поисков.

Предполагается, что портрет престолонаследника Левона, написанный в 1250 году, — самая ранняя из дошедших до нас работ Рослина. Ученые сошлись на том, что портрет принадлежит кисти художника, который не выработал свою манеру, но уже достиг определенного мастерства. Сколько лет могло быть тогда Торосу — восемнадцать, двадцать, или двадцать пять? Назвать точную цифру пока невозможно. Предположения колеблются, но ошибиться можно самое большее на 5—7 лет.

Не в то ли время родился Торос, когда королем Киликийской Армении стал юный Филипп, сын правителя Антиохии Боэмунда. Семь дней решали киликийские князья, за кого выдать замуж наследницу престола Изабеллу, дочь покойного Левона Второго, и выбор пал на принца Филиппа. Думали, сосед, в случае беды антиохийские франки придут на помощь. Но Филипп окружил себя сородичами, пренебрегал всем армянским, разгневав тем самым киликийскую знать. И она свергла его, заточив в крепость.

А может, родился Торос во время правления Гетума Первого? Молодого, энергичного государя, храброго на поле брани и тонкого, гибкого политика в мирные дни. Покровителя и поклонника искусств, брата Смбата Гундстабля и епископа-художника Ованеса. Не учителя Тороса Рослина — Ованеса, — а другого, тоже высокоодаренного, одержимого искусством. Епископ, брат короля, художник и писец...

Первые живописные шедевры были уже созданы, нужен был человек, способный обобщить художественные достижения эпохи. Вот в какое время родился Торос Рослин.

У времени свое лицо, свой дух, свои традиции. Преклонного возраста, средних лет или молодой горемыка, мечтатель, художник, писец или пергаментщик — неважно, кем был его отец, но разве не напрашивается предположение, что он восторгался красотой, чтит просвещенность, мечтал увидеть сына художником?

В те времена в Армении профессия передавалась от отца к сыну. Пергаментщик хотел видеть сына пергаментщиком, переплетчик — переплетчиком, писец — писцом...

Много смысла вкладывалось в это негромкое слово — «писец». Оно воплощало бескорыстие, непосильный труд во славу божию, бессонные ночи. Взяв в руки перо, писец как бы заранее отрекался от житейских благ, но при этом и гордился своим высоким призванием, миссией. Стужа, голод, вторжения врага, пожары — а перед ним разворачивается бесконечный свиток...

Торос писал на самом высококачественном пергаменте, его заказчиками были самые высокопоставленные люди страны, но опасаться нашествия ему, как и любому киликийцу, вероятно, приходилось не раз.

Отец Тороса, на что бы ни надеялся, вряд ли думал о славе, которая ждала его сына, вряд ли думал, что сын его будет не просто писцом, а знаменитым каллиграфом. Главное — сын взял в руки перо. Главное — оно выведет на пергаменте слова, мысли, а это уже священнодействие.

Из ишатакаранов, написанных лично Торосом Рослином, узнаешь даты и места изготовления рукописи, имена и титулы заказчиков, об изготовителе переплета, писцах (иногда Торос, вероятно из-за занятости, брался только за живописные работы). Узнаешь о деяниях патриарших и царских, о войнах и нашествиях. Узнаешь, что большинство его работ выполнялось в Ромкле, резиденции католикоса, неприступной крепости, расположенной у восточной границы Киликии. Почти в самой Киликии и в то же время за ее пределами — подале от царского вмешательства, а в случае нападения врагов можно надеяться на своих.

Смелость мысли, жажда творчества, утонченность, последовательность в творчестве, неудовлетворенность достигнутым, неустанное совершенствование, трудолюбие, в красках его напряженность и драматизм, присущие армянской жизни. Ценное сочетание — утонченность и драматизм.

Оказывается, о Рослине знаешь не так уж мало! Знаешь, что в Киликии не было художественных академий, но были скриптории, не уступающие академиям; что Торос, художник яркой индивидуальности, в ранних работах испытывал влияние своих учителей, что писал он престолонаследника Левона и его жену Керан.

Знаешь из истории, что художники приглашались на празднества двора. Мог ли не присутствовать на них лучший мастер Киликии? А на этих торжествах встречались поэты, художники и мыслители, сталкивались идеи — все это было в духе времени, эпохи, нового мировоззрения и новых идеалов, когда жадно искали счастья, радости и веселья, когда каноны благочестия отступали перед жаждой жизни.

Феномен, воссиявший в Италии через столетие, уже давал в Киликии первые ростки. Древо тогда не возросло, но пустило живучие побеги...

Вот вам и рассказ...

— Варпет Рослин...

— Это правда, варпет Рослин, что царь сказал...

Сегодня царь благоволит к художнику, и на лицах людей высокомерных, холодных, появляются приветливые улыбки. Ему отвешивают почтительные поклоны, его приглашают.

— Окажешь честь. Будут заморские гости. Я рассказывал о тебе...

А завтра? Завтра все может перемениться. Его не заметят или просто не захотят заметить — злорадные завистники, обделенные талантом, высокомерные пароны, ценящие людей по их происхождению. «Какими бы ни были его росписи: богу — богово, кесарю — кесарево, и ему надо знать свое место...»

Они кичатся золотом, земельными угодьями, властью, они тщеславны, гордятся своим именем. Некоторые из них наделены достоинствами, но вряд ли кто из этих гордецов способен понять, насколько выше их стоит Художник.

...Вдумчивые, широко расставленные глаза, нос прямой, волосы ниспадают на плечи, — каким только ни вставал он в моем воображении...

Был юным, средних лет, пожилым, старым. В моем сознании внешний облик его менялся, расплывался, обретал все новые черты, а личность художника, творца, становилась все определеннее. Все яснее становилось его окружение, фон. Я видел армянскую страну

на побережье Средиземного моря, леса и рощи, лазурные берега, людей в голубых и серебристых хитонах. Счастливых и несчастных, богатых и бедных, аскетов и эпикурейцев, их небесных хранителей, дворцы и замки, словно выточенные из слоновой кости или янтаря, и фантастическую синюю луну рядом с красным солнцем, видел много-много другого и чувствовал волнение, порыв человека, сумевшего увидеть и увековечить весь этот мир...

И он передо мной... Человек большого дарования, наделенный беспокойным характером и умом. Он неуемно в своем стремлении познать и выразить. Страстная любовь к простору и ненависть к догме нигде не могут излить себя полнее, чем в искусстве, и я, прикованный к его краскам, вижу его лицо, усталое, но спокойное, наверное, удовлетворенное творческой находкой. Его окружают возмущение, изумление, восторг и гнев, — тысячи глаз сверкают во мраке средневековья...

Они стоят рядом с Торосом. Те, с которыми он встречался, делился, размышлял, пытался выяснить возможности красок, представить цвета и пропорции в жизни и на пергаменте...

Тринадцатый век... Нравы, страсти, обычаи, представления... Замерли лица, скрещиваются пронзительные взгляды... Сквозь тусклое марево проглядывают фигуры людей. Некоторые из них проступают отчетливо — цвета одежд, блеск рыцарских панцирей и даже черты лиц; других различить не так просто — они то появляются, то исчезают в дымке; третьих почти не видно...

Смбат Гундстабль, браг короля Гетума Первого. Нынче Смбат без доспехов, в хитоне. В Киликии мирно, и, значит, можно заниматься любимым делом — писать стихи, трактаты, восторгаться росписями. В черной рясе с золотым крестом на груди католикос Константин Первый, рядом — ученые епископы к вардапеты. Мрачный и нелюдимый отец Гевонд опустил глаза в землю, — о нем нигде не упоминается, но, говорят, что он знал Тороса Рослина. Гетум Первый в окружении придворных, маршалов, дипломатов, консулов. Среди пестрой одежды, воинских панцирей, блеска колец и ожерелий выделяется молодая чета. Это сын Гетума, престолонаследник Левон вместе с красавицей женой Керан. Они перелистывают евангелие, разглядывают росписи. Художники-миниатюристы в длиннополых кафтанах, забрызганных красками: Ованес и Киракос. Это их называет Торос своими учителями и просит помянуть добрым словом. Просит помянуть он и этих юношей с удивленными глазами — учеников... Не с них ли он писал своих ангелов? Вот и ключарь Вардан. Он почему-то представляется мне в ветхой рясе, седовласым горбуном. Справа от него звонари, иереи, дьяконы, слева — изготовители пергамента, красок... Чуть поодаль от них — родители художника, его жена, сын, сестры, один из братьев — Антон — их почему-то заслонила дымка...

Крестьяне, загорелые, с огрубелыми руками, завсегда таи таверн, убогие бессребреники, бездомные бродяги, — все они пытаются улыбаться, чинные, самодовольные купцы, ростовщики с плутовскими глазами, рабыни в дешевых браслетах и амулетах, уличные ораторы, чародеи, маги...

Их много, всех не разглядеть. Доносятся обрывки речи, слышится бряцание сабель, мечей; аромат благовоний смешивается с запахом пота, где-то вдали светлеет небо, звучат плавные мелодии...

И Рослин, выйдя из этого скопища людского, сворачивает на свою дорогу. Ему предстоит путь длиною в столетья. Да, он стар. Нет той величественной походки, помутнели белки глаз, руки дрожат. Хитон его, прежде всегда благородного цвета, ныне выцвел, помят. Тело словно высохло, кажется, его нет.

Он пройдет мимо нас, пройдет еще дальше. А люди, недвижимые, глядящие ему вслед, расскажут о нем и как это было...

ПОМЯНИТЕ УЧИТЕЛЕЙ

Они внушали своим ученикам, среди которых был и я, недостойный писец и художник по имени Торос, что надо чтить священные писания, дарящие человеческой душе радости и утешения. Они учили не только тайне красок, но и преклонению перед благородством и добродетелью. Любили они наиболее честных и искренних, предпочтение в деле отдавали наиболее одаренным. Да не пропадут их старания, и каждый, кто научился у них живописать, пусть сотворит прекрасное для другого...



Вфрат в этих местах был быстротечным и шумным. Его воды неслись мимо склонов, пологих, одетых в густую шкуру гранатовых и фисташковых рощ, кизилowych зарослей. Они разливались по берегу, круто пенились и шумели на камнях...

Там, где в Евфрат впадали воды Марзмана, реки не столь полноводной, но такой же быстрой и шумной, выростала скала, высокая и обрывистая со всех сторон. Ее вершину окаймляли толстые стены крепости, над входом в которую развевался флаг. Когда ветер выпрямлял его красное полотнище, на нем ясно выделялись двуглавый орел и крест — герб католика.

Крепость была высокой и неприступной. Ее соорудили из больших, грубо отесанных камней, скрепив их свинцовыми связками. Эти глыбы камней будто выростали из скалы, став ее продолжением. Крепость была многобашенной. Для большей неприступности обтесали каменные скалы, на которых она возвышалась. Дорога к ней прокладывалась по крутому склону, вход располагался на значительной высоте от полотна дороги. Все это усложняло действия врага.

Проходы к крепости стерегли воины католика. Они скрывались в зарослях склонов, и враги не знали, с какой стороны полетят в них копья, камни и стрелы.

Ромкла находилась вне Киликии, но непосредственно у ее границ. И тем не менее, святые отцы армянской церкви не видели лучшего места для своей резиденции: крепость была хорошо укреплена, в случае беды всегда можно было обратиться за помощью к соотечественникам. К тому же католикос старался держаться подальше от царя, который любил вмешиваться в дела церкви.

Крепость построили византийцы и назвали Ром-Клай — греческая крепость. Она переходила из рук в руки — от греков к арабам, от арабов к армянскому князю Василу Гоху — но греческое название «Ромкла» так и осталось.

В начале XII века Ромклу завоевал франк-крестоносец Жоселен. Он, как и многие его собратья, ехал на восток сражаться за христианское дело. Однако, как и многие его собратья, был не прочь урвать и у самих христиан что удастся.

Случай выпал, и Жоселен его не упустил. Были пущены в ход коварство, хитрости и уловки, произнесены речи, прославляющие братство христиан, посыпались проклятия на «неверных».

А спустя немного времени князь Васил уже не мог остановить надвигавшуюся на него грохочущую лавину панцирей, шлемов, нагрудников и мечей.

Жоселен, проведший жизнь в дорогах и войнах, не любил засиживаться на одном месте. Однажды на охоте он упал с лошади, сломал ногу и отстал от своих воинов. Его нашли

люди сельджукского эмира Нур-ед-дина, который давно имел виды на Ромклу и только ждал удобного случая. Эмиру показалось, что после пленения Жоселена ему удастся достичь своей цели. Но все сложилось иначе.

Жена Жоселена и не думала уступать крепости. Попытки эмира завладеть ею силой потерпели крах. Супруга написала сыну, тоже Жоселену, во Францию, чтобы тот приехал в Ромклу и стал ее владельцем. Но сын, зная, чем кончился поход для отца, предпочитал не спешить.

В дело вмешался католикос Григор: он стал уговаривать вдову уступить ему крепость Ромклу, взамен предлагая ей другие владения, где она была бы в безопасности.

Жена Жоселена согласилась при одном условии: если ее старший сын пожелает переехать на Восток, то киликийцы должны признать его владельцем крепости.

И он приехал. Но в Ромкле, наверное, его не очень ждали. Желая быть подальше от греха, Жоселен-сын продал крепость католикосу, а сам возвратился в Европу.

Так стала Ромкла резиденцией армянских католикосов.

— Торос! Эй, Торос! — Эхом разносится по скриптории голос варпета Киракоса. — Где ты, негодник?!

— Он у меня! — слышится из-за ограждения. — Помогает.

— У тебя, Ованес? Как кончит, пусть сходит за пурпуром.

Проходит немного времени, и мальчик лет двенадцати кладет на стол Киракоса пузырьки с красками.

— Молодчина, — говорит Киракос. — А теперь покажи свою работу.

Торос берет со своего стола лист бумаги и бережно несет его Киракосу.

— Опять на бумаге!

— Но я...

— В твоём возрасте я писал только на пергаменте.

— Но я был уверен, что не испорчу, — оправдывается мальчик.

— Уверен, уверен! — возмущается Киракос. — Ты всегда уверен...

— Нет, не всегда, варпет. Только когда чувствую, что могу.

— Упрям ты, как осел, — говорит Киракос и, уже увлекшись работой ученика:

— Лучше скажи, почему арку на хоране написал от руки, а не циркулем?

— «В искусстве главное само искусство», — отвечает Торос учителю его же словами.

— Вот как! — Киракос делает удивленное лицо. — Может, объяснишь, что ты под этим понимаешь?

— О, варпет, — восклицает мальчик. — Что такое линия, выведенная циркулем! Она мертва. Циркуль — словно те художники, что могут быть только прилежными. А я хотел, чтобы вышло красиво, как на лужайке, где много цветов. Как на коврах — глянешь — узоры пестры, цветисты, все четко и без линии...

— Ладно, ладно, — улыбается Киракос, — заговоришь ты меня. Тебе самому бы учить. Лучше сядь да поработай над заглавными буквами.

«Бьется в тебе сердце горячее, Торос, — сказал ему отец, — и сотворенное господом ощущаешь ты всей душой. Живописанием бы тебе заняться. Глядишь — и станешь художником». А уже в скриптории учитель дал ему краски, кисть, кусок старого пергамента и наказал написать что-нибудь по велению сердца. Когда же Торос изобразил прибрежную скалу и море, овеянные отблеском утренней зари, и показал это учителю, тот улыбнулся и сказал: «Ты самый древний армянин! Древнейший из древнейших» Увидев его удивленные глаза, учитель добавил: «Будто из глубины веков идут твои краски, и озабоченность в них превеликая». Он не совсем понял учителя, но догадался, что тот им доволен. Его приняли

учиться, и он прилежно выполнял наказания варпета. А тот все чаще останавливался у его столика. «Да, идут они, твои краски, из глубины веков», — говорил он каждый раз все серьезнее. А однажды учитель молча и долго наблюдал за его работой, а потом у него вырвалось: «Ну откуда эти краски, скажи, что тебя радует?!» А он, не зная, что ответить, пробурчал что-то невнятное. Но потом глаза его радостно блеснули, и он сказал: «Все, все: смотришь вокруг — не нагладишься. Сколько вокруг красоты! И хочется все вобрать в сердце. Звонят колокола, поют в церквях хоралы, по утрам, чуть глянет солнце, просыпаются люди, деревья, твари божии, все вокруг дышит, и сердце наполняется этим дыханием. Смотришь, и кажется, будто мир покрылся прозрачной пеленой, — то голубой, как небо, то огненно-золотой, как солнце, то изумрудно-синей, как волны морские. Я это вижу каждый день...»

Скрипторий: покрытые золотом и красками пергаментные листы, на столах чернильницы, сосуды с красками, гладилки для пергамента, резак, шкатулки, ножи, линейки, циркули, ножницы, тростниковые перья, кисти, подставки для пергамента, самые необычные, затейливые. Эти подставки — своеобразный мольберт миниатюриста — обычно ставились на пол, на стол или свешивались с потолка. Вот и миниатюрист, сосредоточенно углубившийся в работу. Ну а что же Торос Рослин? В каком скриптории он учился?

Ответить конкретно на этот вопрос невозможно. Но есть косвенные факты, и им верить. Они помогают понять и представить эпоху, людей, обстановку.

И я вижу высокие своды просторного скриптория. В одной мастерской варят краски и клей, в другой — творят золото или чеканят переплет... Юноши с легким пушком на лице, затаив дыхание, корпят над пергаментом... Те, что постарше, помогают мастеру лощить бумагу, готовить чернила, растирать краски... Тишину нарушают медленные шаги мастера, внимательно следящего за работой учеников. Но кто он? Киракос, Ованес или их знаменитый современник Вардан? Мы этого не знаем, как не знаем нравов, взглядов, характера этих прославленных мастеров. Достоверных фактов из жизни скриптория Ромклы почти не сохранилось. Но есть другое, достоверное, распознанное по многим рукописям, книгам. Это трепетная любовь армянских миниатюристов к своему искусству. Да, в киликийских скрипториях обучали не только законам живописи, но и одержимости искусством, и для создания рукописей Торосу нужен был не только талант, но и железная воля. Ее ощущаешь на каждой странице расписанных им манускриптов.

...Утро встречает их в скриптории. За небольшими столиками корпят они — миниатюристы, писцы, переплетчики. Запах красок смешивается с запахом ладана и догорающих свечей. Потом утро вступает в свои права, и вместе с первыми возгласами, доносящимися из торговых рядов, они ощущают первую усталость.

Торос живет в постоянных творческих исканиях. В памяти мелькают впечатления, калейдоскоп образов сменяется калейдоскопом мыслей. Мазки, нанесенные на пергамент, — результат глубоких раздумий.

На смену утру приходит полдень. Краски вокруг сгущаются, становятся контрастнее, солнце пылает все ярче, и караваны шагают по дорогам все медленнее. А потом наступает вечер: пустеют улицы, в скриптории зажигаются свечи, над Ромклой — звезды. Люди на улицах превращаются в темные силуэты. Трудно отличить мирян от священников и монахов, облаченных в черные рясы. Из-за облаков медленно выплывает луна, и раскаты колокольного звона проносятся над Ромклой. Потом на улице воцаряется тишина. Сквозь узенькое окно прокрадывается вечерний ветерок. А колокола звонят...

В Ромкле восторгались достижениями византийских или франкских миниатюристов, нередко находились под их влиянием, но были верны себе, своему духовному миру, своим традициям. К тому же лучшие киликийские миниатюры не уступали византийским шедеврам.

Я вижу этих юных художников. Они смотрят на росписи изумленно. Чьи они? Не Константина ли, или Григора — мастеров XII века из скриптория Скевры? Нет, нет, это все-таки Григор, признанный сегодня великим. Тогда его пригласили в Ромклу.

Григор, Константин, Вардан, Ованес, Киракос... Образы знаменитых предшественников и современников побуждают взять в руки кисть. И, прикованные к краскам, они отдаются фантазии. Но вдруг чей-то возглас или жалобный вздох нарушает тишину.

Десятки глаз отрываются от пергамента.

— Не получается, и все, — жалуется неудачник, — не выходит по канону.

— А ты пиши по-своему.

Тут кто-то вскакивает на стул.

— Хочешь, покажу, каким должен быть Иуда? — Он накидывает на себя гиматий, делая при этом фальшивую гримасу.

— Только сбрейте мне бороду и позолотите стену для хорошего фона. Лучшего изображения «предательства Иуды» не придумаешь.

Все смеются, не замечая появления в дверях учителя.

«Помяните учителей»...

Он не раз заканчивал рукопись этими словами. Но кто они, эти люди, о которых Торос всегда вспоминает с благодарностью?

Предполагают, что ими были Ованес и Киракос — знаменитые художники Ромклы. Во всяком случае несомненно одно: в начале своего творчества Торос находился под влиянием предшественников. Удивительная общность стилей, умение декорировать заставки и хораны. Да и заказчик у них один: католикос Константин Первый.

Но в Ромкле ли учился Торос? Скорее всего — да. Думаешь так потому, что Константин Первый старался собрать в Ромкле самую талантливую молодежь, и каждый одаренный юноша мечтал получить образование в этой обители науки и искусств. Учителей в то время меняли не часто. Любовь учителя и ученика — любовь отца и сына — навечно связывала их, и расставаться было не так просто.

Вряд ли Торос мог учиться в Дразарке или Скевре, а потом перейти в мастерскую Киракоса и Ованеса. Думается, такой независимый в своем искусстве художник, как Рослин, мог подвергаться влияниям только в самом начале творческого пути, когда он был еще совсем юн.

В двадцать-двадцать пять лет Торос стремится избавиться от всех влияний и обретает свое лицо. Да, влияние он испытывал в начале своего творчества, и оно исходило от Киракоса и Ованеса. Он учился у этих мастеров в Ромкле...

Именно там армянское искусство миниатюры достигло больших высот. Преподавание в Ромкле было на самом высоком уровне. Достаточно представить в роли учителей таких больших художников, как Ованес, Киракос или Вардан (речь идет о миниатюристе XIII века). Достаточно отметить, каким законченным профессионализмом отличались выпускники этого скриптория — современники Рослина.

До нас дошли сведения о вардапетаранах — средневековых высших школах Армении. Они были в Ани, Татеве, Санаине, Ахпате, Нор-Гетике, Нареке, Гладзоре. Такие школы возникали и при армянских монастырях Киликии, Сирии, Малой Азии и Месопотамии. Потом, после образования Киликийского армянского царства, там, в городах, были основаны Левоном Вторым светские школы. Впрочем, в коренной Армении такие школы возникли еще раньше.

В этих школах проходили математику, естественные науки, космографию, философию, риторику, право, богословие, поэтику, грамматику. Были в Армении также и специальные школы, например, — медицинские, где изучались анатомия, физиология, фармакология.

Высшие школы средневековой Армении пользовались хорошей репутацией. Во времена Рослина Ромкла особенно выделялась. Сюда приезжали ученые мужи из Великой Армении. Многие из них задерживались в ней надолго, а иные оставались навсегда. Приезжали они не только потому, что в Великой Армении, потерявшей самостоятельность, жилось им несладко, но и потому, что общение с учеными Ромклы становилось для них все необходимым.

В 1236 году в Киликию приехал известный историк Вардан, который провел в Ромкле несколько лет и написал о взаимоотношениях киликийцев с другими странами.

Преподавал в Ромкле и занимался наукой крупнейший армянский поэт и мыслитель Ованес Ерзнкаци. Валерий Брюсов считал, что в стихах Ованеса Ерзнкаци «армянская лирика освобождена от церковности и библейских образов», что Ерзнкаци переходит «к поэзии свободной, в которой поэт говорит обо всем, что непосредственно волнует его в современности».

Приезд поэта в Ромклу не совпал со временем учебы в Ромкле Рослина (поэт приехал в 1281 году), но тот факт, что там преподавал такой крупный мыслитель, как Ерзнкаци, говорит о высоком уровне обучения.

Писатели и мыслители в Киликии владели несколькими языками — греческим и сирийским, латинским и арабским. Все больше ощущалась потребность и во французском. Знание языков давало возможность изучать труды иностранных авторов, делать переводы. В спорах, диспутах киликийцы всегда стремились показать этим высокомерным, кичливым ромеям, убежденным в преимуществах своей веры над армянской, что Ромкла — надежная обитель просвещения. Полемика велась и вокруг вопросов о боге, земле, мироздании, о достоинствах религий. Но, отстаивая святость канонов своей церкви, киликийцы нередко обращались к самой жизни, пытались уразуметь и божеское, и человеческое.

Талантливого юношу не могли обойти вниманием ученые мужи Ромклы. Да и сам Торос, несомненно, искал их общества. Общение с ними, безусловно, оказало большое влияние на формирование мировоззрения и культурный горизонт художника.

Факты, факты...

Вот достоверный факт. «Распятие» из евангелия 1268 года. Об этом творении Рослина можно говорить без конца, но мы остановимся лишь на центральной фигуре картины — Христе.

Ниспадающие на плечи волнистые пряди волос, печально сжатые губы, мягкие усы и борода, взгляд в себя... Передача такого страдания, где-то овечьего мистикой, но в общем земного, человеческого, не ново для художников средневековья. Но тело...

Оно живо, полно внутреннего движения — Христос как будто дышит. Это не богочеловек, а самый что ни на есть реальный, земной.

Чтобы подчеркнуть страдания, художник изобразил грудь и живот Христа отверстыми, как бы распоротыми. Четко выписаны части тела распятого, мышцы напряжены — удивительная пропорциональность, анатомическая точность без натуралистических подробностей. Такой Христос в живописи XIII века редок, удивителен.

Уже в ранних своих работах Рослин стремится передать объем и пропорции человеческого тела. Быть может, в «Распятии» достичь этого ему удастся больше, чем в других произведениях, но стремится он к этому всегда, — и это характерно также для других киликийских художников.

— Дело наше добросовестности большой требует, — говорил учитель. Лицо его при этом становилось особенно серьезным. — Быть художником или писцом — значит навсегда позабыть о собственном и еще — уметь все. Забросит судьба в дальние края или нагрянут неверные, — кто знает, что ожидает нас? — у одних нет красок, у других чернил или

пергамента. Что делать, как быть вдали от скриптория? Или заболели мастеровые, а нам каждый божий день дорог...

И они слушали, затаив дыхание. Постигая секреты живописи, постигали и сложную технику искусства миниатюры. Варить клей, резать пергамент, пришивать листы, приготавливать краски, чернила, позолоту. Позолоту получали, смешивая золотую пыльцу с медом, или белым клеем, или густым раствором камеди.

Писцы пользовались несколькими видами и цветами чернил. Европейские варились из чистого вина, муркапан — из корок свежих грецких орехов, воды и чернильных орешков, так называемые «серые» чернила — из опилок серебра, с оловом или ртутью, растворенной в азотной воде. Их учили варить краски из дубовой золы, олова и ртути, телячьей и бычьей желчи, желтого мышьяка, из фиалки, ириса, георгина и марены.

Некоторые составные части красок ввозились из Индии, Египта, Африки, другие, наоборот, экспортировались из Армении. Широко применялись в киликийских мастерских краски из минералов и животных пигментов. Юные художники часто слышали о тайнах знаменитого вордан кармира — невыцветающего пурпура, изготавливаемого из красных червячков — кошенили.

Но не одними красками расписывали миниатюры. Кроме позолоты, пользовались и сусальным золотом. Прежде, чем приклеить его, для большего звучания накладывали на пергамент охру или красный цвет. Когда краски высыхали, их покрывали тонким слоем чесночного сока, золото бралось и хлебным мякишем. Его прижимали к листу, а после того, как оно приклеивалось, очищали от хлеба и натирали до блеска.

Показывал мастер ученикам, как пользоваться циркулем, линейкой и прорисьями. Но особенно много говорилось об иконографических схемах — расположении фигур библейских персонажей в композиции, какими должны быть одежда, лица. Канон требовал строгой последовательности, точности передачи. Учитель и не замечал, как возвращался к разговору о красках, чернилах, пергаменте.

- Возьми хорошей позолоты...
- Принеси железного шафрана...
- Попробуй камеди аравийской...

Рецепты приготовления чернил и позолоты передаются из поколения в поколение. На страницах древних рукописей читаешь содержание этих советов. Но многое держали в тайне, как, например, рецепты красок. И нередко они забывались или исчезали вместе с погибшими рукописями.

Тут невольно представляешь изумленное лицо какого-нибудь юноши, открывшего для себя неожиданный эффект красок или узнавшего у коллеги секрет их приготовления.

Не без гордости рассказывал учитель о высоком качестве, большой известности армянских красок, — в то время на Востоке высоко ценили кармир вордан— пурпур.

Тот, кто знал секрет хороших красок, пользовался не меньшим уважением, чем обладатель большого таланта.

...Нужно взять шкуру козленка или жеребенка, зайца или косули, теленка или барана. Насыпать на шкуру известь и налить воды. Если шкура тонкая, то сделать раствор жидким, если толстая — густым. Со временем кожа размякнет, и волос будет легко соскабливаться. Шкура еще несколько раз обливается известковой водой. Когда она станет плотнее, следует промыть ее и растянуть на станке.

Нужно взять нож и теперь уже с внутренней стороны соскоблить остатки мяса так, чтобы осталась одна кожа, — это будет лицевая сторона. Затем нужно продержать шкуру под солнцем, и когда она совсем высохнет, снять с нее остатки волос и покрыть эту сторону

яичным белком, а другую — густым раствором из льняных семян. Все это высыхает, потом чистится, — получается хороший пергамент...

И они слушали, раскрыв рты, затаив дыхание. Но, бывало, учитель рассказывал весело, задорно, и все лицо его улыбалось.

— Красный! О, сколько есть красных цветов! — восклицал он. — Красный, как маки полевые в дни первого весеннего цветения. Он, как кровь, как спелый гранат, упавший с дерева на опаленную осеннюю землю. Красное может полыхать радостно и устрашать, как смерть. Бывает, что этот цвет напоминает о мучительных ранах, врывается в гущу красок, как нарушитель спокойствия, умиротворенности, как сгусток ярости, необузданных свирепых страстей. А бывает, он, как драгоценный камень, обретший блеск и нежность, как утренняя заря, материнская рука, теплая и ласковая, взор возлюбленной.

О, а сколько бывает оттенков желтого цвета! Синего, зеленого, черного, белого, коричневого!

Если на душе радостно... Вы знаете, что это такое — писать желтым цветом, когда на душе радостно? Желтый — как сгустившиеся в земле солнечные лучи: он греет, как раскаленный металл, отликает светом луны, выплывшей из облаков. Желтый сверкает, как золото при горящих свечах, становится жарким, как песок пустыни, когда сохнут оазисы и изнуренные верблюды становятся на колени. Он может быть веселым, как дитя, беспечным, как поблескивание жемчугов, смех пирующих. А бывает, тот же самый желтый цвет лишен теплоты, света и напоминает лицо человека, томящегося в лихорадке или истощенного голодом.

А синий? Вы же знаете, как красива морская гладь, как прозрачно небо в ясные спокойные дни...

Учитель рассказывал обо всем этом, и на лицах их появлялись задумчивость, удивление. А затем они опять садились за свои столы и работали молча до позднего вечера.

...Пора ученичества позади. Священник перелистывает страницы обрядника. Сейчас он прочтет традиционное благословение перед посвящением в мастера. Юноша садится перед пастырем, слушает его назидания. Под высокими сводами в храмах звучит четко, чеканно:

«Не поддавайся дурным привычкам, не давай лживых клятв, не бери больше, не возвращай меньше, не выдавай никчемное за ценное, будь преданным заветам учителей, не предавайся лжи ради обретения богатства... Будь правдивым, честным, справедливым, богобоязненным, имей совесть. Уважай своих учителей и своих родителей»...

Родился еще один художник на земле армянской. Громко звонят могучие колокола. Звуки хора смешиваются с шумом ветров. По синему небу плывет облако. И тихо плещется изумрудная волна. Ты счастлив, Торос?

— Ты счастлив? — спрашивает отец.

Сам он бесконечно счастлив: в семье, где чтят книжную мудрость и краски, — свой художник.

— Да воздаст тебе бог за твои старания, — он берет со стола старинную рукопись и перелистывает страницы. — Деда наши и прадеды читали Григора Нарекаци в самые торжественные минуты:

*Лицо мое спокойно, только взгляд
Горит, смятенье духа доказуя.
Со сладкою и горькой едой
Перед собою я держу два блюда,
Держу перед собою два сосуда:
Один с травой, с миррою — другой.
Две печи есть: одна красна от жара.
Пока другая стынет без огня.
Две длани надо мною: для удара
И для того, чтобы проклясть меня.
На небесах два облака застыло —
Одно несет нам огонь, другое — град.
Тому, что будет, и тому, что было,
Две укоризны с уст моих летят.
Две жалобы летят незаглушимых, —
В одной — мольба, в другой — укора знак.
И в сердце слабый свет надежды мнимой
И горькой скорби безнадежный мрак.
Два ливня хлещут: ливень стрел свистящих
И камнеград, грозящий на земле.
Восходит солнце — жжет нас зной палящий,
Заходит солнце — нам темно во мгле.*

— Только, когда восходит солнце, Торос. Только сосуд с миррой, огонь...

— Да, отец, да.

Он навсегда запомнил эту радость — день был пронизан солнцем, за окном колыхался жаркий каленый воздух. Евфрат поблескивал светло-золотым сиянием. Все в этот день будто говорило о радости, и радость пришла. И когда его позвали к католикому Тер-Константину, он пошел с уверенностью, что услышит хорошее, и он услышал:

— Торос... — католикос посмотрел на него с благоволением, — хочу тебя порадовать.

Рядом с патриаршим тронем стояли его учителя Ованес и Киракос, и когда Торос посмотрел на них, они улыбнулись ему. Быстрыми шагами подошел он к патриарху и приложился к его руке.

— Мы решили остановить свой выбор на тебе, — сказал католикос. — Да и учителя твои считают, что должен сделать это ты...

Ованес и Киракос отвесили патриарху почтительный поклон.

— Торос—самый одаренный из наших учеников, — сказал Киракос, — и я думаю, он справится. Мы с варпетом Ованесом многое видели и пережили, и сердце подсказывает нам поручить это именно Торосу.

Ованес утвердительно кивнул головой.

— И я так думал, — сказал он. — Светоча нашего, молодого, славного престолонаследника Левона пусть лучше напишет Торос.

Престолонаследника? Левона? — перед глазами Тороса все поплыло, но твердо прозвучали слова католикоса.

— Это большая честь для тебя, сын мой, прими мое благословение.

Он низко поклонился сначала Тер-Константину, потом учителям.

— Не знаю, достоин ли я такой милости, — он старался не выдать волнения, — но я сделаю все, все...

Да, этот день он запомнил навсегда. И яркое солнце, и колокольный звон, и окрыляющее счастье. Ему доверили, в него поверили!

Весть эта мгновенно облетела скрипторий. Его поздравляли художники, пергаментщики, писцы, поздравил даже епископ Гевонд, человек мрачный и хмурый, а ключарь Вардан, узнав об этом, воскликнул: «Ты родился под счастливой звездой!» — И сам Торос подумал, что это так и есть. Он слышал много добрых слов в свой адрес от учителей, но никогда не думал, что относятся они к нему настолько хорошо. А они его считали настоящим художником, и Тер-Константин поверил в него, Тороса. Были бы сейчас рядом отец, мать, сестры и братья! Но не возгордился ли он? Не попасть бы под власть лукавого...

Окна его выходили в сад. Там росли молодые деревца. Несмотря на жару, от них веяло удивительной свежестью. Жару и свежесть — вот что всегда хотел он воскресить на пергаменте и увековечить навсегда.

Задумчиво постоял он у окна до самых сумерек, а потом пошел в церковь Григория Просветителя.

А на следующий день глашатаи известили о приезде царевича Левона. В скриптории говорили, что он приехал совершенствовать свои знания у его святейства Константина, своего пастыря, которого он почитал и любил.

Через несколько дней к Торосу пришли люди Левона, престолонаследник желал его видеть.

— Я видел твои росписи, — сказал царевич. — Они мне понравились. Позволяю тебе написать мой портрет.

«Говорит, как царь», — подумал было Торос, но тут на непроницаемом лице Левона мелькнуло детское выражение, и Торос на мгновение даже забыл, что перед ним будущий правитель Киликии, — это был подросток, почти ребенок. Он расспрашивал Тороса о живописи, забывая о своем высоком звании, но вдруг, спохватившись, старался выглядеть недоступным. «Для своего возраста он умен, — Торос внимательно изучал престолонаследника, — хотя глаза как у самого обыкновенного ребенка». К концу разговора Левон сказал:

— Ты, Торос Рослин, начнешь живописать меня завтра...

— Как велишь, твоя честь... Только... Хотел бы услышать... Ты будешь присутствовать или писать тебя по памяти?

— Лучше я буду присутствовать.

Он писал его в библиотеке католикоса, увешанной расписанными пергаменами. Работа пошла сразу...

Портрет престолонаследника, затем уже короля Левона Третьего, вероятно, самая ранняя работа Рослина. Киракос иллюстрировал евангелие по заказу католикоса, и один из листов рукописи расписал его ученик Торос. Рукопись эту Киракос завершил в 1249 году. Миниатюра с портретом Левона была написана в 1250 году. По-видимому, ее приклеили к рукописи Киракоса, когда эта рукопись была еще цела. Потом она пострадала, остались отдельные листы. Это евангелие было изготовлено по заказу католикоса, который подарил его своему ученику — царевичу Левону.

О том, что портрет написан Торосом Рослином, нигде не говорится. Не принадлежит эта картина и кисти Киракоса. Но тщательное изучение картины дает ученым все основания считать ее произведением Тороса Рослина.

Левон Азарян, автор монографии «Миниатюрное искусство Киликийской Армении XII—XIV веков» находит много общего между этим произведением и портретом Левона и Керан: композиция, статика, фронтальная постановка фигур, монументальность, — как на византийских портретах времен Комнинов. Похожи на этих миниатюрах и орнаментальные украшения плащей.

По мнению ученых, Левону на портрете четырнадцать лет. Он изображен во весь рост на темно-золотом фоне перед креслом под синей аркой. На нем длиннополый хитон и короткий плащ. Красный плащ, как и синий хитон, расшиты золотыми кругами. Внутри кругов львы, — воплощение силы и мудрости. Тот же символ украшает и национальный герб и личный герб Левона. Лицо — юное, умное, чуть удивленное, большие миндалевидные глаза широко раскрыты, в руках ветвь — все еще впереди: жизнь, познание, царствование. И кто знает, возрасти ли ветви, что держит Левон в руках, или суждено ей увянуть, не дав плодов.

Он стоит перед креслом, царственно приложив руку к груди, концы длинных пышных волос, — как и подобает людям его происхождения — огибая ухо, закручиваются кверху, голову обрамляет нимб. А наверху витают ангелы, синекрылые посланцы в синих и малиновых облачениях. По обе стороны фигуры престолонаследника вертикально расположенными буквами выведены слова: «Левон — сын Гетума».

Четкие синие буквы удачно сочетаются со всем этим синим миром на пергаменте, удачно заполнен однотонный темно-золотой фон. Он как бы соединяет синюю арку с темно-синим полом.

«...МНОГОГРЕШНЫЙ ПИСЕЦ...»



- рошу, тебя, варпет...
- Глянь на мой рисунок...
 - Что скажешь о красках?..
 - Могу сделать, чувствую, а в голове все смешалось...
- Где земное, а где благодать святая...
- Отцом ты был мне, спасибо превеликое.
- Прошу, подари на прощание кисть да приложишь десницей...
- Издалека мы, варпет, может, выслушаешь...
- Из бедных мы, но не гнушайся — благослови сына...
- Варпет, кончился пергамент... Варпет, склянки с красками пустые... Нужно подумать, варпет, о переплете...
- Выслушай, посочувствуй... Отец ты нам теперь...

... Звон колоколов сотрясал воздух. Вечернее солнце, багровое, нежаркое, искрилось на куполах соборов и крышах дворцов, на мраморе колоннад. Люди стекались к церкви, где ожидалось посвящение в главные мастера скриптории...

— Ты пришел, Торос?..

Он на троне, украшенном резьбой и камнями, в длинной мантии, спускающейся с плеч до пола, обитого листами серебра. Купол над головой, как и крест, венчающий его, из золота.

— Я хотел сказать...

Взгляды их встречаются. Застыв в неподвижности, сверкают их глаза в полумраке, как раскаленные угли.

— Вырос ты, и искусство твое выросло. Да, да...

Умолкает, задумавшись, святой владыка, и Торос знает, что молчание его может быть долгим. Но тот, словно вернувшись откуда-то из иного мира, продолжает:

— Все говорят о доблести и чести. А Великую Армению топчут неверные и орды кочевников. И в Киликии мир висит на волоске. Вместо кичливости нам бы единства и разума. Рушится мир христианский на глазах: ромей готов сожрать нас заживо, франк смотрит с открытой пастью на ромея. Тьма людей погибает, гибнут города. Но и в развалинах храм величествен: красоты не искоренить сразу, Торос...

Четко, словно чеканя, произносит он каждое слово, и Торос видит, как мечтательно зажигаются его глаза, когда он говорит о храмах, хачкарах или рукописях.

Он берет со стола рукопись и перелистывает ее страницы, восхищаясь, покачивая головой.

— Как расписал! Большим был мастером Киракос... Да, нет Ованеса и Вардана... Грустно сознавать... Знали свое дело и юных умели обучать. Нам нужны хорошие росписи... Нам нужно искусство... Сила наша в этом... — А потом, как бы невзначай: — Будешь главным в скриптории Ромклы. Что так смотришь? Не смущает меня твоя молодость.

Волосы и борода убелены сединой, веки полуопущены, движения неторопливы. Перелистывает страницу, другую. Перед ним кипа книг — новые трактаты, летописи, евангелия, миниатюры, которые ему полюбились, и он не может не возвращаться к ним хотя бы время от времени.

- А этот лист, Торос?
- Он хочет поместить его...
- Я не об этом, я о зеленом — как смотрится?..
- Мне кажется, хорошо...
- Тебе лучше знать...

Он мог бы принять или отвергнуть ту или иную книжную роспись, мог бы навязать свой вкус, свои понятия и требования — все или почти все зависело от его воли.

Торосу в этом смысле повезло. Католикос Константин Первый вошел в армянскую историю как покровитель всего просвещенного и талантливое. Ученые мужи, приезжающие в Киликию из разных концов Великой Армении, нередко останавливались в Ромкле.

И жизнь, и творчество Тороса Рослина тесно связаны с Константином Первым. И скромные факты из жизни католикоса могли бы пролить свет на жизнь великого киликийца...

Историк Вардан, тот самый Вардан, который вместе с другими армянскими историками — Магакией и Киракосом получил образование у знаменитого вардапета Ованеса Ванакана, вырастившего плеяду ученых, позже сам ставший вардапетом, был другом католикоса. Беседы их порою длились часами. Они говорили о духовных песнопениях, одах, переводах рукописей, толковании текстов Священного писания, автором которых был Вардан. И он, конечно, был готов поделиться о своем творчестве с мыслящим патриархом. Но прославился Вардан прежде всего своей «Всеобщей историей», и именно она сделала его имя столь известным еще при жизни.

Оба они происходили из Бардзрберда и, быть может, знали друг друга еще в молодости. Но как бы там ни было, в своих трудах историк скуп на слова о своем друге. И не потому ли, что этого желал сам католикос?

В народе Константина любили за кроткий нрав, простоту и щедрость. Он не жалел денег для выкупа пленных, помощи сиротам.

Рослин называет его великим покровителем искусств и книголюбом. О том, что он щедро давал свои деньги на изготовление рукописей, с благодарностью пишут и другие художники. Спустя много лет после смерти католикоса Константина имя его упоминается с такой же почтительностью и уважением, как и при жизни его.

Он еще только начинал править, а из Ромклы уже понеслись гонцы во все монастыри Киликии. Они везли за пазухой свитки пергамента — повеления католикоса настоятелям монастырей «изготавливать священные книги с искусством». Константин не ограничивается одними посланиями, он лично следит за творчеством художников и поэтов. И то, что его любимый художник, скорее, самый любимый, — Торос Рослин, говорит о многом.

Католикос Киликии и Великой Армении настолько почитал искусство, что даже сам взялся переписать «священную книгу с искусством».

Известно, что книгу эту он потом подарил одной из церквей и что переплет был из серебра и золота. Вряд ли католикос взялся бы за дело, в котором он мог выглядеть беспомощным. Вероятно, Константин обучался искусству каллиграфии...

Да, он стремился окружить себя мыслителями, поэтами, много читал, особенно хорошо знал великого Нарекаци. Да, он умел ценить таланты и не вторгаться в мир творца. Не об этом ли говорят рукописи, появившиеся в Киликии в годы его правления? В них чувствуешь необычно свободное для времени толкование библейских сюжетов. Ревностный сторонник незыблемости канонов, он в то же время понимал, что искусству необходимо и нечто живое, человеческое. Быть может, в этом одна из главных причин того, что в Ромкле стремились самые одаренные сыновья Киликии и Великой Армении.

Покровительство католикоса Константина во многом помогло Рослину. Ведь мог быть на его месте человек нетерпимый, своенравный, глухой к искусству, и тогда у Тороса все

могло бы сложиться по-иному.

— Варпет Торос!..

Теперь придется величать его так. Просто Торосом будут называть его только близкие, художники, равные по достоинству, и сильные мира сего. Тут многое зависит от воспитания, личных качеств человека! Смбат Гундстабль, наверное, называл его «варпетом Торосом». Он, Гундстабль, знает цену искусствам и прекрасно понимает, какое это чудо — сотворить прекрасное. Иногда он будет называть его просто Торосом, но не из чувства превосходства патриция. Старший по возрасту, умудренный жизненным опытом, он может допустить такое.

А канцлер Рабуни? Просто по имени — Торос. Правда, они почти ровесники, но один из крупных киликийских философов иногда из дружеских побуждений хотел бы преступить официальность. Нет, вовсе не потому, что он канцлер из знатного рода, — близость творцов. Но как отвечает другой творец? Для Рослина они всегда пароны. Парон канцлер, парон Гундстабль, парон сенешаль и десяток других паронов — маршал, владелец замка или просто князь...

Для царя он, очевидно, Торос. Впрочем, всегда ли? Приверженец правил хорошего тона Гетум в отдельных случаях вряд ли станет называть его Торосом. Тем более на дворцовых приемах, когда все должны говорить о благородстве царя, его великодушии, покровительстве всему светлomu, незаурядному.

— А теперь, дорогие гости, наш волшебник кисти Торос Рослин покажет...

В особенности, если эти гости — иностранцы. Неважно, кто они — кичливые франки, смышленные, деятельные венецианцы или утонченные до изощренности византийцы. Пусть все они видят: царь Киликии знает цену талантам...

А католикос?

— Все гнешь свое, Торос.

— Не чтишь святости канона, все упрямишься.

Сорок шесть лет Тер-Константин на патриаршем троне. Рослин вырос на его глазах. То, что не скажет он другому, Торосу может сказать.

Варпет Торос!

Десятки восторженных юношей смотрят на него с благоговением. Для них, одержимых, преданных кисти и краскам, он — герой, волшебник, маг. Они следят за каждым его движением, подражают ему в искусстве и в жизни. Но некоторые из тех, что обрели уже свой почерк, свой стиль, вероятно, намекнул: мир существовал и до Рослина — художники во все времена одинаковы...

А все, кто чтят прекрасное, — эти признанные и непризнанные философы, поэты и риторы, независимо от того, насколько близко им искусство варпета Рослина, — они, конечно, учтивы, держат себя с ним почтительно.

— Что скажет варпет Рослин?

— Как думает варпет Торос?..

Раннее утро, а он уже в скриптории. Но прежде, чем пойти к ученикам, нужно заглянуть к мастеровым, проверить, как приготовлены клей и краски, как нарезан пергамент. А потом ученики — робкие улыбки, нерешительные приветствия — и его кивки, чаще сдержанные, но дружелюбные.

Сейчас он обойдет столы: внимательно разглядывая листы пергамента с начатыми рисунками, он объяснит, как писать красную строку, заглавия, символы, фигуры евангелистов. Что-то подправит, иногда посоветует. И, конечно, окинет насмешливым взглядом прориси,

напомнив, что в линии, пусть неровной, но написанной от руки, куда больше естества, чем в выведенной шаблоном.

Ученики его слушают трепетно, пытаются вникнуть в каждое слово. Этим любознательных юношей с живыми, зачарованными и мечтательными глазами, разных по дарованию, манере, почерку, через семь веков объединяет понятием — «школа Рослина». Имена их, к большому сожалению, исчезнут за плотной завесой истории. Но дошедшие до нас творения, созданные этими юношами уже в более зрелом возрасте, как и творения их учителя, причислят к сокровищнице армянского искусства. Ученые выскажут мнение: достижения киликийской миниатюрной живописи на протяжении почти двух веков как бы синтезируются в творчестве художников второй половины XIII века, работавших в Ромкле (это о них), стиль, который выработался в других киликийских скрипториях — Дразарке и Скевре, — стиль киликийской живописи XII века в стенах скриптория Ромклы выкристаллизовался, обогатился, и именно там были созданы величайшие памятники армянской киликийской миниатюры, венцом которой было творчество их учителя, Тороса Рослина.

В скриптории тихо, каждый увлеченно работает. Издали слышатся торопливые шаги — в дверях появляется молодой подмастерье.

— К тебе, варпет Торос. Люди владетеля Ламоса.

Рослин откладывает кисть.

— Зови.

Трое всадников в дорожной одежде входят в мастерскую. Один из них подходит вплотную к Торосу.

— Мы из Ламоса. Я мажордом крепости.

— Рад выслушать тебя.

— Поклоны и пожелания от князя. Хочет заказать тебе рукопись.

Торос улыбается.

— Доброе слово от столь благочестивого человека и доблестного воина как князь — для меня большая честь. Но...

Люди князя недоуменно переглядываются: какие могут быть «но», если этого желает князь Ламоса.

— Я сейчас работаю над рукописью...

Мажордом перебивает его:

— Разве нельзя одновременно работать над двумя?

Торос усмехается.

— Я и одну еле успеваю делать...

Услышанное явно не по душе мажордому.

— Когда варпет намерен кончить рукопись? — спрашивает он раздраженно.

Торос пожимает плечами:

— Возможно, через полгода. Но я не скоро приступлю к новой рукописи. Нужно, чтоб созрел замысел.

— Но князь готов заплатить любую сумму.

Художник качает головой.

— Увы, дорогой мажордом, ни замыслов, ни вдохновения в искусстве деньгами не обрести. Делать как-нибудь — было бы неуважением к князю, себе, искусству. Я могу рекомендовать другого художника или вернуться к нашему разговору спустя некоторое время...

Они уходят недовольные. Торос провожает их.

— Передайте князю поклон и благие пожелания!

В ответ раздается что-то невнятное.

Он возвращается в скрипторий к ученикам. Те затаили дыхание. Они не могут понять, как можно так смело отвечать людям грозного князя Ламоса.

В скриптории царит тишина. Он проходит меж столов взад и вперед и говорит обычным, естественным тоном, словно и не отрывался от прерванного разговора:

— Так вот, наш мудрый историк Вардан — вы видели его своими глазами, когда он гостил у католикоса... Так вот Вардан побывал у великого монгольского хана Хулагу. И хан, послушав мудрые речи Вардана, сказал ему: «Я награжу тебя золотой одеждой и дам тебе много золота». На это Вардан ответил: «Для нас золото и прах одно и то же, я прошу иного, более драгоценного, что подобает твоему величию: я прошу милости стране нашей. Что деньги? Они истратятся, а платья сносятся, мы же просим у тебя даров, которые не истрачиваются и не изнашиваются». И Хулагу ответил ему: «Ты мне нравишься, мудрый муж, я исполню твою просьбу и пошлю достойных людей управлять страной армян».

Варпет больше ничего не говорит им. Пусть знают эти юнцы, что не все покупается в жизни золотом.

Он садится за свой стол, как бы невзначай, роняет:

— Принеси свой лист, Погос, что-то не нравится мне десница Христа, а ты, Тигран, перепиши маргинал.

После долгого и изнурительного труда над рукописью они писали ишатакараны к ним, в которых называли себя нелестно — «никчемный», «недостойный», «ничтожный». Конечно, это было, скорее, формой христианского самоуничижения, чем самосознанием. Вряд ли они не ощущали своей значительности, хотя были очень скромны.

Заказчики, как правило, люди могущественные, знали им цену, но сами миниатюристы работали во славу божию, и всякое вознаграждение для них было делом второстепенным. Главным же было то, что рождалось на пергаменте, если даже это стоило сомнений, бессонных ночей; главное — чувство необходимости людям.

В Киликии почитали книгу. Ее передавали из поколения в поколение, как реликвию, как талисман. Обрести хорошую рукопись было большой радостью. Сколько теплых, восторженных слов сказано в адрес евангелия 1260 года. Эта рослиновская рукопись была приобретена полтора века спустя неким епископом Константином. «Иметь евангелие, — писал Константин уже в своем ишатакаране, — мечтал я с детства. Я искал его во многих городах и селах, в монастырях, церквах и пустынях».

Да, они чувствовали свою необходимость, и это их окрыляло. Они чувствовали себя проповедниками веры, идей христианских Армянские отцы церкви противопоставляли свою веру и византийской, и римской, не говоря уже о мусульманах, а это способствовало отмежеванию киликийцев от чужеродного окружения, сохранению своего, национального. Рослин и другие, наверное, с гордостью сознавали свою сопричастность к этому. В большей или меньшей степени, но сознавали.

Киликия. 1256 год.

В стране мир. Порты полны судов. По торговым путям тянутся бесконечные вереницы караванов. В стране урожай: протяжная песня пахаря не покидает поля. Смехом и весельем полны городские и сельские таверны. Все так же богатеют ростовщики, все так же стонут бездомные бродяги и парикосы. Благочестивые отцы остерегают от всяких наваждений. Законы Киликии не прощают хулителей церкви, неверных, стяжателей, казнокрадов...

Смбат Гундстабль сообщает в своей летописи: «...В семьсот пятом году армянского летоисчисления (1256) в сентябре месяце вернулся армянский царь Гетум от Мангу-хана и по тому же пути, который он раньше прошел пешком, возвращался, подобно льву. Он благополучно прибыл в замок Бардзрберд, где находился его отец Константин, сыновья и дочери, очень обрадовавшиеся его возвращению. Затем, в том же году, в октябре месяце,

царь Гетум собрал всю свою армию, своих близких родственников и азатов, — их число, говорят, доходило до ста тысяч. С этими войсками он вторгся в область Рума, у подножья горы Тавр. Они забрали много разного скота — лошадей, мулов, — рабов, золота, с большой добычей возвратились и много дней пировали».

Известно, что в том году Гетум посвящал в рыцари своего старшего сына Левона. Для этого он пригласил в Киликию гостей из разных стран и всех своих родственников. И еще было много других событий, важных и неважных, отмеченных летописцами. Но об одном из важнейших событий никто из них не обмолвился.

Киликия. 1256 год...

Скрипит по пергаменту перо. Уверенная рука выводит: «Слава Тебе и благословение, святая Троица, давшая силы мне, немощному, достичь завершения желанного труда. Благословением Господа начал и милостью его закончил богоречивую книгу, достойную поклонения и почитания — святое евангелие — в году 705 армянского летоисчисления под покровительством богом обитаемых храмов: во имя Единородного Сына Божьего, святого Спасителя и матери Его пресвятой Богородицы и Просветителя нашего — святого Григория и святого патриарха Николаеса и богоприимного и победоносного святого Знамения Ванго и во имя многих сонмов других святых, благодаря заступничеству которых остается неприступной крепость Ромкла.

В царствование христосовенчанного и благочестивого царя Гетума, в то время, когда этот боголюбивый царь возвратился из большого путешествия к Великому хану.

Повелением и на средства богопочитающего владыки Константина, армянского католика, который чудесными деяниями своими вызывал всеобщее восхищение, а несравненной чистотой своего жития получил большое признание и у мирян. Поскольку он был источником доброты, пекся о нищих и апостольским учением просвещал учеников в церквах, наставляя их быть правоверными. И настолько был любим всеми, что даже жестокие завоеватели принимали его с почетом и одаривали, а пребывающие в лишениях просили у него воздаяния. Помимо всех добродетелей своих, он почитал учение и, будучи боголюбивым, приобретал святые книги Ветхого и Нового заветов, золотые и серебряные сосуды, дорогие одеяния и дарил святым церквам. Одаривал он и нуждающихся. Исполненный любви к Богу и к данным Им заветам, он уже не заботился о том, насколько хорош писец или художник — лишь бы иметь книгу священного писания, — почему он и повелел мне, недостойному, низкому и неумелому писцу Торосу из рода, еще в старину получившего прозвище «Рослин», написать эту книгу, которую я украсил золотом, используя благородные материалы, украсил книгу и внутри и снаружи.

Умоляю, помяните в Господе владыку нашего Константина, католика армянского, получателя святого Евангелия, и родителей его — Ваграма и Шушик, и братьев Георга и Григора, и сестер его, Шушаник и Ванени...

Пав ниц, я, многогрешный писец, прошу помянуть меня, ничтожного, и быть снисходительным ко мне за допущенные ошибки. Прошу также помянуть родителей моих и брата моего Антона, а также монашествующего священника Вардана, ключаря храма — обители Господней, переплетчика всей книги, и всех тех, кто помогал мне. И Христос, который щедр, вспомнит вас в своем царстве небесном, одарит своей благодатью, за что благословен будет на веки вечные. Аминь.»

Да, не обмолвились летописцы о важнейшем событии того, 1256 года. Ничего не сказали о рождении на земле киликийской высокоталантливого произведения искусства. О художнике, которому еще в ранней молодости доверили написать портрет наследника трона, художнике, чье могучее дарование давало все основания полагать, что родился на

земле киликийской мастер с великим будущим. Нет, не то, чтоб об этом не подумали, не то, чтоб об этом просто забыли. Увы, у времени свои представления о важности событий...

Зато как много говорят о времени сами миниатюры Рослина! И не только миниатюры. В небольших ишатакаранах, в полторы-две страницы, за традиционным славословием, самоуничижением находишь ценные крупницы. Но сколько можно по ним понять, представить, вообразить! Предстает армянское средневековье, средневековье вообще. Видишь Ромклу, патриарший городок на крутой скале, мастерские с высокими сводами, где варят клей, творят золото, сушат кожу для пергамента. Под взвивающимися густыми языками пламени плавятся амфоры, ковши, стершиеся куски ларцов — из них изготавливают оклады для книг, кто-то вытачивает деревянные обложки, поверхность которых будет покрыта бархатом или кожей, украсится жемчугом и изумрудом...

Переплеты из резной слоновой кости, из рельефного серебра, бархата, покрытого золотыми узорами. Многие из этих переплетов могут поразить самых взыскательных ценителей искусств, о возникновении их можно написать тома...

Крупницы... Порой лишь фраза, лишь предложение. Но за ними кроется целое повествование.

«Боголюбивый царь возвращается из большого путешествия к Великому хану». Известный исторический факт. Но как много проясняет эта фраза, высказанная как бы невзначай. Не к людоеду или дикарю, как назвал бы хана историк Киракос Гандзакеци, очевидец, потрясенный зверствами монголов, — а к «Великому хану». Без эмоций, сдержанно, но все-таки к «Великому хану». Не то ли свойственно и летописцам Киликии — Вардану. Смбату Гундстаблю, Магакии. Они не раз встречались с ханами, ездили к ним с дарами, бывали приняты с почестями. Быть может, встречи эти были не из радостных, вынужденные. И все-таки это были лишь встречи. Киракос же видел воочию свою пылающую и разрушенную землю и яростные лица тех, кого киликийские летописцы называют осторожно «народом стрелков».

Да, киликийцы надеялись — «боголюбивый царь»... Может и кочевники станут боголюбивыми, примут их веру. Может, поездка царя облегчит тяжелую участь его народа. В то время в Сисе побывал Виллем Рубрук. Фламандский путешественник, узнав о скором возвращении из Орды царя Гетума, «отправился к отцу царя узнать, не слышал ли он чего-нибудь о своем сыне?» Константин Пайл сказал фламандцу, что царь скоро возвратится, что «Мангу-хан значительно облегчил ему податъ».

«Боголюбивый царь возвратился из большого путешествия к Великому хану...» Много мыслей пробуждает эта короткая фраза, за которой видишь настроения, ожидания и надежды...

Строки ишатакарана рассказывают о добродетелях католикоса, который, «исполненный любовью к богу и ставя целью лишь бы иметь книгу», повелел написать ее «недостойному и неумелому писцу Торосу из рода, еще в старину получившего прозвище Рослин».

«Писцу Торосу»... Не случайно подчеркивает Торос именно эту свою профессию. Как бы ни был признан талант художника, как бы ни был он почитаем, как бы ни восторгались его красками и глубиной мысли, — профессия писца в Киликии была окружена особым уважением — писец олицетворял букву, слово, мысль, то есть считался не только искусником, но и человеком ученым...

Из ишатакарана же узнаешь, что рукопись украсили чистым золотом и дорогими красками, а пошел на нее отменный пергамент, стоивший очень дорого. Можно представить себе ответственность художника!

Он просит помянуть духовных и родных братьев, сестер, отца. «Духовных...» Имей возможность Торос, он, наверное, перечислил бы многих, — такие, как он, умеют, ступевываясь, показать других. И вспоминает он монашествующего священника, ключаря Вардана,

оформившего рукопись, и всех работников, помогавших ему...

Нарезанные листы пергамента лежат кипами на столе в ожидании переплета. Это страницы будущего евангелия, заполненные письменами и разукрашенные миниатюрами. Их сотворил один и тот же человек. И пока он, после завершения долгой работы, вздремнул или просто, прикрыв глаза, отвлекся, попытаемся вникнуть в созданное им.

Несколько сот листов повествуют о священных деяниях. Отберем наиболее интересные из них. Это, несомненно, листы с миниатюрами. Они удивительно разнообразны, яркие, мгновенно приковывают внимание.

В рукописи эти изображения пойдут в такой последовательности: сначала послание Евсевия Карпиану — заставки с изображениями портретов обоих отцов церкви, сплошь орнаментированные, они поражают причудливыми узорами и благородным сочетанием цветов. Затем — десять хоранов; портреты каждого евангелиста в отдельности; а после каждого из них заглавный лист евангелиста — та же цветисто-сказочная заставка с удивительными сплетениями, фантастическими существами, с чудесными украшениями на полях и с заглавными буквами. С такими же роскошными, цветистыми буквами-символами: у Матфея — человек, у Марка — лев, у Луки — телец, у Иоанна — орел.

Хораны...

Колонны — массивные, продолговатые и спаренные, отливающие цветом вечернего зарева, прибрежного луга или утреннего озера — в них есть нечто от ярко-розового туфа, а в иных — от искрящегося изумруда, голубого мрамора, охристо-коричневатого кремния. Представляешь их сплетенными из лиан, кипарисовых ветвей, из перемежающихся разноцветных лепестков и листьев.

На капителях колонн — самые необычные архитравы. Иногда они кажутся массивными, каменными, иногда напоминают расцвеченные ажурные решетки, помеченные крестами, растительностью, цветами, зверями, причудливыми узорами. Иногда же они похожи на ковры, но светятся чистыми, звенящими красками, словно превращены какой-то неведомой силой в витражи. Часто на капители ложатся арки — подковообразные, одиночные, двойные...

Эти своеобразные сооружения были обрамлениями, сенью канонов Евсевия или, как называют их, канонов Согласия. Они занимали немалую часть средневековой армянской книги. «Хоран» в древнеармянском языке означал: «палата», «ниша», «ризница», часть храма или просто храм. И распределяя каноны Согласия меж колоннами хорана, миниатюрист словно чувствовал себя в храме, но в храме необычном, своем.

«Хоран, — писала Лидия Александровна Дурново, — издавна служил местом, где художник «отводил душу», помещая в разных частях его символические образы, связанные с предшествующими культурами и христианством, эпизоды, часть которых не имела отношения к религии». У Рослина, по ее словам, некоторые хораны напоминают не введение в текст евангелия или вход в церковь, а скорее вход в цирк или зверинец. То же можно сказать и о многих других армянских миниатюристах.

И хоран для них — не только место, где они отводили душу. Расписывая хоран, они уходили в самые разнообразные миры — от самого обычного, знакомого, до сказочного, фантастического. Они могли показать на пергаменте то, о чем мечтали, могли странствовать по сказочным местам, показать существа, которые жили лишь в их воображении.

На пергаменте появлялись символы оплодотворения и урожая, сине-красные капители, колонны и архитравы, хачкары со словно выросшими на них неожиданно стеклянными гроздьями и бирюзовыми лозами. Все отсвечивает, обретает неожиданные цвета — все подвластно несокрушимой силе кисти и красок. Они представляли себя среди оливковых деревьев, пальм, мирт и платанов, в прохладе душистых садов, под знойным солнцем

пустынь. В глазах змеились лианы, глянцеви́то, подобно кораллам, отсвечивали гранатовые плоды, клокотали холодные родники.

Они вспоминали запахи лесов, лугов и аромат весеннего утра, рев тигров, львов, крики птиц, хохлатых и пестрых, важно восседающих в зелени деревьев или прыгающих с ветки на ветку...

Они напрягали взор, чтобы увидеть то, что никогда не видели или то, что смутно, почти неясно, проплывало перед взором. Им казались живыми все символы в виде чудовищ с раскрытой пастью, сморщенными лицами и горящими глазами.

Быть может, в этот миг они считали себя волшебниками, магами, способными преобразить мир, сделать его таким, каким им хотелось его видеть — не только красивым и добрым, но и таинственным. Не все из увиденного и представленного запечатлелось на пергаменте, но что-то, несомненно, оставляло свой глубокий след, отражалось в красках, которые начинали звучать на пергаменте необычно, таинственно, но жизненно.

Трудно не восторгаться этим миром необычных одеяний, огненно-рыжих и темно-оранжевых львов, букв, чем-то похожих на распускающиеся в воздухе бутоны, — все это прозрачно, все это радужно, сверкающе тонируется от темного к светлому, от светлого к яркому, горящему.

Колонны, капители и архитравы хоралов пестрят узорами, полукруги люнетов напоминают радуги, мозаики, сотворенные из многоцветных перламутровых ромбиков. Деревья по бокам хоранов гнутся под тяжестью плодов. Свисают виноградные гроздья, рдеют гранаты. Все шевелится, расцветает в разлившемся багрянце. Поблескивают, переплетаются причудливые орнаменты хоранов, готовятся к драке петухи.

Заглавный лист Евангелия от Матфея — заставка с трехлопасным вырезом, нечто вроде хорана, но без колонн. Синие, красные, золотистые тона — вся гамма цветов будто светится.

На самом верху заставки два роскошных павлина. Они стоят, застыв в свойственной им спокойно-величавой позе, высокомерно поглядывая друг на друга. Заглавная буква изображена в виде ангела в синем хитоне и розовом гиматии. Справа от заставки на полях большой маргинал, от которого тянутся растительные побеги, плавно сплетающиеся в золотой крест...

Впечатляют заглавные листы Луки и Иоанна, но особенно запоминается заглавный лист Марка — изящно выписанный символ в образе крылатого льва — и опять рядом маргинал, и опять он заканчивается крестом, изображенным под заставкой между борющимися животными. Слева — темно-оранжевый лев терзает синюю лань, а справа горная пантера набросилась на ягненка...

Но особенно волнуют портреты евангелистов. В них видишь живых людей — современников Рослина. Все они сидят перед столиками в креслах. Позади них, в соответствии с каноном, изображены палаты. На столах аналоги с рукописями, со свитками пергамента...

Лука уперся головой в кулак и о чем-то думает. Взгляд у него скептический, пронизывающий. Его характерное лицо с чуть сплюснутым носом наводит на мысль: портрет Луки словно написан с натуры. Марк, как обычно, молод. Он сосредоточен и, быть может, обдумывает текст будущего письма.

Иоанн — старец со сдержанным, умным выражением лица. Он сидит, опершись на левую руку, несколько наклонив голову. Кусочек неба над ним усеян звездами. Рама, окаймляющая лист с портретом старика, напоминает хоран. Портрет этот, несмотря на небольшие размеры, производит сильное впечатление. Удивляет незаурядное чувство композиции, тончайший вкус автора. Миниатюра выполнена с большим изяществом — тем изяществом, которого так часто недоставало предшественникам Рослина. Поразителен психологизм, экспрессия — чувствуешь форму. Лицо Иоанна — с удлинённым профилем, с несколько

тяжелыми щеками, глубоко посаженными глазами. Взгляд типично армянский — извечная озабоченность, извечная печаль. И мы невольно переносимся в армянское средневековье, к его суровым дворцам; мы видим струящийся из окон тусклый свет лампад и этих сгорбленных годами старцев, что встречались с художником чуть ли не каждый день. И все просто и ясно — никакой напыщенности, пафоса, свойственного искусству средневековья...

И завершает миниатюрный ряд рукописи Христос, идущий на Голгофу с крестом в руке — обыкновенный, живой человек, спокойно идущий навстречу страданиям...

...Он очнулся, собрал пергаментные листы в кипу. Священник Вардан обещал скрепить их и взять в переплет. Вардан сделает, он знает толк в этом деле...

Он вышел из скриптория и направился в сторону Евфрата. В лицо дул мягкий ветерок, и запах утра был прян и свеж.

Светло-оранжевая дорожка проходит меж зеленых зарослей олив, дальше выростали останки античного храма, а там начинался берег.

Издали казалось, скрипторий переливается перламутром. Вот где таилось его счастье!..

Мысли ни на минуту не покидали его, бесконечными вереницами осаждая мозг. Чувства, которые испытывал он в эти минуты, были противоречивыми и сложными. Конечно, он радовался — завершенная им рукопись получила большое признание. Ее хвалили люди, понимающие искусство, и все же была в нем какая-то неудовлетворенность...

Он, славящийся фантазией, не признающий повторений, что доказывает все его творчество, — в этом Евангелии в общем-то традиционен. Портреты евангелистов, пышные оформления хоранов, заглавных листов — все это сделано высокоталантливо, но в рамках старых византийских традиций, в пределах иконографических канонов.

И это объяснимо. Дарование обретается с молоком матери, но выразить полет воображения, облечь свою фантазию в образ не всегда удается сразу.

Оригинальность — характерная черта таланта Рослина. Уже потом, в других рукописях, мы видим, что он отошел от проторенных путей канона. «Поклонение волхвов» — сложнейшая композиция рукописи 1260 года. И такие произведения возникают не сразу. Они требуют от художника определенных навыков и подготовки, а те в свою очередь — времени, причем немалого. Вспомним, что в Киликии многофигурные композиции вообще не писали. Исключение — две миниатюры, написанные мастером Константином, но он жил почти на целый век раньше Рослина.

И все. Значит, в своих начинаниях Торос был одинок. Значит, замысел создания этого произведения у него возник намного раньше его написания. Не тогда ли еще, когда он работал над рукописью 1256 года? Не тогда ли еще поставил Торос под сомнение схемы и догмы, господствующие в искусстве его времени? И не тогда ли он уже задумывался над необходимостью композиционных или сюжетных новшеств? Но замысел мог не осуществиться по разным причинам.

Вкусы заказчика... Художнику приходилось считаться с ними. Решительность приходит с признанием. И придет час, когда ученик знаменитых миниатюристов Киликии Ованеса и Киракоса внезапно опередит своих учителей, их заповеди.

Все здесь — Евфрат, его изумрудные воды, берега, обрамленные густыми зарослями; небо, золотистое, ясное днем, и синее, усеянное звездами ночью, утренняя дымка далеких гор, откуда ветры приносят терпкие и ароматные запахи — все ему было хорошо знакомо и близко. Тысячи раз он обходил все места, прилегавшие к крепости. Порою он оставался там до рассвета, слушая крики ночных птиц или дремотные шумы ночи.

Он любил Ромклу, ее неприступные, как скалы, крепостные стены, бойницы и зубцы этих стен, островерхие храмы с могучими колоколами, звуки и шумы ее мастерских и кузниц.

Нередко, осаждаемый мыслями, он уходил из скриптория и долго бродил по крепости и ее окрестностям. Он искал образ. В такие минуты ему казалось, что люди, идущие навстречу, будто сошли с пергаментных страниц.

На улицах крепости встречался самый разнообразный люд: поэт, мечтательно слагающий строки, художник, размышляющий о цвете, философ, задумавшийся над загадками мироздания. Были воины с суровыми лицами, мастеровые, кузнецы, конюхи, выделялись люди в черных сутанах, с крестами на груди, ученые мужи.

А вечером колокола звали в храм, и Ромкла оживлялась. Звонили колокола церквей: Богородицы, Ованеса, Спасителя, Григория Просветителя. Шаги на улицах убыстрялись. Мелькали силуэты людей, мерцали лампы и свечи, доносился запах ладана. Торос шел к церкви Григория Просветителя. Его пронизательные глаза опять искали в этом сонме людском жесты, лица, движения.

— Мы из бедных, Варпет, но не гнушайся, благослови сына...

Он подошел к крохотному ребенку и перекрестил его.

— Счастья тебе, малыш! Люби родителей, люби ближнего и всех людей добрых. И боготвори землю родную.

На улице светило солнце, а в келье горела свеча. Пламя ее бросало отсвет на небольшое изображение Христа, выхватывая из мрака его страдальческое лицо.

Он стоял с ребенком на руках и смотрел в чистое небо. На миг он забыл о присутствующих.

— И свет этого солнца, малыш, и все радости приходят к нам через муки, страх и страдания. Умей ценить каждый день. Стаи неверных окружают нас. Да и друзья-то наши кто? Татары, что зовутся монголами.

МОНГОЛЫ

Одни строили дворцы, книгохранилища и скриптории, монастыри и храмы, читали письма и искусства, другие — разрушали храмы, сжигали на кострах книги, равно как и живых людей, глумились над всяким просвещением.

Одни украшали дворцы чудесной резьбой и чеканками, коврами неповторимой красоты, другие — неслись в кибитках по миру с награбленными ценностями, и украшениями им служили войлочные идолы, шкура зайца или барана.

Одни молили бога сохранить их небольшую страну, другие — завоевали полмира, но им и этого было мало.

И вот они действуют сообща, их даже называют друзьями. Но чтобы союз этот сохранился, одни постоянно должны выплачивать другим дань, приносить дорогие дары, ехать на поклон, быть готовыми выставить войско по первому же кличу.

Обычная участь слабого, если могущественному и ненасытному захотелось «дружить» с ним.



ак-то спросили у Джемухи, вождя одного из монгольских племен, главного противника Чингис-хана:

— Кто эти страшные люди, преследующие наших, как волки?

Джемуха не без иронии ответил:

— Это четыре пса Темучина, вскормленные человеческим мясом, — он привязал их к железной цепи: у этих псов медные лбы, шилообразные языки, железные сердца. Они скачут по ветру, пьют росу, пожирают людей. Теперь они спущены с цепи, чуют добычу, радуются, у них текут слюни. Четыре пса эти: Джебе, Хубилай, Чжелме и Субеэтай.

Кто эти люди, которые сумели поразить жестокостью даже Джемуху? Двое из них — Джебе и Субеэтай — стояли во главе монгольских отрядов, когда последние, преследуя хорезмского шаха Джалал-эд-дина, в 1220 году вторглись в Иран и Закавказье. Армяно-грузинские войска оказали упорное сопротивление завоевателям, но были разбиты. Монголы повернули к Дербентскому проходу, а оттуда вторглись в половецкие степи. Затем они возвратились обратно в Закавказье, но посягнуть на Грузию и Армению не решились. Сделали они это спустя 15 лет.

О том, что произошло тогда, ярко рассказано у Киракоса Гандзакети, выдающегося армянского историка XII века. Он бывал в Ромкле и, вероятно, не раз рассказывал Рослину о том, что видел: «И разбрелись монголы по полям, горам и лощинам, подобно тучам саранчи. И отныне можно было видеть несчастье горькое и страну, достойную плача, ибо ни земля не скрывала хоронившихся в ней, ни скалы, ни леса не прятали ищущих там прибежища, ни твердые крепостные строения, ни лона ущелий — все гнало прочь прятавшихся. Бодрость покидала людей мужественных, опускались руки у искусных стрелков, люди прятали мечи, дабы неприятель, увидев их вооруженными, не погубил бы без пощады. Голоса врагов снедали их, стук их колчанов нагонял ужас на всех. Каждый видел приближение своего последнего часа, и сердца их останавливались. Дети в ужасе перед мечом бросались к

родителям, а родители вместе с ними падали ниц от страха еще до того, как враг приблизился к ним.

И можно было видеть, как меч беспощадно рубит мужчин и женщин, юношей и детей, стариков и старух, епископов и иереев, дьяконов и причетников. Грудных младенцев, разбитых о камни, и прекрасных девушек, оскверненных и плененных...

Ни слезы матерей, ни седины старцев нисколько не трогали сердца завоевателей — они с ликованием шли на убийство, как на свадьбу или пиршество.

Страна вся была полна трупами, и не было людей, чтобы похоронить их. Исыякли слезы на глазах любящих, в страхе перед нечестивцами никто не осмеливался оплакивать павших. Церковь облачилась в траур, исчезло сияние красоты ее, прекратилась в ней служба, алтари лишились литургии. Замолкло богослужение, и не слышно больше звуков песнопений. Как будто мраком был объят весь свет, и полюбили люди ночь пуще дня».

С боем и без боя сдавались монголам города, княжества и страны. Армия их была велика, и сопротивляться им было невозможно. С нечеловеческими криками они кидались на противника, и худо было тем, кто сопротивлялся. Впрочем, убивали они без разбору — и покорных, и непокорных.

При своем невежестве они хорошо знали военное дело, при своей отсталости умели оснастить войско лучшим оружием времени. Их мощные машины разрушали стены крепостей. Их катапульты обстреливали укрепления огромными камнями и бочками с зажигательной смесью. Их лучники стреляли метко, а кони неслись без усталости. Казалось, ничто не способно остановить нашествие.

Затопив Великую Армению, монголы во главе с Бачу-нуином приблизились к Иконийскому султанату. Правитель страны Кей-Хосроф II решил дать монголам бой, но враг был страшен, султану пришлось обратиться за помощью к своему давнишнему недругу Гетуму. Однако тот не спешил...

Весть о приближении монголов облетела всю Киликию. Толпами высыпал люд на улицы сел, городов, крепостей — все обсуждали одно: что станется, если монголы захватят страну, и есть ли выход?

Царь Гетум приказал привести в готовность войско. Скакали к столице отряды вооруженных всадников. Это были отряды владельцев замков, крепостей, селений и городов. Воины устраивали привалы у городской стены, а предводители спешили к Дарбасу.

Царь призвал к оружию всех — и молодых, и старых, поставил огнеметные орудия на всех башнях. В кузницах работали, не покладая рук, — плуги, серпы и косы перековывались на щиты, нагрудники и забрала. В мастерских оттачивали копья, секиры и мечи.

Со всех концов страны стекались в Сис крестьяне. Они везли для войска мясо, кур, яйца, сыр, вино. Привезенное тщательно пересчитывали царские писари, цифры заносились в книгу.

— Отечество не забудет вас, — говорили они крестьянам. — Будет удача — вернем все с лихвой!

Те махали рукой: была бы удача!

Некоторые оставляли войску даже своих лошадей и мулов и ковыляли обратно пешком.

Днем и ночью в городе появлялись обезумевшие от страха люди. Одни спешили передать то, что слышали от беженцев из Иконии, другие сами спешили в город, чтобы узнать новости. Под портиками церквей и вековыми дубами, на перекрестках улиц, площадях, и гуще парков — везде обсуждались события. Отыскивали купцов, которые ездили в страну монголов, побывали у тамошних вельмож. Их окружали плотным кольцом, расспрашивали.

— Чего только не пришлось там насмотреться! — рассказывал один. — Приняли от нас дары, повели к шатру, строго-настрога наказали: перед входом трижды преклоните левое колено, да смотрите, не ступите на порог. Кто случайно ступал, тому отрубали голову.

Раздались возгласы негодования:

— Вот так гостеприимство!

— Совести нет у них — вот что!

Рассказчик усмехнулся:

— Какая там совесть у дикарей! Гостя хан усаживает на самом низком месте, а сам восседает высоко. Приближенные хана тоже сидят выше гостей, да еще требуют, чтобы те становились на колени!

— Дикари надменные.

Рассказы купцов иных горожан повергали в ужас. Иным казалось, что рассказчики преувеличивают. Тогда те прикасались к кресту, произносили страшные клятвы, и им верили.

О, бесы, дьяволы! Оказывается, они с удовольствием едят падаль. Все лето они не колют скотину, чтобы к осени иметь побольше жирного мяса, а потом запасы портятся, тухнут, особенно, когда наступают оттепели. В мясе заводятся черви. А еще они пожирают собак, волков, лисиц. Огонь они разводят на коровьем помете — что для простых кочевников, что для великого хана! Они верят, что пометный дым спасает от болезней. У них везде зловонье, даже рядом с шатрами вельмож. Огонь они почитают, молятся ему, верят, что он очищает от грехов. А грехом у них считается вынуть из огня ножом мясо или коснуться плетью колчана со стрелами, бить лошадь уздой, рубить дрова вблизи огня, вылить на землю молоко. Грешно для них положить в рот кусок и не проглотить его. Кто преступает эти запреты, тех умерщвляют в ямах. Если женщина или собака перешагнула через шапку или кушак, то эти вещи три раза проносят над огнем. О, дикари ничтожные! Они даже хуже зверей. Некоторые из них стараются умертвить своих родителей. Видят, что родители дряхлеют от старости, и нарочно кормят их бараньим курдюком, надеясь, что те разжиреют и быстрее умрут.

— Старик не должен увидеть своего правнука, — принято говорить у этих кочевников. Ему не дают дожить до этого, живым зарывают в землю. Да, это самые настоящие звери. Они не знают пощады — разрубив врага на части, с жадностью сосут его кровь...

Слушали купцов горожане и хватались за головы, хлопали себя по бокам, потрясали кулаками в сторону Иконии, откуда угрожало монгольское полчище. Но порыв проходил, и опускались руки. В глубине души все сознавали страшную истину — свое бессилие.

С горных высот, из расщелин скал и густых зарослей киликийцы внимательно следили: не движется ли монгольское войско. Все новости сообщались в Сис — условные знаки с высот, горящие факелы, крики, подражание голосу ворона, вою шакала, — все эти сигналы передавались от поста к посту. А ближе к столице вести подхватывались всадниками.

Они скакали, не щадя лошадей, рискуя свалиться с крутого склона, утонуть в реке. Горожане узнавали их по пыльной одежде, изнуренным и разгоряченным лицам. Их кони были загнаны, изранены, жалобно ржали. Толпа встречала гонцов у городских ворот и, окружив плотным кольцом, провожала до самого Дарбаса. На вопросы сограждан гонцы старались отвечать шутками, но их выдавали бледные лица и страх, затаившийся в глазах.

Царь Гетум явно медлил, хотя иконийский султан уговаривал его через своих гонцов выступить вместе. Но Гетум ждал, когда хоть что-то прояснится. Рисковать из-за султана, который еще вчера был его заклятым врагом и, конечно, не от хорошей жизни предлагал дружбу, Гетум не хотел. Он все яснее понимал невозможность долгого сопротивления монголам, хорошо представлял, какая участь ожидает его страну, если они вторгнутся в ее пределы.

Не раз, наверное, говорил Гетум посланцам султана о гибельности войны с монголами, но правитель Иконии не прислушивался к его мнению. Султан даже угрожал хану, на что тот отвечал с усмешкой: «Все решит бог».

Монголы хоть и не спешили, но готовились. И когда почувствовали, что настало время, двинулись на страну султана. Близ местечка Кеса-Даг произошло сражение.

Еще до сражения султан вел себя победителем. Он выехал навстречу врагу вместе с женами и наложницами, разряженными, поблескивающими бриллиантами и жемчугами. Он вез в поход и своих прирученных для охоты тигров, львов и леопардов. Они дремали в телегах, а проснувшись от толчков, то грозно рычали, то издавали протяжный рев. Иконийцы от их рева вздрагивали, поглядывая в сторону горизонта, откуда ожидался враг.

Султан ехал на коне с гордо поднятой головой. На правом плече его сидела крохотная рыженькая обезьянка, на левом — красно-зеленый попугай. Глаза, лицо, движения, настроение султана — все как будто говорило о беспечности правителя Иконии. Но выдавала правая щека, которая время от времени подергивалась.

Между тем, в отдалении послышался топот коней. Из-за горизонта медленно вышло нечто огромное, напоминающее черную тучу. И увидели иконийцы отряды всадников, вооруженных стрелами, за ними двигались отряды копьеносцев, а дальше — огромные кибитки. Их тащили буйволы под хлесткими ударами погонщиков.

Вскоре монголы заполнили всю равнину. Они, не спеша, присматриваясь, приближались к иконийцам, которые выстроились перед ними, подобно крепостной стене.

Деланная беспечность исчезла с лица султана. Двумя резкими движениями сбросил он с плеч походных спутников.

— О, аллах! — он не верил своим глазам: войско врага на равнине все росло, и конца его не было видно.

А потом что-то загрохотало, затрещало — и понеслось монгольское войско, в иконийцев полетели стрелы, камни из пращей, горящие факелы из огнеметов. Иконийцы даже не шелохнулись, словно прикованные к земле, при виде несчетных вражеских полчищ. Но вскоре оцепенение прошло.

И они пошли на врага. Навстречу копьям выросли щиты, скрещивались сабли, падали воины, мелькали разноцветные знамена, белые кони, черные буйволы, там и здесь появлялись лужи крови; конники врезались в голубые шатры, разрубая их саблями в клочья, — равнина напоминала многоцветный ковер, колышущийся, подобно морским волнам.

Превосходство монголов становилось все очевиднее. Ряды иконийцев редели.

В стане монголов раздались гиканье и хохот, победно затрубили роги. Глашатаи выкрикивали что-то, показывая на дорогу, по которой несся отряд всадников. Они мчались в противоположную от поля брани сторону. Многие иконийцы узнали своего султана. Он покинул их, оставив один на один с разъяренным зверем. Покинул! Некоторые из султанских воинов опустили мечи и, встав на колени, просили у аллаха спасения. Другие, воздев кверху руки, кидались в ноги врагу. Монголы сносили головы и тем и другим.

Армия иконийцев дрогнула и побежала. Люди натыкались друг на друга, падали. Зрелище бегущих, страшный шум пробудили в зверях их кровожадные инстинкты. Они кидались на солдат, вгрызались в их лица, распарывали клыками животы. И вместе с тем звери и сами были напуганы и стремились вырваться из этого людского ада. Некоторые животные побежали к дороге. Несколько монгольских всадников помчались за ними, но не смогли догнать и сразили их стрелами. Звери корчились в предсмертных судорогах, а монголы с радостным азартом разрубали их на части. Кровь убитых зверей они весело размазывали по лицу, полагая, что это принесет им счастье.

Они праздновали победу, пустившись в пляс, вздымая руки и обезумев от радости. К месту веселья подъезжали кибитки, груженные вином и кумысом. Их быстро разгружали.

Солдаты опускали головы в бочки с вином и пили до тех пор, пока их не отпихивали в сторону. Опьянев, они каркали воронами, кричали совами и филинами. Кто-то уже пригнал из соседней деревни стадо баранов. Их закалывали на пир победителей...

Потом хан объявил своим воинам, что он, их повелитель, приносит в жертву богу кумыс. Огромную бочку выкатили к реке. И пока лилась белая струя, монголы просили у бога долгой жизни великому хану, чтобы расправиться с остальным, еще не завоеванным миром.

Разожгли костры, и зашипело в огне баранье мясо. Его быстро поедали, а кости опускали в огонь, стараясь отгадать по трещинам, как по линиям человеческой руки, свою судьбу.

Шаманы предсказывали воинам ясное небо в походе, а врагам посылали проклятья. Кончилась оргия приношением в жертву людей. Пригнали пленных — крестьян, пытавшихся спрятать скот.

Хмель с разгулявшейся толпы словно рукой сняло. Она тут же затихла в ожидании таинственного зрелища. Толкнули в огонь двух неверных, и все вокруг разразилось радостными возгласами. Монголы не щадили ни стариков, ни молодых, ни калек. Они цокали от восторга языками, вдыхая с наслаждением запах паленого человеческого мяса. Но этого им показалось мало. Надев на стрелы факелы, они разметали их в разные стороны. И вот горело уже все — деревья, травы, хлеба, дома, люди. А сами они забрались на возвышенность и наслаждались все разгорающимся заревом огня.

Слушал царь Гетум лазутчиков, хмуро молчал, опустив веки. В тронной зале его ожидала знать.

Он молча стал у трона — царь не имел права садиться при патриархе — и оглядел тех, кто явился сюда по его зову.

Уставшие глаза царя смотрели пылливо и недоверчиво на людей, не раз предававших его из корысти и злобы. Да, не со всеми из них он мог быть откровенным. Они, очевидно, поймут его, но говорить с ними начистоту он не станет.

— Пароны! — Голос паря звучал четко и увереннее обычного. — Веками воздвигали мы царство наше киликийское. Кровью отстояли свой крест, и господь был милостив к нам.

Он умолк, но было видно, что намерен продолжать, и все с нетерпением ждали его слова.

— Пароны, войска иконийского султана, старого и заклятого врага нашего, разбиты наголову доблестными татарами. Они уже вплотную приблизились к нашей стране, но должны знать, что мы их давнишние доброжелатели и друзья. Мы пошлем им дары и постараемся убедить их в этом. Кое-кто и хотел нас поссорить, но не вышло.

Он умолк. Опустились в молчании головы. И даже те, кто обычно был с царем не согласен, уставились в мраморный пол зала. Никто не помянул о недавних военных приготовлениях, никто не попытался выяснить, кто именно хотел их рассорить и почему татары их давнишние друзья. Горе было общее. Все молчали. Но один из князей попросил слова.

— Государь! — Князь волновался. — Твой вещий ум не раз выручал страну нашу. Но разве может быть другом нам тот, кто осквернил землю наших предков — Великую Армению? Кто разрушил наши храмы, сжег рукописи, глумился над сестрами нашими?

Сверкнули огнем глаза Гетума.

— Я уже высказался, — ответил он глухим, но твердым голосом. — Монголы — наши друзья. Это должны понять все. И кто попытается перечить, того я сумею заставить молчать. Никогда не видели царя таким разгневанным.

— Но тогда, государь, — не унимался дерзкий князь, — разреши узнать, что думает по этому поводу патриарх наш, католикос Константин.

Все посмотрели в сторону католикоса. Тот заговорил не сразу.

— Пастух всегда думает, как спасти свое стадо от волков, — сказал он, медленно выговаривая каждое слово. — А волков вокруг много. Очень много, князь.

Гул одобрения пронесся по зале.

А вечером уединился царь со своим братом Смба́том Гундста́блем. И два серебряных кубка и одиноко горящая свеча стали свидетелями горьких речей братьев. И не звучала уже твердость в словах царя, и не было теперь той суровой решимости в лице Гундста́бля, как час назад в тронной зале, когда один говорил, а другой слушал, не проронив ни слова.

Они сидели, усталые и растерянные, совсем не похожие на тех двух братьев, сыновей Константина Пайла, которые не знали страха на поле брани, чей гнев приводил в смятение самых непокорных князей, которые умели так скрывать свои чувства, что вводили в недоумение самых проницательных посланников-иноземцев.

— Франк, — говорил царь, — заносчив, в чем-то дик, но молод и стремителен. Он построил великие города, преклоняется перед ученостью, кичится своим, но знает цену и чужому, заимствует хорошее у других. Сам знаешь, как подражает он нам в строительстве замков, крепостей и укреплений. Византиец коварен, хитер, но побудешь на земле его, увидишь его города, послушаешь там философа или оратора, забудешь о всех грехах его. А что у этих кочевников, людоедов, дикарей? И все же они — сила. Поэтому нужно приладиться к ним. Теперь их принесло сюда надолго. На нашу с тобой жизнь, боюсь, что и на жизнь наших детей и правнуков, их хватит. Станешь другом монголов — наживешь немало врагов. Войдешь в союз с их врагами, а те и сами при случае готовы разорвать тебя в клочья. А еще представь: проиграем войну кочевникам, заслужим их гнев — камня на камне не оставят. Нет, только осторожность, Смба́т...

— Ты прав, — отвечал другой брат. — Один неосторожный шаг может погубить нас навсегда, тем более, что нам не на кого уповать. Да и среди князей наших согласия нет, готовы перегрызть друг другу горло. Придется нам одной рукой строить свой храм, другой же — гладить по жесткой, колючей шерсти. Придется напрячься, выжать из себя последнее — иначе ненасытным не угодишь. И все же, находясь в таком положении, мы будем неустанно искать какой-нибудь выход. И может, со временем и обратим язычников в праведную нашу веру? Сейчас важно это. Зашевелились неверные, папа римский...

Они осушали кубок за кубком, но хмель не брал их.

И царь Гетум послал своих людей с богатыми дарами и приношениями к монгольскому полководцу Бачу-Нуину. Царские послы были приняты великим двором.

— Выслушал нас хан, — рассказывал один из послов, — принял дары, оценил их по достоинству. «Мудр ваш царь, — говорит, — понимает, как поступать, знает толк в подарках. Отныне друг он мне. И кто обидит его, станет моим врагом». И дал нам пайзу, чтобы передать тебе в знак признания власти твоей над Киликией.

Посланник вынул из шелкового платка золотую дощечку и поднес ее царю. На ней были выдавлены львиная голова и текст на монгольском языке.

— Что здесь написано? — спросил царь, показывая глазами на пайзу.

Посланник замялся, но взгляд царя требовал ответа.

— О, государь, — воскликнул он. — Если бы я был вправе не отвечать! Сказано здесь, что на долю твою, армянского царя, выпала великая честь быть подвластным монгольскому хану. И что ты по первому же его зову обязан выступить с армией, считать своими врагами всех врагов хана, платить ему дань. Вот в каком случае только он признает твою власть над твоей же страной!

Он вполголоса стал перечислять все, что должен платить монголам Гетум. Когда были перечислены все требования хана, царь спросил:

— Что еще?

— Невероятное, государь, — посланник вновь замялся. — Я сказал им, что требование это ставит царя в неловкое положение... Что царь тем самым нарушит обычай гостеприимства...

Гетум перебил:

— Говори яснее.

Посланник растерянно отвесил несколько быстрых поклонов и тихо проговорил:

— Он потребовал выдачи матери, жены и дочери иконийского султана, нашедших у тебя приют.

— Боже, — вырвалось у царя. Он схватился руками за голову. — Лучше бы они потребовали у меня моего сына Левона...

Никогда еще Гетум не чувствовал себя таким униженным.

— И это только начало, — думал он, — что же будет дальше?

А дальше прибыли гонцы Бачу-Нуина и сообщили царю, что хан в ближайшее время намерен выступить против врага и желает видеть в походе вместе со своими воинами и доблестных киликийцев. А потом гонцы хана стали приезжать к царю все чаще, и Гетум каждый раз посылал на помощь хану свои отряды. А часто участвовал в боях и сам, и монголы восторгались храбростью киликийцев и их царя.

Потом его захотел видеть великий хан Гуюк, но царь предпочел послать вместо себя брата — Смбата Гундстабля. Быть может, эта замена и не понравилась хану, но сам Гундстабль понравился ему своим умом, мудрыми рассуждениями, полным достоинства поведением.

«Смбат, — как писал Киракос Гандзакеци, — был очень милостиво принят ханом и отпущен обратно на родину с большими почестями. При этом ему были даны грамоты на многие области и крепости, принадлежавшие некогда Левону, царю армянскому, но отнятые впоследствии у армян султаном румским Ала-эд-дином».

Однако великий хан требовал, чтобы Гетум сам приехал к нему на поклон. Но царь киликийский всячески медлил, ссылаясь на недомогание, смерть жены Изабеллы. Потом уже умер сам великий хан, и Гетум облегченно вздохнул. Теперь-то он мог отложить поездку до избрания великого хана.

Он боялся мятежа внутри страны, внезапного нападения соседей, к тому же путь в Орду пролегал через страну сельджуков, а у них с Гетумом были старые счеты.

И он медлил. Но когда пришел к власти хан Мангу и также в свою очередь потребовал явки царя, то Гетум заспешил, понимая, чем его отказ может грозить.

Четыре месяца ехал царь в Каракорум к Мангу. По дороге посетил Батыя и его сына Сартаха, и был принят ими с почестями. С почестями принял его и Мангу, который выдал ему пайзу о неприкосновенности его царства. Пребывание Гетума в стране монголов продолжалось пятьдесят дней. Но каково было там царю, несмотря на все оказанные ему почести, узнаем от того же Киракоса Гандзакеци: «Много других вещей рассказывал мудрый царь Гетум о варварах, но мы это опускаем, чтобы они кому-нибудь не показались измышлениями»...

В таверне пахло вином, приправами, жареным мясом. Говорили почти шепотом. Если кто-то повышал голос, его тут же обрывали.

— Надоело! — вырвалось у одного из посетителей — Надоело бояться у себя же дома!

Это был невысокий, крепко сложенный человек в сером кафтане. Все посмотрели на него осуждающе.

— Тебе оторвут язык, дружище, — презрительно усмехнулся сидящий напротив него пожилой мужчина. — Видали таких храбрецов!

Но тот не успокаивался.

— Интересно, с каких это пор кочевников стали считать чуть не святыми?

— Не смотри на меня такими глазами, — перебил негодующего собеседник. — Не тебе одному тошно! Но что разговоры — пустое...

Тут вмешался хозяин таверны.

— Прошу вас, люди добрые, не говорите о недозволенном. Вы же знаете приказ царя.

— А мне наплевать, — выкрикнул человек в сером кафтане, — на все приказы!

Все словно остолбенели. Понизив голос, он продолжал:

— Пусть оторвут язык, я не могу больше молчать! Да и как с этим смириться: католикос праведного народа, пастырь наш, боголюбивый муж сам едет в Эдессу благословить Хулагу-хана в честь его победы. Католикос, наш благочестивый муж...

— Хулагу—это несметная сила, сила, понимаешь ты?..

Все умолкли. Но человек в сером кафтане не унимался:

— Все чаще встречаются странные, непонятные люди. Все о кочевниках толкуют, хвалят их, говорят: наша дружба благословлена богом. Недавно кто-то даже утверждал, что нашлась рукопись, где говорится, будто один из волхвов, пришедших поклониться Христу, был монголом. Но так велено ему говорить. А зачем, кто велел?

— Сейчас всякие пошли люди, и всякое можно услышать.

Вновь воцарилось молчание. Но этот раз надолго.

Киликийцы возвращались после боя домой. Обрадованный успехом и благодарный армянам за храбрость в бою, хан приказал одному из своих отрядов сопровождать киликийцев до их страны — вокруг рыщут коварные сельджуки, ненароком беда случится.

После жаркой битвы и изнурительного пути воины устали, и царь, который тоже участвовал в сражении, пригласил монголов в свою страну: там они смогут отдохнуть, а затем вернуться к своим.

Монголы приняли приглашение с большой охотой — киликийцы умеют угощать, можно погулять на славу!

Приехали в город ночью, когда все спали, а на следующий день горожане опешили, встретив на улицах города чужих, странно одетых воинов. Они догадались, кто это.

— Татары! Татары! — раздались растерянные голоса.

Киликийцам показалось, что город завоеван, и потому одни бросились за оружием, другие побежали спасать детей. Но нашлись разумные люди, которые стали успокаивать сограждан.

— Они без оружия, а кони их, вероятно, пасутся где-то за городом, а что татарин без лука и коня.

Кто-то сказал, что монголы по договору не имеют права переступать киликийские границы.

— Это высокопоставленные, — объяснили ему, — а солдаты что, их мог пригласить после сражения царь. К тому же не так уж и много их.

Монголы исподлобья разглядывали горожан. Замешательство киликийцев польстило их самолюбию — они посмотрели друг на друга и расхохотались. Кто-то из горожан, знавший немного по-монгольски, разговорился с ними. Киликийцы узнали о цели визита и недавней победе над врагом. Тогда на монголов стали смотреть приветливее.

Весь город вышел посмотреть на людей, о которых шли самые страшные слухи. Чуть ли не во всех уголках о чем-то перешептывались, хихикали, разводили при этом руками.

— Подумать только, от кого мы зависим! — горестно говорили киликийцы. — Их бы в клетку и в зверинец. Да только зрители разбегутся!

— Боже, до чего мы дожили!

Царь устроил для гостей пышное угощение. Столы ломились от всевозможных яств. Было все, кроме вина. Об этом просили монгольские начальники: выпьют солдаты, разойдутся, держи потом ответ перед ханом.

Быстро опустошались столы. Слуги не успевали подносить.

Потом отслужили гостям службу. Знать, духовенство, ученые мужи явились по желанию царя в церковь святого Григория Просветителя, чтобы благословить на вечные времена союз с великим ханом.

Они пришли в храм в златотканых ризах, в плащах и хитонах из багряницы, с золотыми крестами и медальонами на груди. В руках держали священное писание и научные трактаты. Все эти люди с удивлением поглядывали друг на друга, как бы подчеркивая нелепость сборища. Они, словно по молчаливому сговору, не задавали друг другу вопросов, отвечать на которые было тяжело.

Вскоре появились царь и киликийские правители вместе с монгольскими начальниками. Перед ними расступились, образовав узкий коридор к алтарю.

Запел хор, раздались торжественные звуки хорала. Дети степей с любопытством разглядывали разряженных людей, изумляясь их степенности и умению произносить длинные речи. В церкви не было простых солдат. Те ожидали своих предводителей на лужайке у входа. Кто улегся на траву и смотрел в небо, а кто невозмутимо жевал куски жареного мяса, — недоеденные за столом и упрятанные в походные ранцы. То, что творилось в храме, было для них непонятно, как и многое, с чем они сталкивались теперь ежедневно.

Тем временем музыка в храме усилилась. Это пришлось по душе предводителям монгольского отряда. Они радовались, восторженно покачивая головами. Протяжные слова молитвы вызвали у них смех. Гул неодобрения пронесся по храму. Кто-то за спиной царя процедил сквозь зубы:

— Божья церковь превращена в хлев.

Словно чем-то ледяным обдало царя. Слова эти были горькой правдой. Он сделал вид, что ничего не слышал, только глаза его безжизненно застыли.

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ

В своей миниатюре «Поклонение волхвов» рядом с тремя волхвами Торос Рослин изобразил пять воинов с монгольским типом лица, в красных одеяниях, чуть выше — выведенный рукой Рослина краткий комментарий: «Сегодня пришли монголы».

— По поводу этой надписи, — сказал мне директор Матенадарана, академик Левон Степанович Хачикян, — я имею кое-какие соображения... Во второй половине XIII века Киликия всячески старалась сблизиться с монголами. Причина этого — стремление спасти страну от монгольского вторжения и в то же время найти могущественного союзника. Тогда монголы еще не приняли магометанства, и христианский мир хотел привлечь их в лоно своей церкви.

И я полагаю, своей миниатюрой художник хочет связать Евангелие с тем, что волновало вершителей судеб родины: как устоять, избежать нашествия, где найти союзника?

Художник изобразил монгольских воинов рядом с волхвами, желая показать, что они представители народа, освященного Евангелием Христа, то есть христиане.



емало он передумал, прежде чем написать на пергаменте комментарий в три слова, сколько горьких воспоминаний промелькнуло в памяти, прежде чем он сделал это! Довести картину до такой завершенности, а затем вписать в нее три слова!

Все эти дни он вспоминал Смбата Гундстабля, его рассказ о поездке к монгольскому хану. «Мы, армяне, многое потеряли из-за того, что не могли скрыть своих истинных чувств, — говорил Рослину старый воин. — Нам иногда следовало бы жертвовать излишней гордостью. Ты думаешь, мне легко было ехать на поклон к этим дикарям-кочевникам, умеющим только разрушать? К гнусной ватаге, расплзшейся по полям и долинам мира, подобно прожорливой саранче. Я, Гундстабль войска армянского, поэт и ученый, шел на поклон с дарами и приношениями к невежде, дабы заполучить охранные грамоты, которые на деле и гроша не стоят!..

Но я шел, чтобы спасти народ мой от меча и разорения. И усердие, старания мои, невзгоды, перенесенные в том долгом и страшном пути, были не поклоном ему, злодею и дикарю, — я приносил жертвы земле моей, трижды благословенной!»

...Он сидел в кресле. Перед ним на столе лежал лист с «Поклонением волхвов». Не хотелось ему писать этих слов, но не выполнить воли католикоса он не мог. Тот был прав: слух дойдет до монголов, пусть знают они о доброй воле армян.

И он представил Гундстабля, увидел его в стане кочевников, видел, как он улыбался, как тщился показать, что рад встрече с ханом и его окружением. С горечью вспомнил он и о том, как спустя несколько лет после возвращения Гундстабля к монголам поехал сам царь Гетум. Через каппадокийские заросли, по долинам страны сельджуков шел армянский царь к хану, чтобы показать ему свою верность и заслужить его милость.

Неизмеримо тяжело было сознавать это.

Почему краски здесь так напряжены, драматичны? Ведь для сюжета «Поклонения волхвов» подходят скорее другие цветовые ритмы, другая гамма чувств и настроений? Чем объяснить появление этих красочных сочетаний, словно проникнутых тревогой?

Автор «Поклонения» был художник, который жил судьбами своего народа, чьи раздумья были неотделимы от его тревог, кто, надеясь и веря, всегда ощущал над собой дамоклов меч, кто сознавал коварную ненадежность вынужденно избранных союзников.

Чувство постоянной тревоги, омрачающей любую радость, неотделимо от искусства Тороса Рослина. Оно проглядывает в миниатюрах и в написанных им ишатакаранах.

Кажется, что-то угасает, а что-то льется светлой жаркой струей, накаляя воздух, небо, скалу. Сливаются померкшие цвета со светлыми, сливаются тепло и холод, и все вместе звучно, насыщено, живо.

Динамизм красок Рослина...

Всех поражали необыкновенные цвета в его картинах.

— Варпет Торос пишет горячими красками. Они никогда не остынут.

— Иногда они даже прозрачны, а от них все равно веет теплом...

Он соглашался или не соглашался, но всегда молчал. Немало правды слышал он о себе и своем искусстве. Но много хотелось еще понять, уяснить себе самому. Что притягивает его именно к этой краске, что побуждает предпочитать ее той?

Шорох листьев, полевые цветы, звон верблюжьих бубенцов, морские раковины, шум ветров — все жило отдельно от него и в то же время возникало где-то в уголке его сердца. Он был опьянен пением птиц, шумом водопадов, ослеплен хороводом красок, обворожен цветением весны, голубизной неба. Тысячи впечатлений, ощущений заполняли его душу, тело властвовали над его сознанием. Это был праздничный хаос, но он искал в этом хаосе свое, близкое.

Подолгу смотрел он на людей, пейзажи: пытался как бы заново понять понятное, уловить оттенок необычного в цвете, форме, очертании, контуре. Впечатления захватывали его, заставляли думать, бесконечно возрождать в памяти шумы и тишину, привычные и необычные ощущения, видения, образы и формы знакомых предметов — в нем зарождалось то, что сегодня могло быть названо «интенсивностью чувственных впечатлений».

«Цени каждую минуту, каждый божий день, — говорили ему люди многоопытные, — нагрянут неверные, станут разрушать, жечь, проливать кровь. Дым затмит ясный день, погаснет солнечный свет...» С годами он не раз убеждался в этом — набеги приносили разрушения, смерть, пламя пожаров. Потом врагов изгоняли, дым рассеивался, но в душе оставался сгусток печали. И как ни радовался он воздуху и солнцу, сбывшейся мечте, трагическое неизменно было где-то рядом, проглядывало из прошлого, могло возвратиться каждую минуту. Но сквозь мрачную завесу времени все — каждый знакомый куст, каждое знакомое дерево, небо, облако — снова и снова пробуждало в нем ощущение чуда. Услышанный голос, погасший луч солнца, тихое журчание ручейка, шепот листьев радовали его, наполняли грудь счастьем и напоминали о том, что все это хрупко, недолговечно, может разрушиться, сгореть, исчезнуть навсегда. Теперь все чаще думал он о судьбах своей страны, ее прошлом, все острее проникала в сердце боль — память о разрушенных очагах на земле предков. Боль навсегда вселилась в его душу. И в красках его, вместе с блеском, прозрачностью, сверканием находишь и тень грусти, тяжких переживаний и потрясений.

Хочется представить время, когда мастер Торос расписывал Евангелие, то самое, в котором есть миниатюра «Поклонение».

Успех сопутствовал тогда киликийцам на поле брани. Они одерживали победу за победой над сельджуками Рума, а в 1260 году, когда мастер Торос закончил это свое Евангелие,

киликійцы в союзе с монголами завоевали Алеппо с прилегавшими к нему землями. Победы дали возможность присоединить к Киликии пограничные города и замки Сирии и Румского султаната.

В стране ликовали. Победный дух словно витал и носился над нею. В тавернах не смолкал хохот. Мимы, плясуны, рыночные балагуры изображали растерянных, бегущих с поля брани султанов. Казалось, счастье каким-то образом вырвалось из-за темных завес, приблизилось, нужно только окунуться, уйти в него. К победам приурочивали свадьбы, городские и крестьянские праздники, песнопения в церквах звучали торжественнее.

Все говорили, что теперь будет только удача — крестьянин верил в щедрый урожай, рабы надеялись, что господь ниспошлет им свободу, торговцы ожидали выгодных сделок. В городе Тарсе в праздник сошествия святого духа состоялся большой собор, там был рукоположен епископом Балдуин, брат царя, и нарекли его Тер-Ованесом. В тот же день посвятили в рыцари царевича Тороса. Пирьы и торжества сменяли друг друга. Праздничные гирлянды обвивали замки и дворцы, залитые светом тысяч свечей. Для одних эти торжества становились обыденностью, для других — лишь заманчивым зрелищем на расстоянии. Однако все верили: что-то надвигается, что-то большое и радостное.

Небо казалось тогда многим необычайно голубым. И варпет Торос, замороженный красотой этого мирного неба, словно захотел «отвердить» его, изваять из него арку. В верхней части «Поклонения» в полукруглой голубой полосе он поместил шесть нимбов, отдаленных друг от друга на равные расстояния. Они окаймляли головы ангелов с необычными лицами — не кроткими, а мужественными. Разве не силой духа, мужеством тогда восторгалась Киликия?!

И коль завел я речь о живописи, досточтимые киликийцы, то кому, как не вам излить душу! Вам, чтящим с детства искусства, выросшим среди прекрасных картин природы, под лазурным небом...

Да, я о варпете Торосе, столь хорошо вам знакомом. Но всякий разговор о нем неотделим и от вас, ведь все святое и земное, что видел и воображал варпет Торос, тесно срослось с вами и вашими чаяниями. И я вижу молодых и старых, богатых и бедных, простодушных и хитроумных, замерших в растерянности перед Христом и с надеждой показывающих на него. Но при всей внешней похожести и непохожести большинству из вас, киликийцы, присуща гибкость ума и находчивость, способность воспламеняться, резкость движений.

Представить и показать в одном мгновении прошлое, ваши мысли, стремления, мечты. Для этого нужен пронизательный взгляд, умение за простым жестом, обыкновенным выражением лица мгновенно почувствовать человека и увидеть его жизнь. И мастер Торос, киликийцы, сумел...

«Поклонение волхвов». В картине главенствуют темные краски, а фон словно залит лучами уходящего солнца. Это необыкновенно, живо, выразительно. Хотя, вглядываясь повнимательнее, видишь и некоторые недостатки картины — правая часть ее чуть перегружена, и композиция от этого несколько проигрывает. Но что это в сравнении с тем общим целым, что увлекает мгновенно, впечатляет! Многообразие характеров, благородство красок создают настроение захватывающее, властно подчиняющее себе. Все звучно и в то же время сдержанно благодаря чувству меры и строгости вкуса.

Незначительные недостатки в «Поклонении» можно объяснить, предположив, что художник мог спешить, волноваться, колебаться, что не всегда была уверенной его рука. Ведь он взялся воплотить то, что еще никто не делал в полную силу. Его многофигурная композиция была нова. Она могла быть непонятной, непринятой, не соответствовать вкусам тех, кто ценит в портрете только монументальность.

Те должны были предпочитать портреты величественных евангелистов. Сцены, изображенные Рослином, могли показаться им лишенными цельности, раздробленными. Предположений много, хотя сказать что-нибудь определенное сейчас очень трудно. Но ясно, что Торос вернулся, если не к отвергнутому, то во всяком случае к тому, что не было принято в свое время. Он дерзнул на это.

...А поклониться приходили убеленные сединой старцы, странствующие монахи, неисправимые еретики, восторженные поэты, воины с суровыми лицами, землепашцы и мастеровые с огрубелыми руками... Стар и млад взирал на Нее с благоговением, и опускались к ногам Ее посохи, копья, мечи, секиры и гербы, знамена, жезлы, кресты, резцы, кисти, пергаментные свитки и письма.

На лице Ее, смиренном, скорбном, светились глаза. И была в глазах этих материнская доброта, заботливость, в них светилась Ее душа. А в душе было нечто от земли, ее тепла и глубины. И люди приходили поклониться Ей как Матери и как Земле...

Мать — святая в своем материнском и полная человеческих переживаний и сострадания, — пусть даже она святая из святых, — как ей перенести тягчайшие муки, когда казнят сына?

Разные облики: цветущая юность и старость; южное смуглое лицо и белокожий северный профиль; глаза — черные, серые, голубые, синие, волосы — темные, как вороново крыло, и золотые, как лен... И все-таки в вас много родственного, матери.

Он помнил матерей Киликии — обезумевших, с окаменелыми лицами рядом с разрубленными телами их детей, у горящих домов, помнил их слезы, мольбу в глазах. В пору смертей и разрушений они, матери, словно вбирали в себя все горести и страдания. И тогда, глядя на них, он понимал, что на земле есть «священное».

Он помнил добрые, ласковые руки своей матери, густые ее волосы, заплетенные в пышные косы и уложенные вокруг головы, ее улыбку. Она всегда улыбалась, когда смотрела на него. А потом он увидел на стене изображение и решил, что это мать. Но отец сказал, что думать так — кощунство, на стене — святая богородица. И все же почувствовал, что прав: мать на стене похожа на его родную, она даже может подойти и погладить его по голове. Это казалось ему настолько возможным, что он ласково прикоснулся к изображению, как бы поощряя, поверив в несбыточное.

И теперь, прежде чем писать богородицу, он долго думал о своей матери и о той, что видел на стене, и о других матерях. Но написал он иную, она предстала перед взором внезапно — живая и святая, добрая и многотерпеливая...

Он изобразил ее в темно-синем хитоне и пурпурном мафории, царственно восседающей на троне. Она величественна, но проста. Взгляд материнский, добрый, полный спокойствия, ясности, сдержанно выразителен и одухотворен. Она кротка и великодушна, а великодушные — удел богатых и сильных духом, поэтому и смотрит она на людей, пришедших ей поклониться, безмятежно и кротко, но в то же время осознавая, что она и для них Мать, выносившая Спасителя рода человеческого...

В позе ее, в повороте головы, выражении лица правдиво передана озабоченность, скрытая тревога. Кому, как не ей, знать о предстоящих деяниях и страстях! И все на картине словно окутано полуденной тишиной, замерло в ожидании.

Торос поместил ее на переднем плане, вплотную к зрителю. За ней — пещера и ясли, из которых выглядывают лениво жующие животные, вверху — звезды, небо, ангелы, и над

пещерою витает ангел господен, что возвестил люду о великой радости — рождении Спасителя. Справа от богоматери волхвы с дарами, воины, слева — Иосиф, пастухи, а на коленях у нее младенец-сын, укутанный краем мафория. Но у малыша — лицо взрослого человека. Еще бы! Ведь, родившись, он уже знает, какие ожидают его муки и страдания, кто предаст его, а кто останется с ним. Он знает о своей мученической смерти и о том, что воскреснет из мертвых, «смертью смерть поправ». Знает добро и зло, знает, где ханжество, а где праведность, в чем спасение человеческое. Взгляд его острый, пронизательный — он смотрит испытующе, с интересом на этих пришедших поклониться ему людей, и ему есть, что им поведать...

«Поклонение волхвов» — одна из двух картин, составляющих миниатюру из рукописи 1260 года. Вторая картина поменьше, занимающая нижнюю часть листа, передает сцену омовения младенца Христа. Те же полуденно-знойные краски, синие и пурпурные одеяния — картины едины своим живописным строем, словно выполнены на одном дыхании.

...Две повитухи омывают в золотой купели младенца. Одна держит голенького малыша, другая наклонилась над ним с белой простыней. А напротив них — евангелист Матфей. Он сосредоточенно наблюдает за происходящим. В руках у него пергаментный свиток, а на столе перед ним аналой с рукописью. Сейчас он возьмет ручку, и заскрипит по пергаменту перо...

Однако вернемся к первой картине. Стоит взглянуть внимательно в миниатюру «Поклонение волхвов», как все замершее, словно обтянутое полуденной тишиной, внезапно задвигается, обретет тяжесть, форму, звучность.

Люди, ангелы, божества — весь этот земной и небесный мир предстанет живым, с достоверностью стремлений, поступков, чувств. Сквозь краски, то интенсивно-темные, то дымчато-приглушенные проступает свет, тепло.

Быть может, в лице богоматери есть легкая отрешенность, но видишь в ней живого человека, и вокруг нее тоже все живо — позы, движения, жесты, предметы, глаза и лица людей, Христос, Иосиф, воплощенное в телесные, реальные образы. И даже ангелы, благовещающие с высоты небесной о рождении, изображены во плоти, охвачены множеством чувств. О, таким трудно было бы удержать свои тела в воздухе! И Торос ищет для них опоры: одного поддерживает скала над пещерой, другим тоже есть на что опереться в тверди небесной, воссозданной густыми красками, положенными полукруглой полосой, образующей подобие арки.

Белые свитки в руках ангелов, их красные хитоны удачно сочетаются с синей полосой небесного свода, а сами ангелы, склонившиеся к богоматери, но увлекаемые неведомой силой ввысь, вносят в картину ощущение стремительного движения. Где-то над головой богоматери, в царствии небесном...

Ангел в белом хитоне стоит на скале над пещерой. Он не из тех обычных, традиционных, с детским наивным лицом или безжизненными, выкаченными к небу оловянными глазами. Он подвижен, молод, задорен. Это он сообщил пастухам о великом свершении и это по его зову «явилося многочисленное воинство небесное» — крылатые собратья. Но как написал их Рослин! Шесть похожих и в то же время непохожих ангелов. Все они призваны славословить и могли бы быть одинаковыми, но Торос написал не ангелов, а людей...

Шесть похожих и в то же время непохожих. Вглядываясь в них внимательно, склоняешься к мысли, что все шестеро — один и тот же человек, или люди, близкие по внешности и характеру. Похож на них и тот ангел, который позвал всех остальных. Но все-таки одно и то же лицо изобразил Торос, или эти лица просто похожи? Ответить нелегко. Да и художник, вероятно, не думал об этом. Еле уловимыми мазками он изменил выражения рта, глаз своих героев и образы их стали иными, показывая неисчерпаемость человеческой души и

возможностей выразить ее. Не к этому ли стремился художник? Я даже представляю его самого, сдержанно улыбающегося, довольного творческой находкой. Да, ему удалось в этом сонме людском, в бездне чувств, характеров показать что-то похожее, одинаковое и в то же время убедить: ничто не повторяется, мир бесконечен в своих проявлениях.

На лицах ангелов сдержанная выжидательность, еле уловимая радость, легкое изумление, скрытая улыбка, спокойная созерцательность, ожидание... И как правдиво изображены глаза! — прищуренные, пронизательные или внимательно присматривающиеся.

Да, из всего, что видел Торос, человеческие глаза были для него самым загадочным и таинственным. В глубинах их скрывалось все — плач и причитания, таинства обрядов, молитв и заклинаний, очарование восхода и заката солнца, шумных красочных зрелищ.

И он искал в этой загадочности и таинственности глаз самое характерное, исключительное. Не потому ли так выразительны глаза волхвов?..

Эти восточные мудрецы прошагали много ночей и дней вслед за звездой, и теперь они стоят перед Спасителем, склонившиеся, с дарами. В их руках чаши с золотом, ладаном и смирной. Они разные. Старший — седовласый и сребробородый старик в синем, расшитом драгоценными камнями и бусами плаще, весь согбенный, с вытянутой вперед шеей. В позе его нет, однако, угодливости, заискивания, — просто он знает, кто родился, и воздает ему должное, как и два других волхва, стоящих позади него. Один из них — средних лет, в пурпурном плаще, красных сапожках, с черной бородой, внешности обыкновенной, ничем не выделяющейся, зато другой, молодой, запоминается сразу — огромный горбатый нос, тяжелый взгляд, густые волосы растрепаны. Он так естественен, жизнен, что начинаешь думать: художник, вероятно, встречался с ним и запомнил навсегда.

И, глядя на волхвов, видишь за ними ученых мужей Киликии, их степенные движения, жесты, их вдумчивые глаза. Сколько пронизательности, мудрости таят глаза этих людей, которые могли быть пришельцами из далекой земли и близкими знакомыми Рослина. Ему, наверное, не раз приходилось обращаться к памяти, оживлять давно пережитое, прежде, чем написать своих героев. Они приносят с собой на пергамент фрагменты истории, ушедшего быта, сквозь призму его таланта приобретая высшую достоверность — художественную.

Будто доносится нескончаемый гул, крик торжества, крик бешенства и отчаяния. Невольно кажется, что где-то поблизости стоят кибитки, набитые награбленным добром. Иначе откуда взялись рядом с волхвами, идущими на поклон, эти монгольские воины?

В красных, с широкими рукавами одеждах, с шапками на головах, чем-то напоминающими походные шатры, они воплощают примитивность. Один, потупив глаза, разглядывает новорожденного и его мать, другие что-то обсуждают — ни изумления, ни трепета, ни малейшего душевного движения.

Но ведь поместил он их, монголов, на картине рядом с восточными мудрецами, но ведь написал: «Сегодня пришли монголы». Как будто о событии радостном, долгожданном. Однако за этим видишь то, что хотел показать художник, понимаешь его замысел: они стоят рядом с Христом, Марией, волхвами, а лица их безучастны.

В них не только не найти благодати, ума и прозорливости соседствующих с ними святых и мудрецов, в них нет даже живого, первозданного темперамента стоящих напротив них простых крестьян-пастухов. И присутствие монголов рядом с волхвами и святыми кажется нелепым. Их любопытство близко к безразличию, их созерцание равнодушно. Там, где не убивают, им явно нечего делать. И это в то время, когда на пергаменте все остальное живет, дышит, движется. Да, появление этих персонажей здесь бессмысленно, но сам замысел Тороса полон глубокого смысла.

Настоящий художник, Рослин, где бы ни поместил изображения этих воинов — рядом с волхвами или даже с самим Христом, не мог не показать в их облике пустоты и невежества, которые принесли они миру вместе с мечом и разрушениями.

Его долгие поиски, вечные желания вникнуть в суть вещей, запечатлеть в памяти характеры всех, с кем приходилось встречаться, общаться, размышлять — море лиц в церквах, тысячи жестов, оттенков негодования и изумления, увиденные им в портах, на гуляниях или базарах, в пестроте толпы, бесконечные попытки уяснить в своем окружении человеческое и божественное — все это пережитое в беспокойстве и волнениях, руки, головы, сверкающие украшения, посуда, одеяния — все просилось па пергамент.

На полях и лугах, на горных пастбищах часто видел Рослин пастухов. Его зоркий глаз подмечал в них характерное — было в них нечто от природы, ее первозданности. На картине их сразу узнаешь — по здоровым румяным лицам, по сине-коричневым крестьянским облачениям, по посохам, по висящим сбоку деревенским сумкам. И жесты их крестьянские, простонародные — они обращаются к ангелу, бурно жестикулируя поднятой вверх рукой. Там же, рядом с ними, на переднем плане миниатюры Мария, Христос и Иосиф, меньший по размеру, как и все персонажи, занимающие в композиции второстепенное место по смыслу. Он слишком обычен, где-то в стороне от всех разыгрывающихся вокруг него страстей.

Иосиф кроток, задумчив, молча наблюдает за событиями, и только золотой нимб, окаймляющий его голову, и царственная поза говорят о его принадлежности к святому семейству...

Да, знал Торос человека. Люди, их яркие характеры, образы — и все на одной миниатюре, миниатюре XIII века! И все передано с тактом, вкусом, чувством меры. Краски, доведенные до предельной насыщенности, драматичны, напряжены. Поражает необычностью звучания синий цвет пещеры. Ее несколько стилизованное изображение не умаляет впечатляющей силы. Синий — удивительно густой, напряженный, все углубляющийся. Обычно холодный, суровый, он кажется каким-то бархатным...

— И все-таки...

— Трудно что-либо выделить. Все слилось, заговорило разом.

Краски рассказывают о деяниях божеских, и вместе с этим все это человеческое. Но ведь сердце стучит не только пред алтарем, — оно стучит, и не менее учащенно, когда охвачено простыми людскими волнениями. Оно бьется, берет за душу, и могут ли эти чувства не выразить себя в созданиях художника?

— Ты о моих раздумьях, сыновних чувствах...

Вся жизнь Армении — полуденные краски — что-то вот-вот угаснет, а что-то все еще светится. И все-таки больше светится, и чувствуешь, что не погаснет совсем. Вот в чем передано характерное, национальное. Быть может, не осознанно, по велению сердца. И коль оно застучало...

...«Сегодня пришли монголы». Они пришли, они здесь. Они стоят рядом с волхвами, Христом, богородицей. Как будто сказано все, как будто заказчик должен быть доволен. Но взглянем еще раз на картину, на лица монголов, на лица волхвов. Волхвы изображены мудрыми, одухотворенными. Монголы — с обветренными, покрасневшими лицами. Взаправду ли утверждается, что их можно поставить в ряд просвещенных народов или в их лице показаны завоеватели, выражена вся скрытая ненависть к ним? Та ненависть, которую нельзя было выразить вслух, явно?.. Пусть в лицах воинов и нет ничего ужасающего, и все-таки чувствуешь их суть. Им, конечно, не суждено мирно соседствовать с просвещенным людом. Сколько раз приходили в Киликию, Великую Армению люди, подобные этим вои-

нам, чтобы искоренить просвещение, убить в народе его дух. Сжигали поля и леса, разрушали города. Но дух этот был неискореним, вечен. Как лик этой богоматери, как синий цвет пещеры, все углубляющейся, тянущейся, подобно векам, куда-то вдаль, в бесконечность. Синий, необычно напряженный, хранящий тепло...

— Нет, нет, варпет Торос. Я вовсе не пытаюсь мыслить за тебя, я невольно...

Еще немного, и кажется, все, рукопись закончена. Столько мучительных дней и бессонных ночей! Наверное, Гундстабль одобрил бы этот лист с «Поклонением». Да, он, Торос Рослин, никчемный из никчемнейших, недостойный из недостойнейших, вправе считать себя выполнившим свой долг художником, киликийцем. Но о чем он думает сейчас?

Один в ночи, он вспомнил, как работал над рукописью. Иногда днями не выходил из мастерской, забыв о доме, учениках, знакомых.

Он подошел к окну и погрузился в думы. На небе сверкали граненые звезды. Одна из них выделялась особой яркостью. «...И се звезда, которую видели они на Востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом...» А куда повела бы его вот эта звезда? Он смотрел на небо, в сознании мелькали лица, слова. «Но я шел, чтобы спасти народ мой от меча и разорения, — слышалось ему. — И усердие, старания мои, невзгоды, перенесенные в том долгом и страшном пути, были поклоном не ему, злодею и дикарю, а земле моей, трижды благословенной...»

«Благословенной», — повторил он тихо.

«...СЛОВОМ И ДЕЛОМ...»

Те лучезарные росписи создавались не только кистью и красками. Не одной лишь взволнованной душой художника. Его окружало немало людей... Мимо проносятся мгновения — все та же рукопись 1260 года...



лючарь Вардан был желанным гостем скриптория, и его, как обычно, встретили радостно.

— Добро тебе, отец Вардан! Давно не виделись. Ты, наверное, пришел взглянуть на росписи варпета Тороса? Не будь его, забыл бы про нас, грешных, а? Варпет и сам давно не приходил, хотя переплет для него готов...

Ключарь, невысокий седовласый горбун с печальными, мечтательными глазами иногда изготовлял переплеты, даже заслужил похвалу самого варпета Тороса, но потом оставил это свое увлечение, считая, что не вправе заниматься делом, которое освоил самоучкой. Когда его называли переплетчиком, он возражал: «Я ключарь, а искусство только почитаю». И тем не менее, к нему прислушивались и мастера, и художники. И когда он появлялся, вокруг него всегда заводился разговор об искусстве.

Сегодня ключарь пришел с радостной вестью. Но голоса нескольких человек, разом обратившихся к нему, не давали возможности высказаться. Все знали, как глубоко чтит Вардан живопись варпета Тороса, и потому рассказывали ему о Рослине. Однако все говорили одновременно, и в общем гуле ключарь различал лишь отдельные фразы.

— И варпет Константин ничего не знает, хоть и близок... Возможно, захотел написать что-то новое... Все молчит...

В другое время Вардан мгновенно включился бы в разговор, но сейчас он сам хотел сказать приятнейшую новость. «Еще немного, — думал он, — умолкнут они, тут я и скажу, что у него родился сын. Только пусть сначала станет тихо, чтоб прозвучало торжественнее...»

Сын родился! Сын Тороса Рослина! Да будет благословен час, когда у человека, носящего в душе божий дар, рождается дитя! Ведь он может унаследовать эту божью искру отца...

— Прими наше благословение, варпет! И наши скромные подарки — шкатулку для красок от переплетчика Овна; лист, расписанный давним предком, от пергаментщика Мартироса; краски — от ключаря Вардана; кисть самого варпета Киракоса — от варпета Константина, а эту роспись от меня, недостойного ученика. Писал месяцами, верил, что родится у тебя мальчик...

Пусть растет счастливым, варпет, и знает, какая это великая честь стать художником и как тернист такой путь...

— Спасибо, спасибо, братья! Век не забуду ваших добрых слов, а подарки буду беречь как память о вас. И мне хотелось бы увидеть сына художником. А только дел и занятий добрых на свете не счесть. И пусть он займется тем, что придется по душе, таким делом, без которого немислимо ему жить...

Снова перечитываю ишатакаран евангелия 1260 года.

«...Прошу помянуть меня и моих родителей, братьев и сестер, и сына моего...»

Сына моего!

Те же скупые строки, и все пытаешься представить, дознаться с помощью их, что могло быть в действительности, в жизни...

Рукопись выполнена на высококачественном пергаменте. Триста тридцать две ее страницы покрыты миниатюрами и письменами. Хораны и маргинальные знаки запоминаются пышностью, разнообразием очертаний, форм. Замыкает миниатюрный ряд сцена поклонения волхвов, а в промежутке между ней и хоранами, как и должно, помещены четыре портрета евангелистов. В начале каждого абзаца красочные буквы, первые две строчки текста выписаны золотом.

И снова он, «недостойный художник Торос, именуемый Рослином», сообщает о времени и месте написания книги (1260 год. Ромкла.) и что это было «во владычество Великого хана Мангу и брата его Хулагу в царствование боголюбивого и благочестивого царя Гетума». И не можешь не подумать: тот, кто изобразил монголов рядом с волхвами и написал: «Сегодня пришли монголы», как бы оповещающая о событии весьма важном, говорит о великом хане и его брате Хулагу, правителе Ирана, Закавказья, Месопотамии и сопредельных стран весьма сдержанно, в то время как Гетум у него «боголюбивый и благочестивый армянский царь».

Из ишатакарана рукописи узнаешь о захвате города Алеппо и всех его окрестностей и о том, что католикос в память свою и своих родителей приобрел для церкви множество божественных писаний Ветхого и Нового заветов, а также утварь из золота и серебра и другие украшения церковные, и о том, что для создания рукописи он, католикос, щедро снабжал Тороса материалами и красками. И опять он просит помянуть католикоса, чуть ли не всех его родственников, царя и «божественную царицу Изабеллу и богоданных сыновей ее».

Между перечислениями дат, предметов, событий и имен слова глубокой признательности.

«...Молю помянуть всех потрудившихся над книгой словом и делом...»

В замысленных красками и клеем, местами прожженных хитонах усердные и добросовестные «в деле божьем» переплетчики, изготовители красок, клея, пергаamenta и прочие мастеровые — они, быть может, и сами не понимали, как сжились, срослись с искусством. Иногда какой-нибудь художник жаловался им на немощь синего — «звучит рядом с благородно розовым, как неживой», — мастеровые с полуслова понимали и пытались помочь — сотворить тот синий цвет, который зазвучал бы и заиграл рядом с соседствующим цветом. Выражая свой восторг красотой, они часто не находили нужных слов, но красноречивыми были их глаза, возгласы и жесты.

Они не только понимали искусство, чувствовали все тонкости. Оно их радовало так, как не обрадовало бы ничто другое.

И люди, и святые на пергаменте были их давнишними знакомыми — они их видели, те жили в их воображении. Несоразмерность туловища с головой, излишняя худоба рук, ног, впалость щек воспринимались ими просто и естественно: ведь тело могло быть изображено по-всякому, — не тело вечно, вечен Дух. Восторгали их на пергаменте проблески жизни и жизненного — такие вкусы были у благочестивых, христоролюбивых, праведных, устремившихся мыслями ввысь, но не гнушающихся земными радостями, хотя и знавших цену суетным мирским забавам. О, они были истинными киликийцами!

Они знали, как прекрасны весенний день и летняя ночь, как опьянен человек, когда он любит, знали, что поддаться искушению любви может даже праведный из праведных.

И, вглядываясь в роспись, они не думали о бренности или нетленности, — а радовались красоте, и коль она была и захватывала, они радовались ей. Но только ли они?

Перед красотой благоговели, пренебрегая отклонениями от канона, и заказчики. А были среди них епископы, архиепископы, не говоря о самом католикосе. «Интерес к иллюстрированию канонически закрепленных событий истории, Христа как бы слабеет, — писала Лидия Александровна Дурново о киликийской миниатюре, — поскольку религия для нового заказчика в основном только форма без мистического начала — одного из общественных устоев — и его, этого заказчика, больше привлекают явления человеческой жизни и деятельности и природа во всем известном тогда мире. Обычай и практика иллюстрировать рукописи нерелигиозного содержания еще не сложились, и потому художники ограничиваются изображениями евангелистов и введением в декоративную часть рукописи — хоранов, заглавных листов, маргинальных знаков, подробностей в тематических миниатюрах — изображений, не только связанных с христианским культом, но очень часто таких, которые никакого отношения к нему не имеют и даже ему враждебны».

«...И потрудившись над книгой словом и делом...» Отложив резак или ножницы, вытерев руки о край хитона, они выходили на открытую веранду скриптория, чтобы отдохнуть, поговорить.

— Вы видели, как расписал он хоран?

— Ты об Авраамовом? Это он уже кончил.

— Сейчас он работает над хоранами Моисеевыми. Смотрел и не верил своим глазам...

И вспыхивал живой, захватывающий рассказ, сопровождавшийся возгласами удивления и восторга.

Они верили в него, в его звезду, но тем не менее не переставали изумляться каждой новой его работе. Конечно, мнения их не во всем сходились, но даже самый рьяный приверженец канона не мог не сказать доброго слова о красках варпета Тороса. Размышляя вслух, они часто доходили до споров. И тот, кто сидел еще недавно неподвижно, скрестив руки, мог пуститься в громкий разговор или отойти в сторону и там, обхватив руками голову, надолго призадуматься. Да, да, может, и прав старый пергаментщик — слишком уж отошел варпет от канона, но ведь...

— Но ведь сила-то в нем огромная!

— Об этом никто не спорит, но...

Цвет, линия, евангельские и библейские сюжеты вошли в их ум, сердце, представления, стали частицей их обычных восприятий. Они видели каждую его миниатюру. Но почему он не показывает им последнюю? «Потом, когда кончу», — говорит он.

Краски словно залились светом, стали звонче. В исполнении появилась некоторая легкость. Не опасно ли это?

Нет, просто он, как никогда ранее, стал чувствовать простор, воздух. В глазах разливались огни, проплывали полосы света, — мигающее пламя свечи сменялось заревом заката: где-то мерцали звезды, и острые солнечные лучи вклинивались в небесный свод. Свет, свет — кругом был свет. Свет не покидал его воображения... Вселить этот свет навсегда в краски, показать его оттенки, переливы, часто невидимые простому глазу...

Та рослиновская фантазия, которая через два года поразит безудержностью, уже дает о себе знать. Капители в виде человеческих лиц, гроздьев винограда, спаренных геральдических изображений птиц, рыжих мохнатых львиных голов. Колонны сплетены из лиан, кипарисовой коры, разноцветных орнаментов и пальметок. Заглавные буквы, символы написаны золотым крапом, чем-то похожи на броши и амулеты, и маргиналы — распустившиеся пучки цветов, ветви плюща — и все это ярко, многокрасочно и живо, как в саду или на лугу. Рядом с колоннами зеленеют деревья, притаились звери, щебечут птицы. Актеры, ряженные в чертей, чудовищ и медведей, несущиеся на крыльях кентавры, четко выделяющиеся на светлом фоне зеленые контуры деревьев.

В невысокой вазе синие, красные и зеленые плоды, ветви деревьев свисают пестрой бахромой. В крошечных круглых обрамлениях портреты святых...

Тесно переплетаются фантазия и быль. Им было над чем поразмыслить, чем восторгаться...

Иногда варпету Торосу казалось, будто что-то оборвалось в нем, иссякло. Он все писал и писал, — краски в склянках кончались, часто приходилось менять кисть, но работа не шла. Однако какое-то необъяснимое упрямство заставляло его опять садиться за стол, и он был вынужден убеждаться в бесплодности своих стараний. Ночью ему спалось плохо, а если хотя бы на короткое время удавалось сомкнуть глаза, то он погружался в кошмары, и в снах мелькали бессвязные воспоминания.

А утром, разбитый, он приходил к ученикам, стараясь не обнаружить своих мук, но те, видя его усталое лицо, воспаленные глаза, молча, понимающе переглядывались. Он делал короткие замечания, наставления, подправлял рисунок, советовал кое-где изменить цвет, а потом уходил из скриптория и словно бросался в жизнь, жадно вбирая в себя взглядом людей, деревья, улицы. Он выходил к западной стене крепости, взгромоздившейся на возвышенности скалы. На ее склонах, в пещерах, находились мастерские бархата, оттуда всегда доносились громкие возгласы и смех.

Потом начинались кварталы торговцев благовониями, красками, пергаментом, базар, склады, а за ними высилась арка, с этого места можно было увидеть, как лепятся один к одному купола церквей — Спасителя и Богородицы. Чуть поодаль от них — конусообразная кровля храма Григория Просветителя. Он заходил в его небольшой уютный дворик. Здесь, под мраморными плитами покоились католикосы армян. Он продолжал путь дальше — к огромному колодцу, уходящему своими двухсот пятьюдесятью ступеньками вниз к глубокому дну Евфрата. Отсюда черпали воду во время длительных осад. Остановившись ненадолго перед спасительным чудом, он двигался дальше, но куда именно, не знал и сам...

Внешне, как всегда, спокойный, шаг мерный, величественный, глаза, полуприщуренные, смотрят в неведомое, — вряд ли кто мог догадаться, что в душе варпета Тороса все клокочет. Его нередко останавливали, хотели узнать мнение о том или ином, кто-то читал отрывок из своего трактата. Он вежливо кивал, поощрительно улыбался, но взгляд его скользил по улице, над которой медленно угасало солнце. Нет, только не сейчас! В другое время такой разговор мог бы и привлечь его. Но сейчас ему был нужен только простор, воздух.

Улицы постепенно пустели, зажигались редкие огни, где-то мелькали тени, исчезающие в сгустившихся сумерках. Ноги будто сами, независимо от сознания, вели его на окраину, где жили многие мастерские скриптория. Там ему всегда были рады.

— Не поздновато ли?

— Нет, нет, варпет Торос, ты ведь знаешь...

Кто-то наспех одевался, кто-то откладывал начатую работу.

Мастеровой из священнослужителей поил его крепким чаем. Мирянин накрывал стол вкусными угощениями и вином. Иногда встречали его всей семьей, и тогда встреча эта превращалась в семейное торжество. Взрослые садились за стол, а из-за дверей и занавесок выглядывали удивленные детские лица. Он улыбался малышам, — его сдержанная улыбка становилась веселой, легкой. И вскоре таяла скованность хозяев. Мастеровой переставал волноваться, оживлялась его обычно молчаливая жена, на кротких, как у богоматерей, лицах дочерей тоже появлялись улыбки...

Он расспрашивал их о житье, о самом разном, потом брал из вазы красно-золотистый персик, молча разглядывая его.

— Соки земли и солнечное тепло...

Они были рады поддержать начатый им разговор. Рассказывали ему о деревьях, виноградниках, об аромате и цвете, о земле, пашнях, урожаях. Они умели говорить языком полей, лесов, долин и гор, и варпет, слушая их, сам не замечая того, останавливал свой взгляд на горящей свече. Канделябр на бронзовых стержнях казался ему венцом огней. Он смотрел на колеблющиеся языки пламени и ощущал, как в тело его вливается что-то бодрящее, как бы освобождая его из хватких, тяжелых лап...

Четыре портрета евангелистов из той же рукописи 1260 года. Все они образны, живы. Один лишь взгляд, выражение губ создают человека. Не передал ли художник в каноническом типе евангелиста знакомые черты, не изобразил ли одного из тех, с кем общался, был дружен? Внимание мое невольно привлекает портрет Марка. Хотя сначала этот герой, обычный и простой, не приковывал к себе взгляда. Ведь рядом характерные типы остальных евангелистов — ученых мужей, словно явившихся к нам из мглы веков. Марк же ничем не выделяется — обыкновенное молодое лицо с кудрявой черной бородкой, черные волосы.

Но вглядываешься в него и видишь в этом лице нечто большее, сложное. За тем, что на первый взгляд показалось простотой, — вдумчивость, глубокая мысль. Не изобразил ли Торос одного из тех своих скромных собеседников, кто, не будучи красноречив и многословен, мог высказать пронизательное суждение, заметить в росписи едва уловимое? Кто чувствовал естество искусства, и оно было для него столь же насущным, как хлеб, вода или воздух?

Да, Марк кажется нам знакомым, как будто мы его где-то встречали. Взгляд Марка — взгляд человека, умеющего скрывать свои чувства. Он одинаково спокоен в ясный день и в бурю. Такие, как он, всегда уравновешены, неизменно внемяют голосу разума, и в самом чудодейственном готовы увидеть ясное и простое.

Но неужели так же просто станет говорить он о деяниях Христовых?..

Марк в голубом хитоне и темно-синем гиматии сидит, задумавшись, перед столиком и поглаживает правой рукой бородку. Над ним красное полотнище велариума — атрибут античности (древние греки защищали такими полотнищами от дождя и солнца амфитеатры, портики и даже целые улицы), перенесенный как украшение в византийскую, а оттуда в армянскую миниатюру. Стол и кресло Марка разукрашены чудесными узорами и драгоценными камнями. Он, варпет Торос, не раз любовался такими же — Киликия славилась своей мебелью, ее вывозили в разные страны...

В правой руке у Марка перо. На столе склянка с красными чернилами, нож, ножницы, подставка со свитками пергамента. За спиной евангелиста высятся сине-голубые островерхие палаты, цвет которых удачно сочетается, кажется неотделимым от цвета его одежды. Красный велариум, красное подножие, красная спинка кресла и красная капитель. И сине-голубая одежда, сине-голубые палаты...

И варпет Торос в который раз предстает как мастер великолепных сочетаний, самых разнообразных тонов синего и красного. Но он не довольствуется ими и бросает на спинку стула светло-охристое, с золотыми полосками, покрывало. Хотя и непонятно, к чему оно здесь, на сидении евангелиста, но это светло-охристое с золотым обогащает живопись картины! Лицо Марка, удивительное в своей сосредоточенности, кажется на фоне этих необычных красок обычным и естественным. И если это так, если верить его взгляду, весьма далекому от чрезмерной загадочности, многозначительности взгляда повествователя о деяниях Христовых, то и рассказанное им должно быть обыкновенным, очеловеченным и простым...

Просто о реках, горах, ветрах, ураганах, о всяких препятствиях на пути, о людях злых и добрых, — в жизни бывает всякое...

Но вернемся к той ночи, когда варпет Торос закончил миниатюру — «Поклонение волхов» и, спрятав лист в стол, чтобы не сдуло ветром, утомленный, вскоре уснул.

Под утро его разбудили.

В дверях, виновато улыбаясь, стоял горбун. В одной руке он держал посох, в другой — связку ключей.

— Прости, что в такую рань... Не спится...

— Как раз хорошо, что пришел.

Вардан вошел в комнату. Его быстрые глаза вмиг обежали все уголки.

— Ищешь? — усмехнулся Торос. — Ищи, ищи, — дружелюбно посмотрел он на ключаря.

— Да, ищу, — заговорил ключарь увереннее, — а вот ты все прячешься от людей, другим стал. Даже почитатели и доброжелатели твои не знают, что делаешь...

Давно ключарь хотел высказаться, но как-то не решался — думал: не стану мешать ему в поисках, да к тому же у него теперь сын. Но с тех пор прошло много дней, а варпет все продолжал молчать. Больше ждать Вардан не мог.

Все в том же добром настроении выслушивал Торос нападки горбуна, с которым часто делился мыслями. Да, он никому не показал «Поклонения», ни словом не обмолвился о нем, — он испытывал желание работать без посторонних глаз. Не отвечая Вардану, он вынул из ящика пергаментный лист и положил его на стол.

Вардан подошел к столу.

— Господи! — вырвалось у него.

Взгляд его замер, зрачки расширились. На лице сменяли друг друга изумление и испуг. Он весь ушел в картину и, стоя перед ней недвижимо, молчал. Потом лицо ключаря словно засветилось, просияло, он поднял голову, посмотрел на Тороса. И хотя оба продолжали молчать, красивые, выразительные глаза горбуна уже сказали Торосу все. Да и сам варпет был рад — Вардан был первый, кто видел его работу, а с мнением его он считался.

— Варпет Торос... Торос, сын мой... Как сделал! Доселе такого не видел... — Он говорил бессвязно, голос непроизвольно обрывался. В глазах его сверкнули слезы. — Ведь не родился я таким убогим... Неверные, будь они прокляты, сделали из меня... И все переменялось в жизни... Стали отворачиваться, пугаться меня... Только мать любила по-прежнему. Мать я свою увидел...

Он замолчал. Они оба молчали.

Словно освободившись от чего-то тягостного, гнетущего, ключарь продолжал яростно, дрожа:

— Всю жизнь я прожил в святости и беспорочности... Служил господу верой и страхом... Хочется хоть раз от души порадоваться...

Он еще раз посмотрел на картину и, ничего не сказав, выскочил на улицу. Вприпрыжку, словно избавившись от тяжести горба, дошел он до колокольни. Не объяснив ничего сторожу, взобрался по лестницам наверх, к звоннице. Лучи первого солнца поблескивали на колоколе. Он потянул веревку, привязанную к языку колокола, и отпустил ее. Раздался звон, другой, третий...

Мягкий свежий ветерок дул в лицо, горбун смеялся.

— Благость, благость пришла! — кричал он громко. И уже тише, как бы поясняя себе.

— Та, что одинакова и для калек, и для здоровых.

Звон колокола заглушал его голос, он не слышал себя. Он почувствовал чье-то прикосновение: перед ним стоял сторож.

— В чем дело, отец Вардан? Людей разбудил, глянь вниз, как стекается народ...

— Ничего, — отвечал Вардан тихо. — Сегодня мой день... Я сам все объясню...

Он больше ничего не сказал. Подойдя к перилам звонницы, наклонился, улыбаясь широко раскрытым ртом. Внизу мелькали фигуры людей. Сверху они казались разноцветными точками. Но если Вардан видел бы их вблизи, он остановил бы свой взгляд на человеке в голубом хитоне, слегка запачканном красками, который стоял среди нарастающей толпы с опущенной головой. Сердце того человека стучало взволнованно.

СТРАНСТВИЯ



уда, на возвышенность, на скалу, на самое высокое место Ромклы, откуда виден горизонт, где кажется, что ты вот-вот воспаришь... Приходил час, когда его неодолимо тянуло на скалу, чтоб посмотреть с нее на землю, оглядеться, предаться воображению...

Обрывается разговор с мастеровыми, с домашними, обрывается беседа с мудрым мужем — туда, на вершину, где освобождаешься от забот и тягот, сливаешься с небесной голубицей, уходишь в незнакомые миры, к неизвестным людям. И мысли влекут...

Вновь перечитываю ишатакараны рукописи 1260 года и снова начинаю домысливать...

Между рукописями 1256 и 1260 годов лежит четырехлетний промежуток. Пауза необычная для такого работоспособного, беспокойного художника как Торос Рослин. В биографии мастера известна и другая творческая пауза — между рукописями 1262 и 1265 годов. Однако пауза в начальном периоде творчества и в пору зрелости — не одно и то же. В 1262 году варпет Торос иллюстрировал за год два евангелия, одно из них сам и переписал. Он мог утомиться, нажать завистников, заслужить немилость власть имущих. Наконец, его могли не понять: в рукописях 1262 года он творит дерзко, без оглядки, не считаясь с канонами.

Но ведь в 1256 году все обстояло у Тороса Рослина по-другому. Тогда недоброжелатель или ревностный сторонник незыблемости канонов не смог бы выискать в искусстве художника отклонений от принятого. Он не нарушает традиций, остается в рамках иконографических схем. Но в то же время талант его очевиден. Уже в 1250 году Торосу доверили написать портрет престолонаследника...

Нет, такую паузу трудно объяснить невниманием, плохим отношением, немилостью...

А была ли пауза? Может, за эти четыре года он создал новые произведения, а они не дошли до нас? На все это нет ответов.

Лучше погрузимся в искусство киликийца этих лет.

Его и в рукописи 1260 года можно назвать традиционным, если бы не «Поклонение волхвов», единственная и сложнейшая многофигурная композиция этой рукописи, созданная в то время, когда в Киликии почти не обращались к подобному жанру. Но как он ее исполнил! За большим мастерством чувствуешь годы поисков, обретенные навыки. Да, вероятно, долго готовился к «Поклонению» Торос, прежде чем изобразить эту композицию в евангелии, заказанном католикосом. Не предшествовала ли этой рукописи другая? Не в ней ли Торос впервые обратился к жанру, который развил уже позже?

Всякое могло быть...

У него жена, сын — но семья вряд ли могла отвлечь Тороса от любимого дела. Наоборот, она обязывала, побуждала работать еще больше.

А может художник в то время странствовал по миру, пытаясь уразуметь, осмыслить, сравнить. Ему было что сравнивать! Он был хорошо знаком с бытом генуэзцев, византийцев, франков, живущих в Киликии. Знал их искусство и, наверное, захотел повидать их родину.

В его миниатюрах находишь иной раз столь не привычную армянскому глазу обстановку, лица, одежды, дома, дворцы, животных. Где он видел их? Не в странствиях ли?

Дурново называет Тороса Рослина художником просвещенным и вдумчивым, многое видевшим и знавшим. Искусство киликийца подтверждает эту характеристику. После знакомства с ишатакараном рукописи 1268 года еще больше укрепляешься в предположении, что Торос делится своими живыми впечатлениями от совершенного путешествия.

Нет, конечно, он странствовал, странствовал не однажды, побывал, очевидно, во многих землях. И видишь мастера на чужбине перед фресками и изваяниями. Что же близко и созвучно ему, что — нет? Ведь влияние франкской и, в особенности, византийской миниатюры на киликийскую признано. «Однако, — писал Виктор Никитич Лазарев о византийском влиянии на соседние страны, — импортированные формы сталкивались со старинными местными традициями, в силу чего общая картина получала крайне сложный характер».

В коренной Армении местные традиции оказались более стойкими, чем где-либо. В Киликии же скрещивались Запад и Восток, там жило много народностей. Киликийцы привыкли вникать в чужое слово, мысль, говорить дома не на своем языке и в то же время оставаться самими собой — их самоутверждение шло через это. Может, потому к византийским влияниям здесь проявляли больше интереса? В них стремились найти и находили близкое своим чувствам и представлениям, перенимая то передовое, что несло в себе византийское искусство, чем могло оно обогатить, помочь развитию новых художественных форм. Великолепная техника письма, некоторые живописные приемы, иконографическая схема были использованы киликийскими мастерами. «Но армянские миниатюристы, — писала профессор Гарвардского университета Сирарпи Тер-Нерсисян, — никогда не были рабскими подражателями, вдохновение они получали от византийских работ, но формы передавали и переделывали в зависимости от того, что подходило к армянскому темпераменту, более склонному к выявлению драматических чувств».

И вновь представляешь Рослина, несомненно, испытавшего на себе влияние византийской миниатюры и в то же время самого что ни на есть армянского художника. И представляешь его в пути, в раздумьях. Да, он мог отправиться в путешествие и в 1256—1260 годах. Мог побывать в это время в Никее.

Константинополь был тогда захвачен крестоносцами, и Никея, сохранившая независимость, снискала себе славу второй столицы. В Никею стекались искусные художники со всех концов Византии.

Мог побывать Варпет тогда и в самом Константинополе. Пусть город был разграблен крестоносцами. Но ведь продолжали жить на стенах его соборов и церквей чудесные фрески, мозаики. Там собиратели произведений искусства могли показать ему рукописи XI—XII веков с миниатюрами, высоко ценимыми его собратьями и им. Миниатюры, вобравшие в себя вкус, мастерство и дух византийцев. И он, наверное, задумывался, сравнивал, сопоставлял. Однако давайте остановимся на мысли, что странствует он после 1261 года. Михаил Палеолог освободил Константинополь от крестоносцев. Он стремится вернуть своей стране престиж мировой державы. Вновь устраиваются пышные празднества, церемониалы. Палеолог восстановил дворцовый скрипторий...

И вот корабль везет его к новым берегам, странам. Дороги — длинные, тропы исхоженные, узенькие и снова корабль, волны... Фрески, изваяния, книжные миниатюры...

Земля под солнцем полыхала вспышками, разгораясь все ярче. Впечатления переполняли, мелькали радугой. И что-то ожидалось впереди — неведомое, манящее... Земля, о которой часто рассказывали франки-крестоносцы. Но не всему верилось: высокомерные вояки любят прихвастнуть.

Здесь люди самые разные. Рядом с богатыми снуют нищие, бездомные бродяги, ковыляют калеки. А земля прекрасна.

Мягкие чистые краски, сочные луга, холмы, одетые в зеленые леса и кустарники. Могучие, высокие, вклинивающиеся острыми куполами в небо соборы. Утром они окутаны опаловым светом. В ясный день небо становится благородно-голубым. И краски здешних художников таят в себе оттенки их неба и земли.

Соборы приковывают внимание еще издали. А вблизи различаешь тончайшую резьбу дверей, стен, наличников, колонн. Из ниш выглядывают химеры, лики святых, на витражах мерцают глаза богоматерей. Чистые, сверкающие краски витражей не могли не повлиять на французских миниатюристов, чьи излюбленные тона чисты и праздничны. Как в тех рукописях, что привезли отсюда в Ромклу. Особенно запомнилась одна из миниатюр — «Христос с учениками»: будто в чашу серебряную налито озеро, а вокруг олеандры, кипарисы и двенадцать учеников сидят на берегу, слушая своего учителя. Фигуры Христа и учеников удлинены, как и храмы французов. Высокие, со множеством шпилей, часто расположенных рядом острым частоколом — будто многоголосая песня с переливами.

Но почему так продолговаты дома, соборы и дворцы, изваяния и фигуры на пергаменте, фресках, мозаиках? Орнаменты из пышных цветов, вокруг которых торчат остроконечные листья, жесткие, будто вырезанные из жести. Розы, фиалки, пинакли, резные кафедры, исповедальни, скамьи и пюпитры, чаши, вазы и бокалы, стрельчатые арки окон, порталов, своды храмов — все тянется ввысь, уводит воображение человека к небу. Жесткие, словно орнаменты, жестковато-четко обрисованные фигуры напоминают о людях, закованных в латы, нагрудники, панцири, шлемы, изготовленные из миланской или дамасской стали, прочной и твердой.

Трудно даже сказать: что привлекает в этом искусстве? Но ведь готика все заметнее стала влиять на произведения киликийских художников. Необычное, увлекательное, увиденное у франков, открывает перед воображением новые черты этих заморских жителей. Как и их привычки, их рыцарские турниры. Но влияния эти не имеют глубоких корней и не могут пустить побегов. Они лишь привлекают как что-то новое, необычное. Однако даже заимствованное становится з Киликии пышнее, цветистее, ближе к родной земле в ее краскам. Земля франков...

Поля, реки, моря, булыжные улочки Европы, глаза людей, их разговоры и молитвы, луга и пастбища. Хочешь почувствовать их солнце и небо, взглядеться в соборы, дворцы, письмена...

Скрипит повозка, слышны неторопливые шаги, издали доносится скорбная мелодия. Что это? Хоронят война? Отец и мать, потерявшие сына, безучастно глядят на горящие свечи. Убитые горем, но не выражающие чувств, словно окаменелые, они непонятны ему, армянину. Он видит вокруг много лиц, и взгляд художника цепко ухватывает их черты, выражения. На городской площади сжигают еретика, совсем еще юного, с испуганными глазами. От него требуют покаяния, а он молчит. Рядом стоят инквизиторы, монахи доминиканского ордена. На их белой одежде изображена собака с пылающим факелом в пасти. Убежать бы от этого подальше, забыть. Но в ушах стоит треск поленьев. Медленно извиваются языки пламени. Что-то проносится перед взором, расплывается, исчезает и появляется вновь. Мир словно зашатался со всеми своими понятиями о добре и зле. Одни сжигают именем Христа, другие умирают, произнося в пламени это святое имя. Бог сотворил людей, но, видимо, в каждой стране, где побывал он, свои страсти и свой Христос.

Дороги, прямые и извилистые, горные и равнинные, каменистые и песчаные... Позади города и села, выжженные солнцем пустыри и заброшенные берега. Средь белых раковин и разноцветных камней останки галер и челнов. Навстречу несется шум ветров, журчат ручейки. Где-то в воздухе слышатся резкие крики морских птиц...

Вдали виднеются серебристые очертания гор, темнеют башни монастыря. Потом начинается кудрявая заросль виноградников, кусты гнутся под тяжестью янтарных гроздьев, а дальше — фруктовые деревья, а еще дальше — зеленые луга, местами покрытые коврами цветов.

— Сеньор, ты говоришь по-итальянски? Но твой выговор и одежда...

Шумные, жизнерадостные города. Среди крыш дворцов и домов вырастают купола церквей. Как в стране франков. Но храмы здесь самые разнообразные — есть влияние Востока, Византии, у каждого города-государства свое лицо...

Боже, как много впечатлений! Аркады одна за другой раскрывались вдали среди широких площадей. На углах фонтанов и в углублениях стен ангелы и божества, бренчат гитары и мандолины, мелькают камзолы и плащи. Соборы с тоненькими колоннами аркатур, могучие колонны сводов, сливающиеся в стрельчатую арку, древние здания сенатов с угрюмыми и узенькими окнами, расположенными друг над другом. О, хочется запечатлеть эти дома на пергаменте!

Изваяния и росписи Христа, богоматери и пророков запоминаются четким контуром, твердой линией. Думается: «Искусство и здесь, как у нас, не гнушается жизнью. Да и люди здесь чем-то похожи на наших — та же живость, резвость и та же смышленость». То же видишь в кипучих, оживленных портах, тавернах, полных веселья и музыки. Похоже и небо своей голубизной, часто отливающее золотым блеском, и море изумрудно-голубого цвета, и некоторые храмы схожи своей обычной массивностью.

Развалины древнего Рима... В грудях колоннад, карнизов и архитравов мраморных плит с надписями запечатлено время, оставившее столь могучий след в сознании человечества.

Есть в них и что-то угрожающее. Растрескавшиеся камни напоминают не только о стройных красноречивых римлянах, их пышных дворцах и богатых библиотеках, но и об их легионах, безжалостно терзавших города и страны.

Быть здесь и не побывать в скрипториях нельзя. В рукописи трехсотлетней давности — «свитки ликования» — длинные и узкие пергаменты. Свитки расписаны фигурами людей, орнаментами, заглавными буквами, расписаны с чувством цвета и меры. Но в Киликии пишут по-другому — живописнее и тоньше.

И вот перед глазами мосты, арки, акведуки, мраморные головы богинь, рельефы, купола дворцов и церквей, чудесные иконы, драгоценные мозаики. Споры и размышления на площадях сопровождаются выразительными жестами. По улице движется процессия монахов. Ока приближается к монастырю и исчезает за его потемневшими стенами. В Киликии такого не увидишь...

Странствия продолжаются. Впереди...

Вот он, божественный город Константина! Издали видны его высокие стены и башни, богатые дворцы и величавые церкви. В порту корабли и галеры со всех концов света. Тот, кто видит Константинополь впервые, потрясен — трудно поверить, что на свете есть такой город! Над «Золотыми воротами» его — бронзовые изваяния богинь, огромные дротики, будто слились воедино могущество и искусство. Разным бывает Константинополь — царь городов, — увидеть и познать его стремятся люди из многих стран. Манят богатство и роскошь, искусства и празднества. Статуи, барельефы, камни разных стран и времен, возникающие то здесь, то там, во всех уголках города. Тут и Эллада — беломраморные статуи, доставленные со всех концов империи, и восток со всей своей роскошью и многокрасочностью. Стремясь к величию, Константин украсил площади вечного города лучшими изваяниями и памятниками, вывезенными из разграбленного Рима.

Да, это чудо! Невообразимый город! Все лучшее, сотворенное в Византии, связано с ним. Здесь зарождались стили и течения. Отсюда они распространялись по миру.

«...Есть в Константинополе примыкающий ко дворцу дом, размеров и красоты несказанных. Его Константин воздвиг так: бронзовое и позолоченное дерево стояло перед тронном царя, на ветках дерева — множество отлитых из бронзы и позолоченных птиц, каждая из них пела на свой лад. Трон царя был так устроен, что мог подниматься и опускаться. Его охраняли необычной величины львы, только бронзовые или деревянные — мне неизвестно, но во всяком случае, позолоченные. Они били о землю хвостом, раскрывали пасть и, двигая языком, громко ревели. Здесь именно я предстал перед очами царя. И когда при моем появлении начали рычать львы и птицы на ветках запели, я преисполнился страха и удивления. Приветствовав затем трехкратным преклонением царя и подняв голову, я узрел того, кто перед тем сидел на небольшом расстоянии от пола, восседающим уже в ином одеянии под самым потолком. И как это произошло, я не мог объяснить...»

Читал он это в рассказе епископа Кремонского Лиутпранда или видел сам, воочию?

Поблескивает царский дворец люстрами и канделябрами, золотыми цепями и венцами, усеянными камнями; сверкают драгоценности в императорских сокровищницах; все это показывают знатным гостям, они поражены, ослеплены блеском. Храм Святой Софии ослепляет убранством и грандиозностью, освещением, приковывающим уже издали взгляды моряков.

Пышные крестины, обручения, свадьбы, ломящиеся от яств столы, игры и представления; гости съезжаются на торжества на лучших своих конях и мулах, в богато разукрашенных колесницах; бега, ипподром, пестрая толпа, рукоплескания, победителей ожидает торжественное чествование — литра золота; здесь же, на ипподроме, после бегов выступают акробаты, шуты, певцы, фигляры, музыканты, мимы; знать продолжает веселье в своих покоях, где ожидают гетеры, льется рекой вино.

Вот он, город истинной красоты, непреходящих ценностей и... показного величия. Город великих памятников и храмов, ремесел, монастырей и ученых аскетов, мудрствующих аристократов, знаменитых риторов и просвещенных писателей. И вокруг церемониалы. Бесчисленные переодевания, ритуалы, молебны. Даже императору приходится вставать в самую рань, чтобы успеть проделать все торжественные выходы, присутствовать на коленопреклонении и славословии придворных. Он, самый могущественный из всех правителей, восседает на золотом троне в окружении самых знатных и образованных мужей своей империи. Только несколько избранных могут сидеть рядом с императором, все остальные должны стоять, впрочем, они вправе отдыхать на коленях, возлежать на полу. Одного лишь присутствия василевса достаточно, чтобы почувствовать себя безмерно счастливым.

Рядом с императорским тронном пустует другой трон — царя небесного. Император — как божество. Его поступки и действия освящены. Его торжественные выходы напоминают религиозные ритуалы. Толпы встречают его исступленными возгласами восторга, улицы разукрашены. Имя императора обрамлено венком эпитетов — христоробивый, равноапостольный, наибожественный, благороднейший, великодушный, мудрейший.

Но от удара в спину он тем не менее не застрахован, и умирает божество тоже самой обыденной земной смертью. Но живет он как истинное божество. И пока он жив и является им, ничто в империи не в силах перечить его воле. Именно он — наместник бога на земле, — а не патриарх — глава православной церкви. Наместнику бога нужно иной раз показать свое смирение, и он его показывает.

В великий четверг, в храме Святой Софии, один за другим подходят к нему двенадцать самых бедных, самых несчастных жителей столицы. Изможденные, сгорбленные старцы, исхудалые, бледнолицые юноши, увядшие женщины с потухшими глазами. Серебряные сосуды наполнены святой водой, и божественная рука самого смиренного человека на земле, смиренного из смиренных и могущественнейшего из могущественных омывает их ноги...

— Нет, не это... Мне близко другое...

Церковь заполнена паствой, льется музыка, звенят литавры, и звучный голос с амвона извещает люд о скором пришествии Сына человеческого. А он везде.

В стенных росписях, на мозаиках над порталами, в рельефных изображениях — пред алтарем, у входа в храм, меж бесчисленных икон... «О боже, ты не покинешь нас...» Здесь все говорит о нем — литургия, песнопения, запах ладана и фимиама, росписи. Но почему так исступлены лица верующих?

Могучие своды храма, мерцающие свечи, иконы с изображениями Христа, Марии, апостолов, утварь серебряная и золотая — все уводит душу верующих к небесам, в мир божественной красоты, чтобы человек расстался со всем земным, освободился от уз тела. И глас пастыря приказывает: «Есть в нетленности нашего духа нечто радостное. И так как Он воскрес, то будет и наше воскресение. Его не подвергнутое тлению тело станет причиной нашей нетленности...»

Громким эхом разносится голос пастыря по храму. Но почему так исступлены лица верующих?..

Все, все уводит к небу. И все, что стремится туда, невесомо, лишено жизни. Бесплотны тела, здания одеяния, люди на изображениях, их тени. Тянутся кверху взоры святых. Легкие, неустойчивые шаги не в силах удержать человека на земле, краски неземные уводят святых от здешнего мира. Взгляды их необычны. То поблескивают неистово глаза, то замерли они в неведомом ожидании. Непонятное сочетание: страсти и холодная сдержанность. А разве не близко это самой византийской жизни?.. Разве не эту исступленность, неистовство находишь на лицах, когда молятся перед алтарем, слушают проповедь, когда пастыри призывают верующих в тот, потусторонний мир. Не эта ли холодная сдержанность, надменность, улыбка, полуироническая, полувысокомерная на лицах, — все, все, незримо, скрыто — когда стремятся досадить, стравить, столкнуть государей, народы, предаться славословию, изощренным наслаждениям, блеснуть превосходством, роскошью. Удивительные нравы, удивительный, могучий и непонятный город...

— Хитер ты, армянин.

— А ты?

— И того больше.

— Тогда почему мы такие разные?

— О, хитрость наша другая. Это скорее — тонкость, мудрость. Погляди на фрески наши, мозаики, книжные росписи — разве не чувствуешь?

— Умения великого у вас не отнять, но мы другие. У нас свое.

— Да. Мы — избранные, и господь возложил на нас великую миссию. Мы — потомки эллинов и наследники римлян — всегда возвышались над остальными.

— У вас своя жизнь, у нас — своя.

— Все страны мира мечтали бы походить на великую Византию.

— Мы всегда умели воздавать должное и вам, и вашим предкам. Ты, наверное, знаешь, как чтят у нас Аристотеля и Гомера. Но мы всегда оставались самими собою, грек. И если заимствовали у вас, то только близкое себе, да и то воспринимали это по-своему, переосмысливали на свой лад. Не все, признанное вами, нам близко...

— Что ты хочешь сказать этим, армянин?

— Многие из того, что ты называешь тонким и мудрым, мне часто непонятно и даже... чуждо.

— Вот как!

— Кажется надуманным и неестественным, Я смотрю на ваши фрески, росписи, вижу большое умение, тонкость мастера, но мне чужда в них изощренность чувств, мистика, доходящая до экстаза...

— Может, выскажешься яснее?

— Художники ваши стремятся подавить зрителя...

— Чтобы погрузить его в созерцание. Только так можно проникнуть в высший дух, вкушать вечное блаженство. Росписи должны возносить человека из мира земного к небесам.

— Но ведь сотворил землю бог.

— Ересь городишь, армянин. Мне, византийцу, не понять тебя. Не затем мы родились, чтобы погрязнуть в земной обыденности. И даже править миром для нас, ромеев, не главное. Мы избрали для себя гораздо большее — служение небесное. Оттого мы такие одухотворенные и тонкие. Тебе нас не понять...

— И даже не в этом дело. Ты гордишься гением ваших художников, и гений их, прежде всего, в том, что сумели они передать в своих творениях образ мыслей и чувств ромеев. Мне этих мыслей и чувств не понять. В них что-то от ваших громоздких церемониалов, склонности ваших патрициев к напыщенным выражениям, их желания придать важность и значение таким вещам, которые того не заслуживают. Заказчики — обычно патриции, и, заказывая, они ищут в изображениях то, что близко им.

— Знаю, чего ты ищешь. Видел твои росписи...

— Говори, говори, грек...

— Обыденности земной в них много, суетливости, что ли?..

— Мы суетимся, чтобы выжить. Нам не до пышных церемониалов или тонкости, которой ты гордишься. Каждый насущный наш день, грек, — счастливый он или нет — неотделим от тревог. И коль сотворил нас бог, дал нам рот, глаза, нос, руки и призвал всех к искренности, то мы должны передать все, что чувствуем, видим и думаем.

Человек видит, представляет... Человек сравнивает, познает... Только близкое и созвучное себе воспринимает человек. Мимо проносятся люди, города, страны. Проносятся памятники, творения веков.

— Ну, познал ты мир?

— Не так это просто...

— Так зачем же ты странствовал?

— Я нашел себя...

Но где мысли, куда влечет душа? Быть может, эти мысли возникли перед Святой Софией или Собором Парижской Богоматери, или в мастерской, наедине со звездной ночью?

Мысли уводят к рекам и морям, горным тропам, городам и селам, уводят только туда...

Где горы величественны и суровы, где небо лазурно, а солнце беспощадно палит. Где горные ручьи дарят людям прохладу, а храмы, ристалища и амфитеатры напоминают о прошлом. И уже там, у освященного клочка земли...

Встать бы на колени и прижаться грудью к этой могиле, крепко ее обнять. Странствия приводят к клочку земли, заросшему травой и цветами.

Наверху висит большая луна. Она льет свой свет на могилу. Замерла ночь. В тишину врываются далекие звуки. Здесь, наедине со своими мыслями чувствуешь себя спокойным и счастливым. Божественный Маштоц, создавший алфавит, буквы! Это благодаря тебе возникли письмена, летописи, хранящие народные думы и чаяния. У твоей могилы склоняются головы, замирают сердца, твое надгробие, как святыню, чтит каждый армянин.

Приближаются звуки. «О, дивные, достохвальные письмена! — слышится издали. — О, изумительные знаки, великолепно очерченные! Героическая ступень нашего подъема, непознанная и познанная, близкая и далекая!..»

Откуда доносятся эти звуки? Не из земли ли, вобравшей в себя радости и страдания? Или это гласят древние рукописи, их буквы, безгласные и несмолкаемые? Они напоминают, рассказывают, доносят далекие голоса, пробуждают в памяти близкие образы, возникшие на этой земле. Да, здесь многострадальность, впитавшая слезы предков, познавшая их радости и победы. Вот где кончались странствия.

ГУНДСТАБЛЬ

Но не в странствиях одних и не в одних творческих муках, поисках зрели взгляды, вкусы и мастерство варпета Тороса. Рядом с ним было немало больших, одаренных личностей, и общение с ними, несомненно, оставило след в его творчестве.

Жил на той киликийской земле человек. Он одинаково уверенно держал в руке и меч, и перо. Еще юношей обратил он на себя внимание ученостью и большим дарованием. Еще юношей сражался он за отчизну и отличался храбростью.

Киликия, ты славилась людьми, богатыми разными талантами. Но даже среди них он выделялся особо.

Написанные им свод законов и летопись страны и времени — важнейшие памятники эпохи.

Став во главе войска киликийского совсем молодым, он командовал им до конца своих дней. История помнит ряд блестящих побед, одержанных им на поле брани. Но, надевая доспехи, перед сражением он всегда думал о том, когда сменит их на хитон.

А мирные утра он встречал с пером, погруженный в раздумья. Чтобы продлить мир на своей земле, ему не раз приходилось пускаться в дальние странствия, вести переговоры с правителями других стран. Известного победою полководца, дипломата, историка, юриста, поэта, переводчика, владевшего несколькими языками, высоко ценили и европейцы, и монголы.

Он чтит искусства, заказывает чудесно расписанные евангелия. Поэзия перекликается в его сознании с чем-то величественным. Может, потому на непреступных стенах крепостей он выбирает свои стихи...

Он пал в сражении с египетским султаном в 68 лет. Говорят, внезапное нападение численно превосходящего врага внесло в ряды армян смятение, но бесстрашие полководца вернуло войску боевой дух. Его современники напишут: «Воины, которыми командовал престарелый Смбат Гундстабль, сражались, как львы, мечи их сверкали, как молнии, пыль заслонила лучи солнца, а войска Смбата мужественно стремились к победе».

Да, он прожил достойную жизнь и умер, как настоящий мужчина. Меч, пронзивший грудь Гундстабля, обогрел кровью пергаментные листы с его стихами, которые он всегда хранил под кольчугой у сердца.



орос помнил и торжественно-нарядный Сис, и почести, оказанные войску после победы над румским султаном. Он помнил, как въезжали победители в город через главные ворота, под звон колоколов и бой барабанов. Шум перекрывал стук копыт...

Воинов встречали со знаменами и крестами. Из окон домов свисали гирлянды цветов. Толпы горожан приветствовали их словами благодарности и любви, и воины отвечали

улыбками, хотя были изранены и с трудом скрывали боль. Многие из них потеряли друзей и родных и проклинали про себя все на земле, но их приветствовали, и они пытались улыбаться.

Впереди, на белом коне ехал царь Гетум. Он отвечал на приветствия улыбкой и кивками. Справа от него ехал его отец — Константин Пайл, слева — старший брат Смбат Гундстабль. А следом за ними — остальные братья: Константин — владетель Негара и Бардзрберда, Василь — архиепископ Сиса, Ошин — владетель Корикоса и Маниона, Никос — сенешаль, Ованес — архимандрит Сиса, Левон — князь князей, маршал. «Добро вам, отец и сыновья, — подумал Торос, — добро вам, умеющие мудро, без распрей править страной».

Торос поклонился Гундстаблю, когда тот поравнялся с ним. И потом провожал долгим взглядом удаляющуюся фигуру полководца, пока она не исчезла за лесом копий, щитов и мечей, под звуки подков, глухо стучавших по мостовой...

Повсюду в городе говорили о победе. На перекрестках улиц, площадях, у входов в церкви люди подходили друг к другу, поздравляли, целовались, передавали рассказы о битве. Из открытых окон домов, соборов, замков доносились запахи благовоний; под горящим солнцем сверкали и переливались кресты и купола, плоские кровли крыш. Из церкви Григория Просветителя доносились звуки торжественного песнопения. На улицах люди подхватили его вдохновенный напев.

Торос пошел в таверну. Словоохотливый хозяин, генуэзец, угощал гостей вином, жареным мясом и приправами. Художник застал там много народу, было шумно, тесно, и он хотел уйти, но кто-то окликнул его: «К нам, к нам, варпет Торос, окажи честь». — Какой-то мужчина, судя по одежде, из мастеровых, встал, уступая ему место.

— Я на минутку...

— Нет, нет, варпет Торос, окажи честь.

Торос поклонился и подсел к столу. Кто-то подвинул к нему чашу, полную вина.

— До дна, варпет Торос. За победу!

Торос кивнул головой и осушил чашу. Прерванная беседа возобновилась.

— Продолжай, — сказал мастеровой сидящему напротив пожилому мужчине. — Варпету тоже интересно послушать.

Торос одобрительно кивнул головой.

— Дальше? О, дальше, — рассказывал пожилой мужчина, — все обернулось против неверных. Овсеп, оруженосец парона Ваграма, сказал мне, что он и представить не мог такого неожиданного исхода. Все случилось быстро. Канцлеру нашему, Ваграму Рабуни, пришлось очень туго — неверные окружили его со всех сторон — Гундстабль наш, да благословит его господь за бесстрашие, кинулся на помощь. Несколько неверных тут же отдали богу души от его копья. Потом, спасши канцлера, он кинулся спасать других, отбиваясь щитом от мечей. Его бесстрашие вело за собой воинов, и вскоре враг побежал. Гундстабль со своими храбрецами гнал его до самого лагеря...

Пожилой мужчина кончил свой рассказ. На миг все умолкли. С улицы доносилась праздничная музыка.

Кто-то из собравшихся крикнул:

— За победу! За нашего доблестного Гундстабля!

Тост подхватили. Десяток серебряных чаш сдвинулись над столом.

Впервые Торос увидел его, когда был совсем молодым. Слух о скором прибытии Смбата Гундстабля облетел всю Ромклу. Говорили, что он заедет сюда, возвращаясь от монгольского хана, который оказал ему достойный прием и отправил на родину с охранными грамотами.

А вскоре под своды ворот въехал конный отряд. Впереди на вороном коне скакал человек в шлеме, походном плаще и стальном нагруднике. Стража католикоса приветствовала его радостными возгласами и поднятыми к небу мечами. Отряд пронесся по раскаленным камням крепости, мимо храма Святого Спасителя, потом, повернув влево и миновав кузнечные мастерские, вышел к резиденции католикоса.

Не успев как следует отдохнуть, Смбат пожелал познакомиться с новыми произведениями художников. Четыре года отсутствовал Гундстабль, и ему не терпелось увидеть, что сделали мастера Ромклы за это время.

Поклониться воину, покровителю искусств, пришли все художники. Гундстабль приветливо здоровался с каждым. В этом была не снисходительность государственного мужа, а уважение знатока искусства к творцам красоты.

А спустя немного времени стол, за которым сидел Гундстабль, оброс кипами книг.

— Левон! Как живой, — воскликнул он, обнаружив на странице одного евангелия, расписанного варпетом Киракосом, портрет племянника.

Все молчали в ожидании.

— Варпет Киракос, — позвал он маститого мастера Ромклы.

Киракос, шагнув вперед, поклонился.

Смбат показал кивком на роспись и вопрошающе посмотрел на художника.

— Тебя, повелитель мой, интересует, почему портрет не похож на остальные росписи евангелия?

— Догадлив ты.

— Его писал не я, а ученик мой, Торос Рослин.

— Торос? Какой Торос?

— Вряд ли ты слышал о нем, господин мой. Он совсем еще молод.

Гундстабль удивленно поднял брови.

— Молод? Но здесь зрелое умение!

Гундстабль заметил оживление, все посмотрели в сторону окна. Там, рядом с варпетом Ованесом, стоял молодой художник. Он почтительно поклонился Гундстаблю.

— Не он ли Торос? — спросил Смбат у Киракоса.

— Да, повелитель мой.

Торос шагнул вперед и остановился в нерешительности.

— Подойди поближе, — улыбнулся Гундстабль. — Такого парня я взял бы в телохранители.

Все засмеялись. Торос тоже.

— Хочешь служить у меня?

Торос понимал, что Гундстабль шутит, и не знал, что ответить.

— Велика честь... Но я художник...

— В этом я убедился.

Это была их первая встреча. Потом они встречались не раз.

После каждого успешного боя Гундстабль возвращался в Сис и собирал у себя мыслящих и одаренных людей. Каждый, кто бывал в победный день в Сисе и пользовался благосклонностью полководца, становился его гостем. Это были самые разные люди — поэты, философы, художники, врачи, зодчие, космографы, риторы. Многие из них приходили сюда со своими научными трудами, стихами или книжными росписями. Здесь можно было встретить не только ученых и творцов искусств, но и просто интересных собеседников — посланников и купцов, побывавших в десятках стран, знатоков и собирателей живописи, нумизматов, магов, оракулов, снискавших себе известность красноречивых спорщиков.

Тот, кто рассказывал что-нибудь или возражал остальным, поднимался на кафедру в конце зала, напротив кресел, расположенных рядами. По обе стороны кафедры, лицом к залу стояли кресла для хозяина и гостей самого знатного происхождения. Там нередко сидел сам царь Гетум.

Тот, кто блистал остротой мысли или талантом, мог также сесть на почетное место рядом с Гундстаблем.

Приглашенные приходили в точно назначенное время. Приемная зала и на этот раз мгновенно заполнилась людьми. Слуги не успевали принимать плащи и накидки. Вскоре все расселись по местам.

Со многими из них Торос был знаком лично. Многих узнавал — вот богословы из Дразаркского монастыря, один из них — отец Погос — часто приезжает в Ромклу, почитает книжную живопись; вот два сисских сочинителя шараканов и кцурдов, два царских зодчих — Самвел и Азат; молодые поэты, пока еще не известные, но уже пользующиеся милостью Гундстабля...

Среди гостей было много художников Сиса, а также тех, кто приехал в столицу за пергаментом и красками, тех, кому надо было встретиться с заказчиками, некоторых же влекло желание увидеть воочию Гундстабля.

Люди эти в большинстве своем проводили дни, а нередко и ночи, за пергаментным листом, в одиночестве, и теперь были рады общению, небольшой передышке — художники из Скевры и Дразарка, Мугни и Акнера.

Они отвешивали варпету Торосу почтительные поклоны. Он улавливал в их лицах приветливость и радушие, уважение, почтительность, а иногда скрытую зависть и холод. Но больше было почтительности и поклонения. Любовь к искусству, душа художника побеждали в них зависть, злобу. Им, конечно, было обидно — ведь задолго до того, как прославилась Ромкла, скриптории Скевры и Дразарка пользовались наибольшим почетом среди любителей книжного искусства. Теперь же лучшие книжные иллюстрации создавались там, у берегов Евфрата, даже не в самой Киликии. Пусть недалеко, но не в Киликии. С горечью думали художники Скевры и Дразарка об увядшей славе своих скрипториев, ни на минуту не забывая о том, что они потомки великих предков. Но как бы там ни было, они гордились Ромклой, ее художниками, и в первую очередь варпетом Торосом. Когда забредший в тамошние края путник, в особенности, если это оказывался франк или ромей, восхищался их живописью, они восклицали: «Что мы, все лучшее — в Ромкле: там варпет Торос!»

Все приглашенные были уже в сборе, когда появились Смбат Гундстабль, его брат, епископ Ованес, и канцлер Ваграм Рабуни.

Высоких вельмож встретили радостными возгласами. Гундстабль приветствовал гостей, высоко подняв руку, затем занял свое место. Справа от него сел брат, слева — канцлер.

Правая рука канцлера, обмотанная соболиной шкурой, была подвязана. Однако считали, что в последнем сражении с неверными канцлер довольно легко отделался: ведь несколько стрел просвистели совсем близко над его головой, а одна даже чуть задела ухо.

Повелительный жест Гундстабля — и в зал вошли музыканты и хор певчих. Раздался протяжный голос, его поддержал весь хор. В песне воздавалась хвала победителям.

Когда певцы кончили, Гундстабль наклонился к канцлеру и что-то шепнул, тот кивнул головой в знак согласия.

Обычно высокие гости говорили с места. Но канцлер поднялся на кафедру. Этим подчеркивалось особое уважение к собравшимся. Его поступок был оценен — ему громко зааплодировали.

— Мы снова здесь, — сказал канцлер, — и давайте опять вместе поразмышляем, расскажем друг другу о том, кто что знает, послушаем, посоветуемся.

Раздались возгласы одобрения. Кто-то громко сказал:

— Тогда сначала лучше услышать тебя, благородный муж. Ты на кафедре: ты и говори.

— Хорошо, — Рабуни на миг призадумался. — Вы все знаете меня как философа, но у меня созрело желание написать историю нашей светозарной Киликии, рассказать о врагах ее и лучших ее людях, а также о тех, кто, предавшись чревоугодию и наслаждениям, забыл о сыновнем долге перед отчизной. Пусть знает грядущее поколение, кому воздать хвалу и кого предать анафеме...

Он говорил о том, что единство нужно, как воздух, особенно в те минуты, когда на карту поставлена судьба страны, ее будущее. Да, именно там, на поле брани, каждый показывает, чего он стоит, выказывая свою преданность кресту, царю, отчизне, именно там решается, быть или не быть учебным заведениям Тарса и Сиса, портам Айяса и Корикоса, скрипториям Ромклы, Дразарка и Скевры. Ведь дрогни войско — и все рухнет, сравняется с землей...

Канцлера уважали за ученость не только в Киликии. Признание принесли Ваграму Рабуни его комментарии к трудам Аристотеля, Порфирия, Григория Нисского, псевдо-Дионисия, Ареопажита, псевдо-Аристотеля и знаменитого предка, армянского философа Давида Непобедимого. Его слушали внимательно.

— Наш завтрашний день зависит от благочестия, праведности, и главное, единства нашего, — закончил канцлер.

Ему долго аплодировали.

— Слава канцлеру!

— Именно благочестие и праведность!

— Только единство...

Один за другим поднимались на кафедру ораторы. Рассказывали о новых богословских и научных трудах, о предвидениях и чудесах, о новых вестях с полей сражения. Франки уступили в бою неверным, все труднее становится ромеям, монголы одержали еще одну крупную победу, в Константинополе построили новый храм...

Ораторы часто обращались к залу. Когда выступавший доходил до самой сути, он поворачивался к Гундстаблю и его высоким гостям. Оттуда или кивали в знак одобрения или слушали безучастно. Бывало, слова с кафедры вызывали недоумение Гундстабля и сидящих рядом вельмож. Они пожимали плечами, разводили руками, качали головой, могли резко остановить оратора, вступить с ним в спор.

На этих встречах все чувствовали себя свободно. Иногда звучала ирония и укор. Ораторов закидывали вопросами, иногда это даже походило на допрос.

Все старались держаться вежливо, соблюдать правила светского тона: обращения часто сопровождалось эпитетами «благородный», «благочестивый». Но в порыве гнева или негодования иной забывался, повышал голос, обзывал нелестными словами. И тогда повелительный жест Гундстабля восстанавливал спокойствие.

Вот слуги вносят в залу огромную серебряную вазу, местами покрытую голубой эмалью, два золотых подноса с чудесной резьбой. Предметы эти оказались среди добычи, захваченной Гундстаблем в последнем сражении с неверными. По закону все золото и часть серебра принадлежали царю, но тот уступил все это брату, зная его большую любовь к искусству.

Когда вазу и подносы поставили на высокий постамент, раздались восторженные возгласы. Несколько человек привстали с мест.

— Подумать только — сотворили неверные!

— Вздор! Это сделал ромей или франк! Неверный захватил. Он только это и умеет.

Кто-то возразил:

— Нет, нет, не совсем так. Есть и у них искусные мастера.

— О, господи! Лучше изготовляли бы вазы, а их тянет грабить!

Какой-то молодой человек, незнакомый Рослину, поднялся на кафедру и рассказал о своем недавнем пребывании в Икони, где видел чудесные изделия из бронзы и меди. Что эти по сравнению с теми, их там много, всего не перескажешь.

Одних слова его поразили, другие просто не поверили.

Затем познакомились с книжными росписями художников Сиса. Слуги приносили гостям расписанные листы на подносах. Епископ Ованес, могущественный покровитель сисских миниатюристов, художник и писец, не спускал глаз с варпета Тороса, разглядывавшего миниатюры.

Но варпет, ознакомившись с миниатюрами, так и не сказал ничего.

Тогда епископ сам обратился к нему:

— Твое мнение, варпет Рослин, — епископ в упор смотрел на коллегу.

— О, аркаехпайр! — воскликнул тот. — Всего сразу не скажешь.

Он обязательно скажет все, что думает, но сделает это не при людях: замечания его могут спугнуть, надолго отбить охоту писать, может помешать и похвала. Лучше он поговорит отдельно при встрече или после собрания.

Молодые художники Сиса с нетерпением ожидали мнения варпета. Епископ смотрел на Тороса выжидающе. Выручил Гундстабль:

— Чувствую, варпет Торос хотел бы высказаться потом, наедине.

Ованес понимающе посмотрел на брата, потом на Рослина.

Гундстабль откинулся на спинку кресла, глаза его были полузакрыты — он отдыхал, вернее, наслаждался отдыхом. Он видел вокруг канделябры, мраморные колонны, роскошные хитоны и пояса, сосредоточенные, радостные или негодующие лица. А всего лишь несколько дней назад было другое — стоны, крики, разорванные шатры, окровавленные люди и кони...

Каждый раз, возвращаясь домой, он старался забыть обо всем этом и все же помнил, хотя знал, что ужасы эти позади.

По обычаю, у себя во дворце он выступал последним.

— Благочестивые ученые мужи, народы Киликии, — обратился он к гостям. — Два дня тому назад мы задыхались в дыму неприятельских огнеметных орудий, а сейчас сидим вместе во дворце моем, каменном, прочном, и кажется, что никакие напасти не в силах свергнуть нас снова в пучину бед.

Его слушали не шевелясь, с благоговением. Пожалуй, никто в Киликии не был так почитаем, как Смбат Гундстабль.

Да, он счастлив видеть вокруг себя мудрейших и одареннейших мужей, да, он полон замыслов — ученый, возвращающийся с поля битвы, горит особым желанием поработать, но сейчас ему не хотелось бы говорить о своих замыслах, ему приятнее послушать других.

— Тогда, может, расскажешь о сражении, — сказал летописец Паркев. Он был очень стар, с трудом передвигал ноги, но тем не менее пришел.

— Чту твою мудрость и седины, старый Паркев, — сказал Гундстабль, — но я устал.

— Тогда, может, скажешь, о чем ты думал перед сражением, — настаивал старик, — каждое слово, каждая мысль твоя нужны истории...

Гундстабль улыбнулся:

— Доселе я не попадал в плен. Теперь, вижу, попал.

Он сказал, что быть воином, командовать доблестными киликийскими войсками — для него большая честь, но истинное призвание его — быть ученым. О, там, на войне, где разрушают и жгут, еще глубже познаешь благо мира. Едва остыв после выигранного сражения, он мечтал о мирном дне. Так и представлял — сидит у себя во дворце, рядом с мудрейшими мужами Киликии.

Суровое, усталое выражение исчезло, глаза Гундстабля теперь были мечтательны.

— Завтра, — говорил он, — я поеду в свой Паперон. Горный воздух, в небе орлы и ястребы, и небо словно поднимается еще выше. Сейчас там расцвели деревья, пахнет горными цветами. О, какое наслаждение сидеть в саду или перед распахнутым окном, в руках перо, мысли осаждают тебя...

Прием во дворце Гундстабля продлился до полуночи.

А ночью забил тревожный набат. Одни говорили, что опасность не столь большая, что границу нарушили всего лишь зарвавшиеся наглецы, разбойники, рыщущие у иконийских границ, Гундстабль скоро победит их и вернется; другие утверждали: это сельджуки переоделись, чтобы сбить с толку...

Войско киликийское двинулось навстречу врагам, когда город еще утопал в ночном мраке. Прежде, чем отправиться навстречу судьбе, Гундстабль помолился. Он просил у господ не победы, не удачного исхода.

— Одного прошу, — шептал он перед алтарем, — изголодался по миру. Дай солнце, спокойствие и чтобы цвели деревья и цветы. Дай силу воспеть мне это...

КЕРАН



ще одну победу одержали киликийцы над Иконией. Врагу не удалось нарушить длившегося уже много лет спокойствия в стране. Стояли теплые осенние дни 1261 года. И варпет Торос, быть может, как никто, наслаждался прелестью этой мирной осени.

Деревья и травы снова ожили, солнечные лучи стали ярче, огненнее. Все менялось на глазах, и во всем проступала новая или дотоле не замеченная красота.

В один из таких дней его позвали к католикосу.

— Радость ожидается большая, — сказал Константин. — Вся Киликия будет ликовать. Женится наш доблестный престолонаследник. Хочет подарить невесте в день свадьбы новую рукопись и хочет, чтоб украсил ее ты. Я тоже желаю этого. Ты видел его невесту? Дочь Гетума Себастоса, Керан. Славится благочестием, да и красотой превеликой наградила ее господь...

Видел ли он ее?

Дарбас в тот день был полон гостей — царь Гетум принимал посланника венецианского дожа. Среди золотканой одежды, украшений, доспехов, мечей, бряцания оружия, звона рыцарских шпор, среди улыбок, почтительных поклонов и настороженных глаз он сразу заметил ее и выделил из остальных. Ему показалось, что знает ее давно, хотя видит впервые. И многие в тот день видели впервые дочь князя Гетума Себастоса, хотя слышали о ее красоте. Керан редко выезжала из своего родного замка, отдавая большую часть времени изучению искусств и наук. Ни родители, ни она не спешили с замужеством, отказывая юношам из древних, прославленных семейств, франкским предводителям.

В тот вечер сотни глаз внимательно следили за ней. Она умела не замечать этого и, держась величественно, была в то же время проста. Розовые губы подчеркивали белизну зубов, черные, миндалевидные глаза мягко лучились. О, как она была хороша, как целомудренно хрупка! Он смотрел ей в лицо, следя за движением рук, губ и глаз, пытался заглянуть в тайники ее души. За яркими языками пламени лицо ее то расплывалось в розово-голубых сияниях, то обретало прежние черты. «Чем не богоматерь, — думал он, глядя на нее, — божественна и целомудренна, величественна, одухотворена». Он представил ее мысленно в разных туниках, платах, накидках, венцах. Вот она в ярко-красном, бархатном хитоне, с диадемы свисают жемчуга, а вот в легком крестьянском платье, колышущемся на ветру. Она — воплощение юности и божественной красоты.

Он навсегда запомнил ее облик и часто вспоминал его, когда писал богоматерей или праведных дев. А теперь ему предстоит украсить рукопись, которую должны преподнести ей. Но что и как написать, чтоб это было достойно княжны Керан?

По зову Левона он приехал в Сис и там узнал, что должен сопровождать престолонаследника в Ламброн, — Левон перед свадьбой решил погостить во владениях Гетума Себастоса.

— Как раз познакомишься с княжной, — сказал Левон Торосу, — чтоб портрет был похож.

На следующий день, когда Сис еще спал, князь с отрядом преданных воинов уже скакал через долину к скалистым местностям Ламброна, и сопровождал его в числе других и его любимый художник Торос Рослин.

Всадники в походных рыцарских доспехах скакали, не обращая внимания на палящее солнце, почти не делая привалов, чтобы добраться засветло. К седлам их были приторочены большие свертки — подарки князю Гетуму, его жене и детям — драгоценности, золототканые одеяния, виссон, благовония, панцири и шлемы, сбруи.

Скоро миновали угрюмые стены Дразаркского монастыря, потом потянулись светло-зеленые оливковые кустарники, вековые леса — и вот уже за спиной могучие бойницы крепости Гуглак, а еще немного погодя, под лучами заходящего солнца засверкали отроги Тавра, и кто-то радостно воскликнул: «Замок!»

Он был еще далек, но его уже можно было разглядеть. Высокая скала словно подняла замок над местностью, чтоб показать путнику величественный силуэт со всех сторон.

На звук рога сбегались крестьяне соседних деревень. Впереди стояли воины князя Гетума. В руках ламбронских воинов развевались киликийские знамена. С приближением всадников раздался приветственный клич, забили барабаны, заиграли роги. Гости пришпорили коней у крепостных ворот. Гетум со свитой приблизился к ним.

— Ты осчастливил наш замок своим посещением, — сказал он Левону.

Они обнялись и расцеловались по-родственному. Двое мальчиков в воинских одеяниях преподнесли престолонаследнику хлеб-соль и ключи от замка. А затем владетель Ламбронна позвал гостей к своему семейству, и Торос увидел ее. Там, во дворце, во время приема, она словно была неотделима от мерцаний огня, украшений, мраморных колонн. А здесь, в своем голубом хитоне и в прозрачно-дымчатом плаще она казалась сошедшей с облаков.

Левон подошел к ней и, приложив руку к сердцу, низко поклонился.

— Счастлив приветствовать тебя, благочестивая дочь князя Гетума Себастоса.

На поклон она ответила поклоном.

— Я тоже, твоя честь.

Взгляды их встретились, и Торос понял, что они приняли друг друга. Это обрадовало его — кому, как не ей сиять на киликийском троне! Левон представил ей сопровождающих его князей.

— А это Торос Рослин, — сказал он, подводя художника ближе, — живописец двора...

— Варпет Торос! — вырвалось радостно у Керан. — О, я много слышала о тебе, видела твои росписи!

— Я польщен, достославная княжна...

Но Левон перебил Тороса:

— Ты, краса Ламбронна, будешь иметь росписи Тороса Рослина, — сказал он. — И даже лучшие. А что думает варпет Торос?..

Художник улыбнулся в знак согласия.

Княжна просияла от радости.

Ему отвели комнату в верхней части замка. Звездное небо казалось где-то рядом. Не спалось. Ожившие краски, свет, тени, голоса, звуки завладели его слухом и зрением. О, он давно не испытывал таких волнений! Бесперывные видения осаждали его. Они представляли то в виде высеченных из слоновой кости колонн, то — светящимися узорами или складками занавеса, то — сверкающими орнаментами из дикой, переплетающейся растительности, извилистых маргиналов, символов, заглавных букв. Все это сливалось в воображении, перемешивалось. Растекались пятна, вспыхивали блики, будто плескались краски на пергаменте. Тонкие, почти прозрачные линии окутали нежным многоцветным инеем полуптиц-полулюдей, павлинов и петухов, расплывчатые узоры и сотканые ковром хораны. Невообразимо странное чувство овладело его душой, ввергло в неведомую пучину.

Синие волны становились в глазах изумрудно-голубыми, красные плащи, хитоны — розовыми, потом все расцветивалось яркими красками, покрывалось блестящим золотом. Ему казалось, что чья-то кисть выводит на пергаменте мягкими, но уверенными мазками зрачки, разрезы глаз, нос, губы, овал девичьего лица. Засветились глаза, дрогнули в улыбке губы...

Да, что-то оживало в нем самом, радовало, брало за душу, как бы стремясь вырваться на простор. И он знал, что только кисть и краски могут вызволить его из этого хаоса видений. Да, он хотел писать — сейчас, ночью...

Он зажег свечу, взял дорожную шкатулку и быстро выложил из нее на стол доску, кисти, склянки с красками, пергаментные листы. А потом натянул один из листов на доску и быстрыми мазками изобразил юное девичье лицо. Оно улыбалось. Потом лицо представилось ему серьезным, грустным, скорбящим. И он изображал эти лица рядом на пергаменте такими, какими они представляли перед ним.

Свадьбу справляли в Сисе. Уже с утра звенели колокола. Глашатаи в белых кафтанах трубили в рог, извещая о предстоящих торжествах.

Заперев двери домов, лавок, мастерских, повалил народ на улицы. Возгласы, хохот, непрекращающиеся шутки, реплики сливались в непрерывный гул. В него врывались резкие голоса стражников. По дороге должны были пройти самые знатные пароны, приехавшие из разных концов; дипломаты, консулы, епископы, приближенные царя. Дорогу усыпали розами, гвоздиками, хризантемами, тюльпанами — самыми необычными цветами, доставленными сюда с гор, полей и долин Киликии.

Готовились к веселью кабачки и таверны. Люди сенешалья выкатывали из складов бочки с вином. Этого пожелал царь: веселиться должны стар и млад, патриции и нищие. Царь требовал всенародного счастья.

Нелегко было пробиться к Дарбасу, наряженному в кипарисовые гирлянды, гнущиеся от тяжести плодов ветви апельсиновых и лимонных деревьев. Внутри Дарбаса курился ладан. Зажглись тысячесвечные люстры. Поблескивал мрамор разных цветов. По приказанию царя обновили фрески, статуи, стенную резьбу, черные мраморные колонны приемного зала, рельефы, мозаики и позолоту галерей. Знатоки книжного дела готовились познакомиться с самыми ценными собраниями дворцовой библиотеки. В музее рукописей выставили лучшие книжные росписи, страницы из пальмовых листов, папирусов, клинопись, переплеты из слоновой кости, золота, серебра.

На плоской кровле дворца гостей ожидало великое застолье. Отсюда открывался вид на роскошный царский парк с зеркалами озер; виднелись поблескивающие купола церквей, ярусы крыш, бань, усадеб, караван-сараяев.

Дворцовые слуги и кухонные работники суетились вокруг столов. Подносчики тащили наверх из складов сосуды с прохладительными напитками, вином, тутовой и кизиловой водкой, персиковыми и апельсиновыми соками. На огромных медных подносах вырастали горы фруктов. Некоторые подносы были слишком велики, их несли по несколько человек.

За тем, как накрывался стол, следил сам сенешаль. В центре стола на высоких подставках в больших серебряных панцирях, на заостренных концах которых горели свечи, лежали бараньи и оленьи головы, целые поросята.

На серебряных блюдах возвышались горы плова, обжаренного в масле с изюмом, курагой и очищенным миндалем, фаршированные тыквы со срезанными верхушками. В венецианских хрустальных вазах вырастали золотистые пирамиды печений. Перед каждым прибором стояло вино в амфорах, тоненькие горлышки которых прикрыли рогами.

Вскоре стали съезжаться гости. Церемониймейстер двора громко представлял прибывших. Назывались имена и титулы. Смешались в пестром многоцветии наряды и украшения.

Среди всех этих голубых, розовых и белых одежд сверкали золотые вышивки, кольца, венцы, браслеты, ожерелья, праздничные доспехи воинов, жезлы, скипетры, фамильные гербы.

Керан явилась в сопровождении девушек из знатных родов, одетых в туники светло-лимонного цвета с ниспадающими из-под венцов пышными волосами.

Высокая, прямая, с четким профилем, облаченная в хитон из виссона и золотистого цвета плащ, прошла она мерной поступью по застланному ковром коридору к главному входу в Дарбас. Там, в окружении молодых воинов, самых знатных и доблестных, встретил ее Левон. Они улыбнулись друг другу и, взявшись за руки, стали подниматься по лестнице к тронной зале. Из-за занавеса залы навстречу им вышел царь Киликии.

Гетум слегка поседел, потерял прежнюю бодрость. Августейший родитель приветствовал приближающуюся чету дружеским кивком. Это означало, что он разрешает им подойти поближе. Поцеловав по-отечески сначала будущую невестку, а потом сына, он перекрестил их.

— Жаль, что нет в живых твоей матери, благочестивой царицы Изабеллы, дочери великого государя Левона II, — сказал он, бросив взгляд на пустовавшее кресло. — Она могла бы увидеть сегодня своего мудрого и доблестного сына рядом с самой яркой цветущей розой на киликийской земле...

По велению Гетума церемониймейстер известил о начале торжества. Радостный гул прошел по зале. Его подхватили толпы на улице. А затем все двинулись к собору Святой Софии, где ожидал их католикос.

Торос был в числе гостей, представляющих Ромклу. Он смотрел на людей, торжественных и нарядных, и думал о своем. Мимо прошли молодожены. На миг он даже забыл, что перед ним престолонаследник со своей супругой, — рядом стояли просто двое молодых, и они были счастливы. Это был Левон, воспитанник католикоса, приверженец его, Тороса, искусства.

Ромкла: хоромы католикоса, мастерские, лицо Левона, лица учеников, удивленные и любопытные, проносились перед Рослином. Торос и Левон встречались в Ромкле и Сисе, делились мыслями об искусстве, о судьбах страны. Да, Торос написал его, когда тот еще был подростком. А перед свадьбой Левон подарил невесте евангелие, и расписал его Торос Рослин...

Художник следил за каждым движением Керан, любовались ею и все, кто присутствовал на свадьбе.

Она была красива и недосягаема. Она была сдержанно приветлива. Вот такой и изобразил ее в евангелии 1262 года Торос. Вместе с женихом, престолонаследником киликийского трона в канун свадьбы. Оба были молоды, сильны и опьянены жизнью. Они были счастливы, и художник хотел увековечить на пергаменте это счастье. Он хотел показать его безмерным и, расписывая пергамент золотом, представлял себе пшеничные нивы, теплые весенние дали Золото на картине множилось. Оно вкрапилось в лица, орнаменты, одежды, нимбы. Оно как будто возникало из неведомой глубины, то трепеща и мигая отблесками, то угасая, подобно краскам древней, стершейся фрески.

Он изобразил их под узорчатой аркой. Они стоят на подножиях и молятся. Она держит большую красную свечу. Он — евангелие, обрамленное жемчугами, золотом, синим и красным бархатом. На ней испещренный узорами хитон, гиматий из багрянницы, голова ее, покрытая красной повязкой, увенчана диадемой. Край одежды, поручи обшиты золотой парчой, поблескивают драгоценными камнями. Он тоже в хитоне и гиматии, на голове диадема, но одет пострже.

Над ними вырастает Спас, витают ангелы. У Спаса взгляд отсутствующий, смиренный. И только по жесту его можно понять, что он внял их мольбе, благословляет — Торос Рослин благословляет любовь и счастье!

Кисть его навсегда запечатлела красоту Керан — высокий прямой стан, узкие запястья девичьих рук, овальное лицо, ямочка на подбородке, нос небольшой, прямой, губы розовые и полные, очерченные прелестно изогнутыми линиями, черные брови дугой. Под длинными ее ресницами и в углах губ скрывается улыбка...

Имя ее не сходит с уст. Ей пророчат вечные радости.

Но сбылось ли это?

Стройная, цветущая Керан становится матерью пятнадцати детей и совсем еще молодой неожиданно для всех постригается в монахини, бросив дворцовую жизнь, власть, богатство. С того момента она становится сестрой Теофанией и поселяется в монастыре Скевра, вблизи замка Ламброн, владельцем которого был ее сын Гетум.

В одном из ишатакаранов того времени мы находим: «...Слава тем, исполнение желаний которых делает их служителями божьими. Пламя их любви разгорается всечасно, приближая их к доброхотному посвящению Господу, подобно тому, как стало с достославной царицей Керан, облеченной могуществом дочерью князя князей Гетума Себастоса, замкнувшей в себе страх перед Всевышним...»

Она скончалась, не достигнув сорока лет, и похоронили ее в царской усыпальнице монастыря. После ее смерти разгорелась братоубийственная война между ее сыновьями. Не предчувствовала ли ее Керан? Не это ли предчувствие побудило ее отречься от мирской жизни?

А пока она стояла перед алтарем и, внемля призывам католикоса, клялась, как и ее жених, в вечной верности и любви.

Католикос закончил благословение, и хор певчих влился в звон колоколов. Церковные песнопения — шараканы — поплыли по церкви и замерли под ее сводами...

Торжественная процессия двинулась из церкви в сторону Дарбаса. Именно тогда и приказал сенешаль открыть бочки с вином, и под восторженные возгласы поднялись тысячи чаш. Из общего гула вырывались отдельные выкрики:

— Счастья вам!

— Слава доблестному рыцарю — Левону и его благочестивой супруге Керан!

— Долгих лет вам, долгих радостей!

— Мир дому вашему и народу нашему!

Процессию возглавил католикос. Он шел в окружении архиепископов, и его златотканая одежда сверкала под солнцем. За ними, впереди царя шел старший герольд с высоко поднятым крестом господним. Царь на бесконечные приветствия отвечал поклонами, под ноги ему кидали цветы и миртовые ветви. Вслед за царем ступал его отец Константин Пайл и брат Смбат Гундстабль, а другие его братья и сестры, канцлер и остальные правители соблюдали почтительное расстояние.

Затем шли венцеслужитель с золотым жезлом, венценалагатель с гербом, проксеторы с железными щитами, схолары со знаменами, царские стрелки в сандалиях и шапках из красных козьих шкур. Потом тянулась бесконечная вереница: епископы, священники, дьяконы, королевские конюхи, камердинеры, писцы и нотариусы. За ними — иностранные послы, консулы, предводители франкских отрядов, служащих царю, монахи орденов госпитальеров. Богато расшитые балдахины защищали шествующих от солнечных лучей. Их несли юные хоругвеносцы. За ними двинулась толпа. Стражники с трудом успевали расчищать дорогу. Повсюду мелькали праздничные наряды и счастливые лица. Прибыли на торжества из разных городов, окрестностей, замков и деревень. Прибыл самый разный люд. Это были

портовые грузчики, косари, ремесленники и землекопы, от души радовавшиеся счастьем молодых. Они привезли с собой меха с вином, фрукты, мясо, птицу. Вокруг пахло вином, жареным.

Кто-то провозглашал тосты, кто-то пускался в пляс. Всю дорогу, пока торжественная процессия приближалась к Дарбасу, вслед ей со всех сторон летели напоминания о лучших днях, славных деяниях: вспоминали о победах Левона Великого, о его предшественниках, бесстрашных князьях Торосе и Рубене, о богатых урожаях, выгодной торговой сделке. Вспоминали о победах царя Гетума над неверными, прославляли мудрого Смбата Гундстабля...

Уже забыл ремесленник о недавнем веселье, уже вернулся к своим полям крестьянин, а в Дарбасе продолжались пиршества. После шумного и пышного застолья бражники шли в царские сады, где за небольшими столиками с инкрустацией из серебра и слоновой кости, среди виноградников, олив и олеандров, под сенью могучих ореховых деревьев разгорались споры о риторике, философии, о военных делах, о смысле жизни.

Кто-то доказывал, кто-то возражал. Удачные мысли и умные речи вызывали возгласы одобрения.

На столиках мускатный орех, камфара, касия, амбра и мускус. Вечером загорались светильники на оливковом масле. В отсветах пламени искрились разноцветными огоньками драгоценные камни. Они украшали венцы, бархат и атлас одежд, заостренные носки башмаков. Они были искусно вправлены в ожерелья и браслеты.

Самые редкие, крупные, искрящиеся привлекали особое внимание. Их иногда разглядывали изумленно, чаще, стараясь скрыть любопытство, понимающе покачивали головами. Большая часть этих камней-дикивинок, привезенных из дальних стран, были родовыми сокровищами, гордостью семей. Они переходили от дедов к внукам. Это были сердолики, ясписы, изумруды, завезенные в Киликию еще финикийцами вместе с янтарем, слоновой костью и другими товарами. Яхонты синего цвета, оттенков небесного и павлиньего, доставленные с берегов Бенгальского моря и с цейлонских рудников, жемчуга самых крупных размеров, перламутр, благородные кораллы, добытые в Средиземном море и водах Мозамбика. Дорогие камни казались киликийцам амулетами, талисманами, имеющими таинственную силу, способными защитить от врага, несчастья, болезни. Многие украшали себя кроваво-красными камнями яшмы, зелеными камнями в красных крапинках, чтобы поразить франков — для них этот камень мог быть невидалью.

Из-за зеленой гущи напротив столиков показались огни. Четыре евнуха со светильниками в руках вышли к дорожке, ведущей к ореховым деревьям. За ними ступали девы в розовых туниках. Впереди шла она — вся в белом, как лилия. Все внезапно умолкло. Стало настолько тихо, что даже слышался шорох женских платьев и скрип сандалий евнухов. Приблизившись к гостям, она поклонилась и остановилась в нерешительности. Даже самые мрачные и неприветливые не могли скрыть радость при ее появлении. Но внимательнее всех смотрел на нее один человек. Его пронизательный взгляд мог лучше всех оценить красоту. И кто знает, быть может, в этот миг эта дева в белом воплощала для него самую Киликию...

ВШИРЬ И ВГЛУБЬ



ортрет Керан и Левона он поместил в конце евангелия, которое иллюстрировал для католикоса. Константин подарил рукопись престолонаследнику и его супруге в день свадьбы.

В том же 1262 году Рослин закончил другое евангелие — заказ священника Тороса, племянника католикоса, человека небольшого звания, но влиятельного в кругу ученых отцов Киликии.

...Трудно было художнику работать одновременно над двумя рукописями. Он долго не решался сказать об этом католикосу, но потом все же попросил:

— Может, кто возьмет на себя работу писца?

Константин посмотрел на него понимающе.

— Не то, что я устал, не то, что не могу. Просто времени мало, надо успеть к свадьбе. Рукопись отца Тороса могу закончить и один.

— Хорошо. Велю отправить книгу Левона в Сис писцу Аветису. Пусть бросит все и займется ею. Отметь места для картин...

Со священником Торосом они встречались чаще по вечерам, когда умолкали колокола, садилось солнце и веяло вечерней прохладой. Торос внимательно слушал ученого мужа. Обычно молчаливый, священник Торос мог внезапно загореться, пуститься в долгие рассуждения. С жаром и проникновенно говорил он о божестве, земле, людях, о телесном и бестелесном в мироздании.

Подобно своему дяде, католикосу Константину, он славился ученостью, любил поэзию, живопись и, в отличие от многих других святых отцов, умел выслушивать чужие суждения. И тем не менее переубедить отца Тороса было очень трудно.

С террасы его дома, расположенного на возвышенной части крепости, открывался вид на ее окрестности. Это было красивое зрелище — луг, разрезанный извилистой рекой, склоны гор в зеленой поросли, и небо, высокое, ясное.

Однажды вечером он сказал отцу Торосу:

— Хотелось бы показать в миниатюре, как я вижу этот луг и горы, — а я вижу докуда хватает глаз: до самого горизонта.

Он задумался. Отец Торос молчал тоже. «Как безмерен мир», — думал он, глядя на уходящее течение реки, уплывающую луну, облака, гонимые ветром. Где-то позади оставались дороги, сосны, вершины тополей, вспаханные поля. А потом все уменьшалось, исчезало в отдалении за горизонтом. Еще дальше предметы становились темнее, сливаясь в бесформенную массу, обретая самые простые контуры.

— Вот о чем я думаю, отец Торос, — сказал он вдруг. — В жизни есть простор, а в рисунках не видно этого.

Священник посмотрел недоумевающе:

— Ты о чем, варпет?

— О жизни.

— Какой?

— О той, что дал нам господь.

— И что?

— Безмерна она. Все тянется горами, лесами, долами. Знаешь, что где-то там, за горизонтом, опять жизнь. А на миниатюрах все по-другому, плоско. А где же дали? Мы пишем

по канону, а жизнь из него вырывается — в гробу удобно мертвому, живому в нем тесно. Да-да, святой отец. Видим, чувствуем, а рука не в силах передать. И все потому, что канон не велит... И людей мы научились изображать совсем недавно. Я о людском в человеке — чтобы дышало его тело, чтобы мыслями человеческими он был охвачен.

Отец Торос старался возражать спокойно:

— А нужно ли это? Человек полон смирения перед господом. Не брэнное тело его надо изображать, а его кротость, смирение, дух. Человек должен отречься от всего на свете во имя господа бога...

— Но разве мы с тобой не готовы сделать это? — перебил его Рослин. — Разве мы с тобой, живые люди, меньше несем в себе господнее, чем плоские, как пол, людишки, те, которых изображают художники, лишённые наблюдательности и фантазии...

Священник протянул вперед обе руки.

— Кошунствуешь, одумайся...

Художник продолжал:

— Посмотрел бы на себя. Грудь вздымается, глаза горят... Живая плоть заговорила в тебе, отец Торос. Страдал, переживал, мучился Христос. Прodelывал огромные расстояния, исцелял больных, укрощал бури, читал проповеди ученикам, миру. И все вокруг него двигалось, жило — за ним ходили толпы, и, видя их, он жалел, сострадал. Его преследовали фарисеи, книжники, предавали ехидны и злопыхатели. Я ясно вижу кротость, грусть, скорбь, неистовые лица. Все это я представляю в пространстве. Вот что хотел бы я передать...

Ночь лунная, в отсветах плавают облака. Клонит ко сну. Уходит, расплывается все перед глазами...

— Ты ли это?..

— Я, я, Варпет Торос... Давно хотел поговорить с тобой наедине... Не легко тебе, вижу...

И мне...

— Тогда выскажись...

— Хорошо, скажу прямо, кошунственными кажутся...

— И ты...

— Сам ты, Варпет, говорил, что в людях ценишь прямоту...

— Говорил...

— Уже давно работаем рядом, а смотрим мы на жизнь по-разному...

— Значит, ум, сердце, опыт подсказывают нам разное...

— Ты и раньше писал не как все, но благочестия, уважения к канону у тебя было больше...

— Художник не может без конца...

— Мир меняется не так быстро...

— Мир, может, и тот же, что и был, меняюсь я... А, впрочем, и мир меняется, но ему отпущены другие сроки.

— До каких же пор меняться, Варпет?..

— Не хочу ограничивать себя... Не будет гневаться бог на мою правду... Ведь он сам ее создал... И чувства, и сомнения в меня вложил... тоже Он. Разве может во мне появиться что-нибудь помимо Его воли.

Утро солнечное, веселое. А он? Который уж день просыпается с тяжелой головой.

Стук в дверь. Поднявшись с кровати, он быстро одевает хитон, затягивает пояс.

— Отец Торос? Добро тебе...

«Зачем он пришел? Вдруг скажет: «...Замыслы — замыслами, но мне нужна рукопись». Или что-нибудь в этом роде». Но священник спрашивает:

— Не ожидал так рано? Плохо спалось. Дай, думаю, загляну к Варпету.

— Давно и сам хочу навестить тебя, да все работаю.

Отец Торос рассказал Варпету, что вчера в гостях увидел лист, расписанный им, — «Воскрешение Лазаря».

— Какие краски! — воскликнул священник. — Я не мог после этого к тебе не зайти... К слову, спрошу и о моей рукописи. Но хотелось бы узнать: не собираешься ли и тут вводить свои новшества?

— Собираюсь. Без новшеств нет вдохновения.

— Только с вдохновением, варпет Торос, только с вдохновением. В благочестии твоём не сомневаюсь... Замыслы... Н-да...

Показать, как уходит все вглубь... Как удаляется от тебя мир, не останавливаясь, не прерываясь... Или, кажется, приближается, спешит, не замедляя движения...

В его время даже самые сложные композиции изображались однопланово. Фигуры, как обычно, располагались на переднем плане картины, пространство позади них пустовало. Впрочем, сложные композиции встречались тогда редко. Ну, а варпет Торос?..

В библиотеке католика он внимательно перелистывал рукописи разных стран и времен — изготовленные в коренной Армении, в Скевре, Дразарке и в других скрипториях Киликии; были рукописи там византийские, сирийские, персидские, итальянские, французские, рукописи самые древние и самые новые — в Ромкле следили за книжным искусством.

Одни рукописи нравились ему больше, другие — меньше. Но он тщетно пытался найти в них то, что искал. «Все нагромождено впереди, — думал он, — а позади пусто. Или все повисает друг над другом — люди, дома. Так и кажется: вот сейчас все свалится, разобьется».

Он уходил в мастерскую, садился за работу. Однако представлял он одно, а на пергаменте получалось другое. Тогда он казался себе беспомощным.

Для миниатюр евангелия священника Тороса характерны изображения всякого рода сборищ и толп — апостолы, горожане, рыбаки, фарисеи, книжники...

Еще в рукописи 1260 года он очень удачно показал удаляющиеся группы людей. Если тогда то было всего на одном листе, то теперь таких листов стало много, и число людей в группах возросло. Иногда их больше десяти, двадцати. Вот Христос в лодке. Благодаря ему, сотворившему чудо, улов был чудесный. Апостолы видели все это своими глазами. Они стоят напротив Христа, друг за другом, их лиц не разглядеть (разве только у стоящих впереди), видны лишь головы.

Друг за другом... Как шлемы воинов в сцене отречения Петра, как головы оплакивающих смерть Иоанна Крестителя.

Тот, кто хочет познать и запечатлеть человека, для кого человек нескончаем, неизбежно будет стремиться показать этого человека в пространстве.

Он, естественно, необычайно далек от наших представлений о перспективе. В его произведениях, конечно, не найти сокращающихся форм. Все это возникает спустя века — в эпоху Возрождения. Но свет и воздух навсегда овладели его воображением. И свет, и воздух воплощают для него беспредельность, которую он так стремился ощутить и выразить. А краски, которыми он наслаждался и жил! Нежно-розовые, светло-голубые, темно-красные, солнечно-золотые — где-то вдали они утрачивали яркость, где-то там, в беспределье постепенно потухали, исчезали. То была протяженность! И жизнь воспринималась им в такой протяженности, он пытался выразить ее так, как воспринимал.

Желая изобразить пространство, его современники нагромождали фигуры друг на друга — у современников Рослина свои представления об изображении пространства. В евангелии священника Тороса глубину создают объемно изображенные кресла и алтари,

кубы и параллелепипеды строений, нередко расположенные одно за другим. Торос не нов. Объемно изображенные формы встречаются и у других киликийских мастеров, до и после Рослина, и у византийцев. Но объемные формы еще не достаточны для того, чтобы было ощущение прочувствованного пространства. Но Торос Рослин ищет...

В первый период своего творчества Рослин мало чем отличается от современников, если в балтиморской рукописи художник пытается изобразить пространство все еще архаическими приемами, то в «Маштоце» он прибегает к более совершенным методам. Здесь нет традиционной «многоэтажности» в расположении фигур, а есть ритмичность, своеобразная ярусность.

Рослин показывал людей и предметы, помещая их в разных точках картины, а в зависимости от этого увеличивал или уменьшал изображение.

Даже в золотых отсветах фона он словно стремился подсознательно, стихийно передать глубину, как в сцене сошествия в ад в миниатюре 1265 года. Слева Адам и Ева, справа Иоанн Креститель и царь Иудейский, а еще дальше — высокая гора. А за ней — золотые отсветы, уводящие в своем сиянии в неведомое.

В «Маштоце» 1266 года, в «Успении Иоанна Богослова» мы видим все удаляющуюся толпу, а где-то за ней вырастают строения...

Другая миниатюра этой рукописи — «Переход евреев через Красное море»... Войска египетского фараона преследуют бежавших невольников, но море расступилось перед беглецами, а когда египтяне захотели пройти по тому же месту, оно вернулось обратно. Всадники в воинских доспехах, с поднятыми мечами, скачущие на разномастных конях, изображены в нижней части картины. Напротив них, на суше, стоит Моисей, а за ним — народ еврейский. Толпа евреев в разноцветных одеяниях тянется до самой верхней части картины. Там, уже в конце толпы, мелькают лишь отдельными точками человеческие головы — Рослин не знал законов перспективы, но интуитивно, «на ощупь» чувствовал ее.

Смотришь на миниатюры Рослина и начинаешь понимать всю сложность его исканий. Тысячи «почему» будили в нем тысячи сомнений, неведомое влекло к новым поискам, возбуждало в нем творческие импульсы. Слишком много преград встречал он на пути к совершенству, слишком много неясного, непонятного, противоречивого. С кем он мог поделиться, кому поведать свои сомнения, если на него смотрели, как на метра, когда эпоха была оставлена им позади? Трудно приходилось этому человеку в творческом одиночестве. Чимабуэ тогда еще не расписал стен Сан-Франческо в Ассизе, Джотто не родился, не родился и Альберти, автор знаменитого трактата о перспективе.

— Не достиг я своего, Константин, хоть и работал до изнурения. Глянешь на наши небольшие изображения и не поверишь, что можно так устать. И все тщетно...

Варпет Константин — один из немногих, с кем делился варпет Торос. Их сблизили годы учения в скриптории. Теперь они вместе обучают других.

Высоко ценят искусство варпета Константина в Киликии. Знатоки книжной росписи отзываются о нем лестно. Его заказчики — крупнейшие коллекционеры, знатные пароны.

— Не понимаю тебя, Торос. Такое сотворил!

— Не показал, что хотел...

— Не показал! Но как это сделать! Смуту вселил ты в наши души. Иногда думаешь: прав он — ведь ненасытен наш глаз, а миру нет конца. Обсуждали мы это в скриптории. Да все сошлись на том: может, и есть в стремлении твоём смысл, но человеческие возможности ограничены. Поверь мне. Ты знаешь, что никакие новшества мне не чужды...

Рукопись передана из рук в руки. Внешне священник очень спокоен, но зоркий глаз варпета успел подметить: волнуется.

Да, давно ждал этих минут отец Торос, — и вот книга в его руках!

Он ни разу не приходил к художнику взглянуть на законченные листы. Хотя часто казалось, не вытерпит: «Дай взглянуть, все же заказчик я». Но не делал этого. «Если повезет, и так повезет», — утешал себя священник. Слишком долго дожидался своего часа отец Торос. Ему очень хотелось иметь рукопись кисти и пера Рослина, но у варпета все не было времени. Не от себя он зависел: заказывали католикос и царь.

А сегодня он рядом с художником, и перед ними рукопись.

Они уселись в кресла под виноградником. Отец Торос бережно положил евангелие на колени, начал медленно перелистывать его.

Священник закончил знакомство с рукописью и положил ее на стол. Потом откинулся на спинку кресла, закрыл глаза.

— Сместилось что-то в наших душах, — сказал он, — хоть мы и праведные.

Он просидел так с минуту, потом снова раскрыл евангелие, перелистал медленно, остановился на одной странице. Замкнутое лицо священника внезапно изменилось. Оно изображало печаль и радость, тень испуга и восторг.

Он искал в миниатюрах дали и просторы, а бросилось в глаза другое: и люди, и святые слишком ушли в свои горести и заботы, забыв о святости, смирении перед господом. Странно было отцу Торосу сознавать это. Но лицо его сияло. Да, страшно, кощунственно так думать, но как красиво написал Варпет! А краски, а композиция! Ни о чем не хотелось ему думать в этот миг, хотелось только восторгаться красотой, и перед восторгом отступали все другие ощущения и мысли. Ему не хотелось продолжать старый спор, хотя он мог сказать, как бы невзначай:

— А дали где, варпет Торос?

Впрочем, от меткого глаза варпета Тороса ничего не ускользнуло, поиски варпета были не совсем тщетными, кое-чего он достиг.

Они сидят друг против друга. Лучше молчать — это понимает и художник, и священник. И все-таки трудно варпету Торосу не высказать наболевшего на душе.

— Не смог показать пространство, а как хотелось бы... Но не я, так другой это сделает... Не сейчас, так потом...

Он сказал это необычным, уверенным голосом.

На следующий день рукопись освятили в церкви святого Григория Просветителя.

«Вопросы перспективы, — писала Дурново, — хотя отнюдь и разрешены им не были, но несомненно, что он подошел к ним, сделав первый сдвиг. Его прогрессивность шла в том направлении, которое впоследствии встало на прочную основу и широко развернулось в Италии как раннее Возрождение».

СТРАСТИ



арпет Торос, варпет Торос! Видел... Сам... Ослепнуть бы мне, если выдумываю...

— Что? Когда? Говори понятней.

Юноша перекрестился.

— Понес ему кисти, он попросил еще вчера.

— Кто?

— Варпет Константин... Вошел к нему, — подожди, говорит. А сам опять стал писать, забыв обо мне. Тогда я решил взглянуть. Господи, околеть бы мне, лучше бы я не делал этого! Ведь после не знал, куда себя девать.

— Но что же ты увидел?

— Пойди к нему сам и посмотри своими глазами. Он и сейчас пишет...

Торос застал Константина за работой.

— Кончаю, — сказал тот.

Торос посмотрел на пергаментный лист и не поверил глазам.

— Недоумеваешь?

— Недоумеваю.

— Вот и хорошо. Не одним нам дивиться.

— Дивлюсь. Новое будоражит душу.

Во второй половине XIII века талантливый мастер из Ромклы Константин расписал евангелие для полководца Ошина. Рукопись украшает коллекцию Моргана в Нью-Йорке.

Искрящиеся, многоцветные хораны и заглавные буквы, мастерски выписанные человеческие фигуры. Конечно, виртуозность, мастерство, вкус, чувство цвета для киликийского искусства не ново. Что же до человеческих фигур...

По обе стороны верхнего квадрата одного из хоранов рукописи изображены обнаженные женщины. Длинные волосы, змеясь, свисают до пят. Головы увенчаны причудливыми двурогими шапками. В одной руке у женщин ветка, а другая словно застыла в движении танца. Застывший, остановленный танец передают и поворот головы, и корпус, и ноги, и мимика. Кажется, вот-вот снова зазвенят бубны, застучат барабаны и все закружится, потонет в стремительном вихре...

Вихрь на странице евангелия XIII века! Варпет Константин с большим умением воссоздал живую человеческую плоть. Движения естественны, объем и пропорции фигур правильны.

Трудно сказать, почему написал Константин этих обнаженных танцовщиц. Но красота и грация женского тела была опоэтизирована не только им, но и другими художниками Киликии.

Может, он, автор рукописи, запечатлел обычных танцовщиц из таверн или кабаков, которые любили посещать киликийцы, куда мог заглянуть и сам Константин, и его высокопоставленный заказчик? Зайдет маршал Ошин в кабачок в одежде простолюдина где-нибудь в небольшом городке, окунется в стихию безудержного веселья и пожелает потом оставить память о нем на листе пергамента. Можно предположить и такое.

А могло вдохновить и другое — на празднествах, во время ритуальных танцев женщины обнажались, и это было частью ритуала — обращением к плодоносящим силам, мольбой. А может, женщина на хоране — собирательный образ, символ молодости и красоты?

Киликийские художники нередко изображали действия, празднества. На миниатюрах часто повторяется сцена: слева женщина с рогом изобилия, справа мужчина в гуще ветвей. Обычно женщина облачена в красное платье, открывающее плечи, грудь. Волосы ее распущены.

Такие сцены киликийского быта отразились на страницах священного писания отнюдь не вопреки каким-либо запретам. Главное в самой манере изображения. Глядя на этих женщин, пустившихся в пляс, забываешь, что таков обряд, видишь жизнь, восторгаешься женственностью и грацией, их естественностью, столь необычными и неожиданными в искусстве XIII века.

По мнению Сирарпи Тер-Нерсесян, подобные изображения были новым словом не только в киликийской, но и во всей мировой книжной живописи.

Середина и конец XIII века — время наивысшего взлета такой живописи в Киликии. Шумные таверны и кабаки, танцовщицы, акробаты и музыканты, зрелища и действия на сценах, ряженые и шуты... В клетках ревут львы, повизгивают обезьяны. Все это многокрасочно, пестро. Развитие искусств и ремесел. Создаются золотые и серебряные сосуды, украшенные чудесной резьбой.

Истинно киликийское многоцветие отражалось и в иллюстрациях мастеров к священному писанию.

Деяниям святых сопутствуют земные, человеческие страсти. В страданиях святых ощущаешь скорее понятную тебе людскую боль, чем мистическую отрешенность. Христы, боготери, евангелисты становятся раскованнее, подвижнее, они живут, дышат. Чтобы передать это, нужно найти новые изобразительные средства. Киликийские художники достигли большой пластической силы, умели создать ощущение объемности, выстраивать сложные композиции. Они нарушали канон во имя художественной правды. Перемены в искусстве, естественно, вызывали, просто не могли не вызвать, недоумение, возмущение ревнителей устоев.

О епископе Гевонде нигде не упоминается. Это лицо вымышленное и в то же время реальное. Там, где есть Рослины, неизбежны и отцы Гевонды, подобно тому, как понятие «свет» неотделимо от антипода — тени.

Мрачный, молчаливый аскет, Гевонд безусловно искренен и во взглядах, и в поступках. Его можно считать образованным, и все же кругозор этого человека слишком узок. Степенный и рассудительный, епископ непоколебимо верит, что сила религии в незыблемости ее канонов, установленных раз и навсегда. Такие люди, как Торос или Константин, кажутся отцу Гевонду возмутителями спокойствия, опасными еретиками. Впрочем, послушаем его диалог с Торосом Рослином.

— Давно хотел потолковать с тобой, варпет Торос.

— С вниманием слушаю.

Гевонд замялся.

— Хочу вести речь о твоих миниатюрах.

Он говорил, глядя в сторону. Лицо его было мрачнее обычного. Неожиданно он взглянул Торосу в глаза.

— Скажу прямо: кощунства в них много.

Торос вздрогнул. Скованность епископа исчезла, он заговорил увереннее.

— Миниатюры, — продолжал он ровным безжизненным голосом, — должны быть такими же вечными, как библейский текст. Я давно присматриваюсь к тому, что творится вокруг. Ты, твои ученики, варпет Константин... Этот уже переступил все границы... Не вижу я в работах ваших благоговения перед высшим духом. А без него все пойдет прахом.

— Но мои рисунки...

Епископ прервал художника.

— Ты хочешь сказать, — туг голос его дрогнул, — что они... Да, они нравятся, нравятся и двору... Но я и при дворе готов высказать все начистоту. Но прежде решил поговорить с тобой. Усердие твое ценю...

— Но не бывает искусства без фантазии. А ей...

— Нет, — воскликнул епископ, перебивая. — Нет!

— А ей трудно поставить границы, — упрямо продолжил Торос.

— У церкви своя точка зрения, — отметал возражения Гевонд. — Ее нельзя изменить.

Ты должен научиться держать себя в узде, варпет Торос.

— Но если запрыгать слишком туго, то конь не сдвинется с места.

— Ты не только нарушаешь каноны, — говорил епископ, — ты наводнил страницы священных писаний дьявольскими изображениями. Мало тебе непристойных изображений отца нашего Иисуса Христа! Ты выдумал ему несуразные...

— Вот что!

— Я вижу, нам не понять друг друга.

Епископ зашагал в сторону резиденции католикоса.

Дальше все случилось так, как и ожидал Торос. У католикоса он застал отца Гевонда и Константина и сразу понял, зачем его позвали.

— Подойди сюда, Торос, — сказал католикос, — а ты, Константин, продолжай.

Константин говорил взволнованно, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Когда он кончил, католикос обратился к художнику.

— А что скажет Торос Рослин?

И увидев его недоумевающее лицо, добавил:

— Епископ и тебя обвиняет в кощунстве.

— Скажу то же, что варпет Константин, — отвечал Торос. — Я отдаю служению всевышнему все, что есть за душой, что способен отдать. Я в своих поступках вдохновляюсь праведным...

Воцарилась тишина. Вскоре ее нарушил католикос.

— Что скажешь ты, епископ?

— Зачем на страницах священных рукописей, исполненных в священных стенах, такие «красоты»? Да они страшнее уродства. Кому нужны извивающиеся змеи, рычащие львы и тигры, убогие херувимы, полулюди и полузвери? Ряженные в шутовские одеяния? Комедианты, трубящие в роги? Во что превращается святая рукопись, куда уходит ее благочестие, если на ней человек в маске зверя и звери с человеческими лицами, хвостатые существа, которых нет на свете?

Снова тишина. И опять ее прервал неторопливый голос католикоса:

— Верю в твои искренние чувства, епископ. Ах, что бы я делал, не будь рядом таких верных людей, как ты! Растоптали б нас недруги, проглотили враги...

Епископ бросил на Рослина беглый торжествующий взгляд. Тот опустил голову.

— Таких, как ты, епископ, — продолжал католикос, не поднимая глаз, — я должен ценить и поддерживать, иначе какой я духовный владыка? Но таких, как Торос и Константин — тоже. Нам нужны красивые рукописи. Да, красивые.

Он встал и зашагал к выходу. У дверей остановился.

— Степанос, — позвал он тихо. — Эй, Степанос, принеси-ка мне ту рукопись. Хочу разглядеть ее получше.

А на следующий день епископ стоял перед католикосом и стоя выслушивал...

— Понимаю тебя, — говорил Тер-Константин, — но не узреть всего сразу, не все на поверхности. Может, и не найти в изображениях благонравия, о котором ты печешься. Но взглядишь — все в них дышит божественным озарением. Оно идет изнутри.

И ушел епископ от католикоса после таких слов, словно его оглушили чем-то.

Епископ прилежно изучил иконографический канон, уж он-то знал религиозно-символическое толкование хоранов, написанных Нерсесом Шнорали. Толкование — наказ, назидание благочестивого католикоса художнику и тому, кто раскроет рукопись. Все было написано: как писать и как понимать.

То, что Шнорали трудился над своим трактатом сто лет тому назад, для епископа ничего не меняло. Он не обращал внимания и на то, что даже при жизни католикоса Нерсеса мало кто следовал его наказу. На земле, сотворенной щедрым господом, было куда больше цветов, птиц, растений и красок, чем упоминал в своем трактате католикос. Да и сам он, «богоносный патриарх и светозарный философ», воспевая в стихах деяния всевышнего, давал волю обыкновенным человеческим чувствам.

Всего этого епископ не понимал или не хотел понимать. Тихо, почти неслышно, заходил он в скрипторий, медленно расхаживал меж столов, всматриваясь в миниатюры. Юноши слышали за спиной его тяжелое дыхание, ловили порой его угрюмый взгляд. Епископ не мог простить им, себе, всему свету такого кощунства — каноны рушились на глазах, юнцы с ангельскими лицами глумились над святостью без всяких угрызений совести.

О, дьявол! Неужто ничего не устоит перед твоими соблазнами! Он, епископ Гевонд, был убежден — спасение рода человеческого в прямом следовании заповедям всевышнего и его заместителей на земле. Прямое же не допускает отклонений.

— Святые заповеди, — говорил он, — вечны.

Так был вечен для него и трактат Шнорали. Отец Гевонд знал его наизусть. Он знал, что алтари, колонны, портреты, так же, как растения, птицы, полны таинств и глубокого смысла, что все на свете делится на жизненно важное и на то, что только улаживает наш взор, слух, осязание. Он знал, какое значение имеет цвет, преобладающий на хоране, что символизируют отдельные предметы — детали картины. Три колонны — троица, деревья — высота, сан и слава, павлины — чистота, оливковое дерево — многовременность. Он знал: из всего того, что растет на земле, для изображения на хоране можно выбрать лишь гранат, пальму и оливу, из птиц — два павлина, голубя, куропатку, а иногда — альбатроса — символ апостолов. Красный цвет — кровь Христа и олицетворение веры в него, пурпур — бесконечность и неисчерпаемость...

Все это епископ повторял про себя часто, пытаясь представить в красках. Но в скриптории видел совершенно иное. Иногда ему казалось: не выдержать, вот-вот, и гнев вырвется на волю. Но вместо этого Гевонд опускал глаза и тихо повторял:

— Каноны — это нетленная духовная красота. Свет, воздух, вода, земля и хлеб этой земли нужны для жизни; вино, плоды, музыка, краски — для улады.

Вольность в обращении с канонами, в трактовке образов, и не где-нибудь, а в Ромкле, обители благочестия, где жил католикос Константин, который не допускал отклонений от церковных догм, подчеркивал свою самостоятельность в отношениях с папой и византийским патриархом... Сначала это кажется парадоксальным. Ведь если существует такая твердость в соблюдении традиций, то по логике вещей тот же дух должен пронизывать все без исключения сферы церковной жизни. И уж тем более ощущаться в книжных украшениях, чье назначение — доводить до людей божьих слово Всевышнего.

Тут не надо забывать об одной немаловажной особенности армянской церкви. А именно — непримиримая, когда дело касалось вероучения, она могла допустить послабления в искусстве.

Она миновала суровый инквизиторский дух католицизма и мистическую изощренность греческого православия. В отличие от этих религий, армянская церковь не могла пользо-

ваться сильной и постоянной поддержкой светской власти — Армения часто теряла государственность, в стране бесчинствовал враг. Порой церковь оказывалась в роли носительницы народных чаяний и даже воплощала власть — другого руководства в стране не оказывалось.

В монастырях и церковных мастерских продолжали творить. Там рождались рукописи с замечательными миниатюрами, резные рельефы, шедевры чеканки. Под сводами храмов сберегались древние письма. Они напоминали о лучших временах, о талантливости народа. Глядя на них, хотелось верить в его будущее. Крест, которому поклонялись, был своим (чаще всего поработителями на эту землю ступали иноверцы), был своим и Христос — ему рассказывали обо всех горестях родины.

Тонкие, изощренные сплетения схоластической мысли могли бы родиться в благополучные времена, а не в такие тяжкие годы. А в то лихое время нужно было сохранить себя, свое кровное, то, что отличает от других, незримым щитом отгораживает от чужаков-врагов.

Извечное беспокойство, волнения, ожидание беды — вот что не дало армянской церкви простора для развития фанатизма. С еретиками в Армении расправлялись похлеще, чем у католиков, но само понятие ереси обрело там иной смысл. Во всяком случае за нарушение канонической живописи или свободные интерпретации образа Христа не карали, что отражало послабления, ставшие традицией, передающейся из века в век, дошедшей до киликийской армянской церкви.

Конечно, в Киликии были отцы Гевонды, но они — не самое типичное явление. К тому же не они вершили судьбы искусства.

Для средневекового человека не было четких границ между реальным и мистическим. Он, как никто, умел обосновывать, сглаживать противоречия и, как никто, верил в свои обоснования. И дело тут не в стремлении приспособиться; искренность веры в эпоху средневековья трудно взять под сомнение. Все в представлении тех людей шло от бога, эта истина казалась бесспорной.

Разве было чуждо все человеческое киликийским святым отцам? Гусанские песни, веселья — пусть это свойственно не многим, но искусство умело восхищаться и восхищать многих.

«О, бог, все, созданное тобой, мне кажется прекрасным!» — из псалма Ованеса Ерзнкаци, богослова и поэта-философа, одного из лучших поэтов армянского средневековья.

И прекрасным становились луга, поля, лепестки розы, очи и стан возлюбленной, воспетые во многих стихах; искрящиеся золотые сосуды, деревья, человеческие лица, на которых читались горести, заботы, тяготы, переданные на пергаменте умелой кистью.

Вернемся к 1262 году. Три последующих в жизни Тороса Рослина ничем не пополнят наших сведений. Потом мы почерпнем некоторые факты из ишатакарана 1265 года, но и они ничего существенного не скажут. И тогда нам вновь придется уйти в мир предположений...

В 1262 году Торосу было около сорока. Не будем говорить о зрелости его творчества — ее находишь уже в первых работах. Чувствуешь другое — художник уверовал в свои силы. Он пишет раскованно, как никогда. Он словно хочет объять необъятное!

Евангелие священника Тороса!

«Внутри я отделал рукопись чистым золотом, многоцветными красками, а снаружи — драгоценными камнями, дабы была она желаннее и приятнее».

Ныне эта рукопись хранится в американском городе Балтиморе, в галерее Уолтерса.

— Из всех рукописей Тороса Рослина, — сказал мне Михаил Владимирович Алпатов, — наибольшее впечатление произвела на меня балтиморская.

— Чем же?

— Удивительно передано движение: жесты, повороты, шаги. Но поражает больше всего умение показать внутреннее состояние.

«...Внутри я отделил рукопись чистым золотом...» Теперь его образы намного живее и сложнее, сцены из жизни правдивее. Цвет стал уравновешеннее, спокойнее, но не потерял ни грамма прежней силы, лицевые украшения и орнаменты — еще роскошнее, но написаны, как обычно, с большим тактом. Каждый образ четко охарактеризован и живет своей собственной жизнью.

«В миниатюре «Страшный суд» балтиморской рукописи, — писала Сирарпи Тер-Нерсесян, — изображены пять неразумных дев, которые ищут выход на небеса, а один из апостолов закрывает им дверь очень энергичным жестом. Такое изображение умных и неразумных дев часто встречается в изображениях страшного суда готики. Это ввел впервые в армянское искусство Торос Рослин».

Только ли это? Поверив в свои силы, он берется за осуществление самых сложных задач. Евангельские сцены возникают на пергаментях в самых необычных интерпретациях. И опять безмерная фантазия! Не то, о чем говорится в писании, а то, что могло бы случиться.

Три волхва идут домой после того, как они поклонились младенцу, их окружают солдаты с развевающимися знаменами.

Интерпретация более очевидна, когда художник не только изображает события, но как бы предсказывает, что за ними последует. Вот Христос предупреждает своих учеников о том, что вскоре ему, сыну божьему, придется перенести жестокие мучения. И для иллюстрации ожидающих Христа мук Торос изображает ангелов, поддерживающих ореол, рядом с которым крест, алтарь, орудия пыток.

Такое обилие новшеств, несомненно, воспринималось окружающими не сразу. Не одному и не двоим приходилось Торосу разъяснять смысл своих миниатюр. Не от одного и не от двоих выслушивать упреки, за которыми стояло непонимание. Похвалы и признание не вскружили ему голову. Торос всю жизнь ищет, а ищущий понимает, сколь многое еще не найдено!

И его не заставили свернуть с собственного пути ни упреки, ни хула. При всей своей скромности он, безусловно, сознавал, что делает новое, необычное. Сумеет ли он удержаться на этой вершине и преодолеть новую? Мысли эти волновали мастера, но он чувствовал: челн уже выдержал бурю, и поплывет дальше, не будь даже попутного ветра. Убежденность придавала силы, веру в себя... Ведь за нею, за этой верой, теперь стояли не только мечты, но и достижения.

Три года в Киликии царил мир. Оживление на улицах, праздничные шествия, балаганы и представления, радость на лицах людей. Мир, мирные годы окрыляли и Тороса. Но в лицах героев Рослина ничего не изменилось. Грустят они или радуются, негодуют или удивляются — оттенок скорби, драматизма не исчезает из их глаз. Варпет Торос, столь часто меняющийся в своем искусстве, здесь, в этом стремлении внести что-то скорбное, даже изображая благоденствие, проявляет удивительное постоянство.

Три года молчания, творческого затишья... Конечно, до нас могло и не дойти созданное им — именно в эти три года он мог иллюстрировать рукопись для царя («Помяните Гетума, благодетеля моего»). Или наоборот, именно в эти годы заслужил немилость августейшего покровителя и провел их в изгнании?

То и другое можно предположить, но нельзя доказать. Во всяком случае ясно одно: миновав это белое пятно в биографии Тороса, мы снова находим художника среди любимцев двора. Он снова погружен в работу, его ждут заказы самых высокопоставленных лиц

Киликии.

Нет, скорее всего он и эти три года трудился, расписал новые фолианты, просто они до нас не дошли. Все эти годы он, очевидно, пользовался почетом, слава его гремела, ведь спустя год-два он достигнет в живописи удивительной утонченности.

В миниатюрах балтиморской рукописи часто можно увидеть человека, стоящего чуть в стороне от толпы или наоборот, в самой ее гуще, внимательно наблюдающего за тем, что происходит вокруг. Лица этих персонажей то взволнованы, то обеспокоены и грустны и всегда глубоко озабочены. Как у одного из апостолов в сцене беседы с первосвященниками, стоящими за Христом, или у бородатого Старика, что сидит напротив Иисуса в миниатюре «Чудесное насыщение хлебами». Лица эти старческие и молодые. Лица мудрецов и простодушных, а глядя на них, можно представить самого автора, художника, воссоздав его духовный портрет.

Начало шестидесятых годов. В Дарбасе заключаются крупнейшие торговые договора, устраиваются приемы в честь посланцев разных стран.

Художники пользуются почетом при дворе как никогда ранее. Их можно встретить на царских приемах так часто, как еще не бывало. Среди приезжих гостей немало ценителей живописи, миниатюры. Они проявляют живой интерес к произведениям армянских мастеров. У Тороса появляются поклонники за рубежами родины.

У Киликии все еще были прочные связи с крестоносцами, хотя те не раз показывали свое вероломство. Объединяли, однако, общие враги — сельджуки, египтяне, византийцы. Знатные семьи киликийцев и франков часто укрепляли связи брачными узами. Так, сестры самого короля Гетума были замужем за крестоносцами: Енелина стала женой Кипрского короля Генриха I, Мария, или, как ее еще называли, Карамария-Ибелия, — герцога Иерусалимского, дука Яффы. Были замужем за франками и дочери царя: мужем Фими стал Джулиан, владелец замка Сайите, Сипилы — Боэмунд, принц Антиохии и граф Триполи.

Царские дочери, сестры, как и другие киликийские патрицианки, выходя замуж за иностранца, увозили с собою не только богатое приданое, челядь, личную охрану, но и все то, что напоминало о детстве, привычках и нравах родной страны — талисманы, игрушки, любимые украшения, памятные подарки. И конечно — книги стихов, летописи, картины, изделия искусных резчиков.

Все это на чужбине становилось особенно дорогим, не давало забыть родину.

Любить и чтить искусства в Киликии учили с младых лет, многие имели ценные рукописи. Кто-то мог обладать и теми, к которым прикоснулась кисть Рослина.

...«Гетум был моим благодетелем»... Кто знает, сколько рукописей иллюстрировал Торос для киликийского царя? Может, одну из них подарил Гетум дочери или сестре. Во всяком случае, имя великого киликийца было хорошо им известно, и они, наверняка, упоминали его, когда речь заходила об искусстве. Им было что с гордостью противопоставить гостю — франкскому вельможе, когда тот намеревался похвастать рукописью, иллюстрированной славившимся в Европе художником.

Почти на все торжества и праздники приглашал своих родственников-франков царь Киликийский. Он звал их в Сис на посвящение в рыцари сыновей Левона и Тороса. Пышные приемы были по вкусу правителям той эпохи, и царь Гетум, окрыленный военными и дипломатическими удачами, несомненно, делал все, чтобы ошеломить гостей не только роскошью, изобилием яств, не только доблестью своих рыцарей, но и умами, талантами поэтов, художников, мыслителей.

Церемониал посвящения в рыцари включал в себя пылкие клятвы, речи, торжественное опоясывание мечом, надевание шпор, турниры, где гремели латы, шлемы, кольчуги, и вооруженные до зубов воители выступали друг против друга в одиночку, попарно или от-

рядами. А после этого все приглашались к столу, где торжествовала не сила, а красноречие, острое слово, блестящая мысль. Гостей обычно знакомили с искусствами, ремеслами. Слуги вносили резные чаши, сосуды, вазы, подносы, шкатулки, покрытые чеканкой и инкрустированные камнями. А потом показывались росписи, и художники, сидящие в отдалении, внезапно оказывались в центре внимания. Их расспрашивали, ими восторгались. Те скромно опускали головы в поклоне, благодарно прикладывали руки к сердцу. Бывал в числе гостей-художников на царских застольях и Торос Рослин — лучший мастер Киликии.

Иногда царь Гетум сам навещал франков. Ездил он в сопровождении двухсот воинов морем в Триполи, чтобы уладить междоусобицу тамошних князей, побывал и в Антиохии, «чтобы, — как писал его брат Смбат Гундстабль, — полюбоваться красотой этого города». Гетум повез с собою много золота и серебра, взятого из казны своего отца Константина, чтобы раздать милостыню на улицах беднякам, наказав помолиться за упокой души Константина.

Мог сопровождать царя и Торос Рослин, тем более, что Гетум ехал «полюбоваться красотой», а в таких случаях хорошо, когда рядом художник. После знакомства с ишатакараном рукописи 1268 года это кажется очень вероятным. Там Торос сообщает, что мамелюки разрушили много антиохийских храмов. «Нельзя описать чудесную красоту этих храмов», — пишет он с горечью. Так, пожалуй, мог написать тот, кто видел их воочию. Но когда он это видел? «Гетум был моим благодетелем...» Гетум — ценитель и покровитель искусств. Невольно начинаешь думать...

Армянского царя приняли там, в Антиохии, с большими почестями, встречали всем городом. Гетума сопровождали на улицах возгласы радости, рукоплескания, звенели колокола.

Он побывал в армянских и католических церквах, слушал проповеди, обедни. Мрачные залы рыцарского замка были залиты огнем, поднимались кубки, звучали торжественные клятвы, обещания. В стороне, под переливающимся светом канделябров, идет оживленная беседа на французском, итальянском, а может, и на армянском языках, — многие франки хорошо знали армянский. Они расспрашивают собрата, приглашают посмотреть росписи, рассказывают о лучших миниатюристах Европы.

А на следующий день в скриптории ему приносят краски, пучок кистей и чистый пергаментный лист, — может, оставит что-нибудь на память армянский варпет. Он соглашается...

Да, общение между киликийцами и франками было тесным, и Торос Рослин, вероятно, не раз встречался, размышлял о живописи со своими коллегами-европейцами. Через крестоносцев киликийские художники знакомились с готическими рукописями. Но готическое влияние на киликийскую миниатюру объясняется не только этим. Киликийцы поддерживали тесные связи с армянскими монастырями в Италии, откуда посылались им и западные рукописи, и те, что создавались в стенах монастырей армянами, но под влиянием итальянских миниатюристов. К чести киликийской живописи можно отметить — она всегда умела сохранить свою неповторимость. Впрочем, столь яркое искусство вряд ли могло раствориться в другом. «...Западным влияниям, — писал Виктор Никитич Лазарев, — не суждено было обновить изобразительный аппарат, который остался органически связанным с восточными национально-армянскими традициями».

Художники-франки, живущие в странах крестоносцев, наверное, хорошо знали варпета из соседней Киликии, говорили о чудесах, которые он рассыпал по книжным страницам. Конечно, они воспринимались ими по-разному. Но высота искусства киликийца не оспаривалась. Думается, ее признавали все. В разговоре художников-франков о книжных миниатюрах, наверное, не раз упоминалось имя Тороса Рослина, шла ли беседа в Антиохии, Триполи, Иерусалиме, Эфесе или на Кипре.

Франки, родственники царя Гетума, приезжали на праздники вместе со своими труверами, трубадурами, миннезингерами, шутами и мимами. Сойдя с лошадей, гости снимали с себя доспехи и меняли походную одежду на праздничные модные наряды, какие носили на земле их предков.

Киликийцы украдкой разглядывали рыцарей, облаченных в разноцветные манто, пестрые длинные чулки, их дам в цельнокроеных платьях, сильно расширенных книзу или в бархатных сюрко с разрезом на груди. Головы мужчин обвивали парчовые ленты, униженные драгоценностями, а женщин — атласные платки или тюрбаны. Некоторые пожилые франки, почитая старину, носили бороды, разделенные на множество маленьких прядок, перевитых золотой ниткой. Но большинство было острижено по современной моде — бород не носили, длинные волосы спереди подстрижены.

Они расхаживали по царскому саду, высоко подняв головы, будто и не гости, а победители. Всем своим видом и поступками они хотели показать киликийцам, что последние неудачи в сражениях с сарацинами еще ни о чем не говорят, отнюдь не умаляют их гордости и чувства достоинства. Они по-прежнему считают себя детьми молодой и сильной Европы, могущественной не только благодаря мечу, но и ценностям духа.

На этот раз он, Боэмунд, принц Антиохии и дук Триполи, привез своему тестю Гетуму знаменитого художника-миниатюриста, приехавшего к нему в гости из Европы. Тот намеревался подарить киликийскому царю свою рукопись, что, несомненно, должно было произвести огромное впечатление.

И вот Дарбас вновь залит огнями...

— Кто ты, щедрый франк? — спрашивает царь, принимая дар художника.

Кто он? Не тот ли, кто украшал рукописи на берегах Рейна или под небом Парижа? Или тот, кто в скрипториях Ломбардии на длинных свитках молитв писал святых?

О, он, франк, много слышал о славной Киликии, ее художниках, а теперь удостоен такой великой части...

— Хочешь посмотреть наши книжные росписи?

— Государь!..

— Сенешаль, принеси евангелие работы Тороса Рослина. Позови сюда и самого варпета Тороса.

Они представились друг другу. Торос Рослин? Звучит как будто знакомо. Франк пытается вспомнить.

— Кажется, рассказывали... Если тот...

Перед гостем кладут рукопись.

Царь указывает на кресло, стоящее неподалеку от трона.

— Сядь, дорогой гость, взглядишь. Захочешь что-нибудь сказать, выслушаем с радостью, не захочешь — твоя воля...

Франк раскрывает рукопись. Пока он листает ее, мы расскажем, где он побывал и что повидал...

О, он был очень любознателен, этот франк. Его беспокойная душа не знала покоя, звала в странствия, он много видел, много знал.

Церкви, соборы, монастыри, дворцы, фрески, мозаики, изваяния, иконы... И конечно, скриптории, рукописи — на чужой земле особенно радует знакомство с собратом.

Со стен немецких соборов смотрели святые пророки, праведники, грешники. Они стояли под скрещивающимися арками меж колонн с причудливой резьбой, недвижимые, с широко раскрытыми глазами, охваченные страхом и тревогой.

Они были лишены плоти, подавлены силой всемогущего божества. Оно возвышалось над ними. Вся судьба святых и пророков зависела от Его воли. Им не было дано проявить собственные чувства. Им можно было только страдать, и они страдали.

Божество требовало вытравить из души все земное, человеческое.

Изваяния французских храмов, в отличие от немецких, обычно устанавливались снаружи, под открытым небом.

Под хитонами и плащами скульптур ощущалось тело. Но не живое и дышащее, а скорее охваченное истомой или пребывающее в оцепенении. Статуи устанавливались отдельно, группами. Некоторые из них отличались выразительностью жестов. Но жест возникал как бы сам по себе, независимо от тела, не соответствуя позе в целом, выражению лица. Бывало, жест передавал взволнованность, потрясение, в то время как вся скульптура ничего не выражала. Жест существовал отдельно, он словно повисал в воздухе.

Ну, а в скрипториях? Немецкие миниатюристы иллюстрировали священные писания, хроники, куртуазные романы, в которых стремились поднять человека над обыденностью жизни, сделать его причастным к чудесам. Вокруг героя разгорались страсти, и он был в их гуще. А художник, иллюстрирующий куртуазный роман, показывал его отрешенным от мира, от самого себя.

Миниатюристы и скульпторы Германии были чем-то сродни: лица в их произведениях редко бывают выразительны, тела обычно безжизненны... Иногда святые или люди на пергаменте и охвачены чувством, но, как в скульптуре, чаще всего страданием. Почти одинаковые лица, почти неотличимые выражения. Страдание словно разлито по всему пергаменту, а лиц нет. Запомнить каждое в отдельности невозможно.

Французские миниатюристы, подобно немецким собратьям, расписывали книги религиозного содержания, куртуазные романы, хроники. Миниатюры здесь чем-то напоминают витражи, столь распространенные в храмовом зодчестве: яркие, чистые краски словно отсвечивают, фигурам свойственна некоторая вытянутость, продолговатость. Там, на берегах Сены, художники не увлекались показом страдания. Их вообще не увлекало чувство, больше тянула повествовательность, нежели образы и характеры. Пинакли, фиалы, стрельчатые арки, розы, распространенные в готическом зодчестве, стали украшением орнаментов и миниатюр. Французские миниатюристы любили показывать в своих росписях музыкантов, охотников, сражения. Особенно хорошо они умели передавать движение — вот замахнулся мечом рыцарь, другой поднял копье, несутся кони. В сценах сражений, которыми изобиловали рыцарские романы, миниатюристы старались показать ход действия, занять читателя.

Мы рассказали о том, где побывал и что видел франк. Сам он, разумеется, рассказал бы об этом совсем по-другому. Многое, чуждое нашему сердцу и глазу, воспринималось им естественно, как само собой разумеющееся. Многое, близкое нам, было ему непонятно и даже возмущало. Впрочем, послушаем, что скажет он о живописи Рослина.

Внимательно просмотрев все миниатюры, он закрывает евангелие. Собирается с мыслями. Гордый франк, вкусивший радость признания, исколесивший свет, обескуражен. Этот киликиец сумел вселить в его многоопытную душу смятение, хаос, бурю чувств, а сам стоит молча, как ни в чем не бывало.

И франк говорит:

— Я видел многое, государь, всю жизнь провел в погоне за истиной. Испытывал страх перед кознями сатаны, видел, как пытались художники преодолеть плотское. Хотел понять их чаяния, муки, их просветления и падения. Но эти миниатюры... На земле моих предков предпочитают говорить прямо. И я не стану кривить душой. Смотрю и думаю: бесы вытравили из этих рисунков все святое, осталось брэнное, человеческое, обыденное. Кошунственно все это. Но одно верно — умения большого требуют такие изображения. Сам художник — потому знаю это. И приходит мне на ум: как же обрести такое умение, не будь на то воля божья...

Все смешалось в моей голове — не знаешь, восторгаться ли, проклинать ли. Хлынула на меня бездна неожиданного. И признаю, хоть и горько: взяло за душу это искусство, поразило меня, столько повидавшего. Я растерян...

Видел франк соборы Англии, Испании, Италии, рукописи, изготовленные в итальянских городах — в них свет, яркость, огромное пространство на листах занимает золото.

Видел и византийские храмы, чудесные фрески, мозаики, иконы, выписанные тонко, благородными красками. Из золотых ореолов выглядывают лики, умиротворенные, полные покоя, душевного равновесия, — все идеально, возвышенно, все замерло в ожидании великого свершения. Или — исступленные глаза, страх перед гневом господним. Но с каким мастерством написано!

Таковыми же благородными красками разукрашены и византийские рукописи. Византийцам хорошо известны все тайны красок, и творения их мастеров достойны самой высокой похвалы. Да, много прекрасного, неповторимого мог повидать франк в своих странствиях.

Но того, что предстало перед ним в рукописи киликийца, он не видел. Того, что он называл кощунственным и что приводило в ярость его благочестивую душу, — живых человеческих чувств, переданных во всем многообразии. Тут были ненависть и негодование, изумление и благоговение, было и неодобрение с легкой иронией, страсть без исступления, бездушие с лисьей угодливостью, хладнокровие, чуть проступающая улыбка, еле заметный укор — были яркие мазки, полутона, оттенки, нюансы. Такой передачи чувств нигде, ни в одной фреске, мозаике или иконе франк видеть не мог.

Ночь мгlistая, душная. И только где-то наверху из туч медленно выплывает тусклая луна. И дома, и улицы словно сгорбились, искривились. Бродит отец Гевонд ночью, и чудится ему, будто земля уходит у него из-под ног. Все отвернулось от отца Гевонда. Порою кажется, что отвернулся и сам господь, которому епископ всегда служил преданно, благочестиво, истово.

ЕРЕСЬ



трасти, страсти... Злобные, яростные лица. Сомкнулись губы, загорелись глаза, и трясущаяся рука взывающе потянулась к небу. Да покарай их, господь! Всех, кто отрицает святые таинства и божескую благодать. Всех бесноватых, исчадий сатаны и дьявола, предтеч окаянного Змия-Антихриста. Их, кто возвращен в пороке; кто твердит: нет возмездия за грехи и воздаяния за добро, нет воскресения из мертвых. Кто предается соблазнам, забавам и развлечениям, любит вино, гусанские песни, шутов и скоморохов...

В бездне страстей, будораживших Киликию, клубились и ереси. Они проникали в сознание людей, овладевали их душами. Благочестивые отцы призывали честной люд «закрыть свой слух для заблуждений, для ложных и бессмысленных слов».

Ереси обнаруживались в проповедях и толкованиях, в баснях, стихах и притчах, в поступках, свершениях таинств и обрядов. Ереси проступали в картинах художников.

До нас не дошли рукописи, где живут мысли еретиков, их негодование и протест, такие пергаментные свитки уничтожались, сжигались на кострах. Но дошли сочинения церковных писателей, где предаются анафеме хулители бога, Христа и святых, те, кто посмел усомниться в том, что существует рай и ад.

Вздохи, глухие и резкие крики людей, возгласы радости и негодования, свист и рукоплескания. И то же подножие горы, словно покрытое пестрым ковром шапок, тиар, платков и навесов, удары барабана, звон медных тарелок, оповещающих о начале представления, и визгливый голос шута, обращенный к зрителям, — это хорошо знакомо и все же каждый раз очаровывает...

— Мы покажем вам, люди добрые, праведных и неправедных, а там вы рассудите сами.

Медленно уползал вверх занавес. В глубине сцены горели канделябры, огонь их отражался отблесками на чеканках пола и резьбе алтаря, увенчанного крестом.

Из-за сцены вышел седобородый, в темно-лиловом хитоне, старец. Он встал на колени перед алтарем и, вскинув руки вверх, стал нашептывать молитву. Вслед за ним появился человек в черной сутане. Он поклонился публике, затем стал громко разъяснять ей поступки старца.

— Посмотрите, люди добрые, как он благочестив, кроток, лишен спесивости и гордыни, — громко, почти выкрикивая, говорил он, делая восторженное лицо. — Блажен тот, кому чужды мирские соблазны. Он никогда не поддастся искушениям дьявола, в его душу не пробраться лукавому.

Старец в темно-лиловом хитоне движениями тела, головы, жестах и взглядами старался показать зрителю, насколько он благочестив, покорен господу. Он наклонял голову до земли, потом резко вскидывал ее вверх, изображая мольбу о помощи. А потом он низко опустил голову и замер в этой позе на несколько секунд — теперь он весь воплощал кротость, смирение.

Вновь раздался голос человека в сутане.

— Но зависть! — воскликнул он. — Ей не засидеться в обители грехов! Она никогда не оставит в покое даже праведника. Что будет дальше — вы сами увидите.

Раздалась легкая барабанная дробь, грустно запели струны, зазвенели колокольчики. Звуки усиливались и вдруг внезапно умолкли. Из-за занавеса выползли комедианты, ряженые в драконов, чертей, чудовищ. Раздались вопли, глухое рычание.

— Посмотрите, посмотрите, что будет дальше, — кричали карлики, выбежавшие из-за кулис.

Растопырив пальцы и подняв их к ушам, чудовища надвигались на свою жертву. Старец пятился к алтарю. Но они настигли, набросились на него, истошно и дико вопя. Они поднимали под себя праведника и стали бить его кулаками. И пока они металась по полу, показывая движениями рук, как разрывают человека в клочья, зрители сидели, замерев, не то от потрясения, не то от страха.

Раздались жалобные вздохи умирающего. Затем все стихло.

Занавес опустился и мгновенно поднялся. Сцена была пуста. Молчание не нарушалось. Тут неожиданно для всех поднялся занавес над правой частью сцены, где в небольшом углублении, освещенном голубым светом лампад, стоял тот, кого растерзали минуту назад, — живой и невредимый. Над головой благочестивого свисали гроздь из больших хрустальных бус, — благодаря свету лампад они омыли это небольшое углубление удивительно благородным сиянием. Да, это был рай, и праведник под одобрительные возгласы и рукоплескания толпы все отдалялся в углубление, а затем исчез. Он пятился назад, стоя лицом к зрителям, вытянув шею вперед, весь сияющий. Потом снова забили барабаны, и поднялся занавес слева. О, что там происходило! В голубом свете все кувыркалось, каталось по полу, что-то корчилось, напоминая предсмертную агонию. Черти, чудовища, драконы норовили схватить друг друга за горло.

На сцену снова вышел человек в сутане.

— Вот участь всего сущего, — сказал он громко. — Всех праведных ожидает рай, а тем, кто сеет зло, враждует с благочестием, не миновать ада. Поразмыслите, люди добрые...

И вдруг в наступившую тишину ворвался голос с нижних рядов, звенящий и трепещущий от негодования:

— Нет ни ада, ни рая!

В одно мгновение все застыли от изумления. Протестующий голос вновь повторил четко и уверенно:

— Нет ни ада, ни рая!

Все посмотрели в сторону, откуда раздались выкрики, взгляды искали человека, посмевшего при всем честном народе высказать подобную дьявольщину.

Высокий мужчина в тунике цвета слоновой кости стоял во весь рост, широко раскрыв глаза, словно опешив от собственных слов. Участь праведника, видно, так потрясла его, что он не выдержал, громко высказав давно волнующее его, — какой там еще ад или рай, когда человека лишили самого ценного — жизни?..

Через мгновение оцепенение прошло, толпа опомнилась. Чьи-то руки обхватили безумца сзади за голову: кто-то размахнулся и наотмашь ударил его в лицо. Перед человеком в тунике замелькали безумные взгляды, трясущиеся кулаки, скрежещущие зубы. Рядом повскакали с мест, раздались гневные голоса.

— У него сердце сатаны!

— Поддался искушению дьявола!

— Исчадие сатаны!

Несколько человек набросились на избивающих, пытаясь спасти жертву.

— У него нашлись дружки! — завопили вокруг. — Еретики, еретики!

— Их не всех перебили!

— Они опять поднимают головы!

Появились стражники. Древками копьев они растолкали дерущихся и окружили их плотным кольцом.

Толпа показывала на еретиков.

— Вот этот, высокий...

— И тот, в разорванном кафтане...

— Праведных-то отпустите, — слышался сквозь шум чей-то голос.

— Потом, когда разберемся, — кричал воин, тряся для устрашения поднятым мечом.

Дерущихся заковали в цепи и повели в сторону крепостной тюрьмы под свист и выкрики толпы.

Случай этот затмил все впечатление от представления. Обычно, возвращаясь из театра, люди долго размышляли о спектакле, но на этот раз все говорили о еретиках. Голоса сливались в один протяжный гул, в котором порой выделялись обрывки фраз.

— ...точат нас изнутри...

— ...мало их сжигали...

— ...вырвать им языки, выколоть глаза...

— ...им не хватает деревень, сел, городов, решили отравить и престольный город...

Одни возмущались вслух, другие выражали свою ненависть молчаливым презрением. Были и такие, что ничего не говорили, и по их отсутствующим взглядам трудно было понять, о чем они думали в эту минуту...

...В Сисе он, конечно, побывал на зрелище, и возвращался оттуда, как обычно, один, погруженный в себя. Все, что видел он недавно, стояло в глазах: праведник, человек в сутане, карлики, чудовища, свет рая и полумрак ада... И этот неожиданный конец с еретиками...

— Они копошатся рядом...

— Мир рушится...

— Они пожирают наши души, варпет Торос...

Он ничего не отвечал, уйдя в свои мысли, отделяясь лишь неясными кивками. «Они готовы убить друг друга, — с грустью думал он, — и никакой жалости...»

Весь вечер на городской площади кляли еретиков. Обычно группировались люди одного сословия. Торос приблизился к одной из таких группок, остановился рядом в полумраке, — он любил наблюдать, оставаясь незамеченным. Это были богатые купцы, ростовщики и менялы. В большинстве своем люди эти отличались живостью ума, сметливостью. За привычными заученными улыбками им не всегда удавалось скрыть надменность.

Свет отражался на атласных плащах переливами золотистого, красного, голубого. Негодующие собеседники остерегающе показывали пальцем на небо.

— Когда же сгинет эта нечисть! — кричал один...

— И ничего не могут поделать с ними...

— Пусть лучше расскажет обо всем этом досточтимый Паркев. Он ученый, знает историю.

— Рассказал бы, но говорить тяжело.

— Все же расскажи.

— Расскажи, расскажи!

Человек в златотканом хитоне и в атласном плаще развел руками.

— Коль настаиваете... Но если наслушаетесь неугодных слов...

— Нам не впервые слышать об этих проклятых еретиках.

— Что скажешь ты? Говорят разное...

— Правда, что они приравнивали себя к благородным?

— О, досточтимые горожане, если бы только это, — отвечал ученый муж. — Они отрицали чуть не все, что свято для наших христианских душ. Не знаю, в чем мы согрешили, но уже в шестом веке на землю наших предков, Армению, обрушился божий гнев, и в праведной стране той антихристы стали проповедовать учения, от которых никто не получил пользы, за исключением дьявола, прародителя зла. Эти павликиане...

— О, нечистая сила!

Возмущению не было предела. Торос видел их гневные лица, горящие, ненавидящие глаза. Их речи были полны проклятий...

— Да, досточтимые горожане, еще католикос Нерсес, прозванный за добрый нрав Благодатным, остерегал честной люд от наваждения дьявола, клеймил позором отрицающих рай, ад, страшный суд, вечную деву — Богородицу. Опасался благородный муж, как бы не вселился грех в души праведные и не поверили бы они, что бога нет, что и райское древо жизни, грехопадение Адама — все это ложь и сказки, существовало только на словах, что не было Ноева ковчега, а Библия — вымысел. Говорил нам благородный католикос, что верящие в рай попадут туда, а для отрицающих врата его будут закрыты.

Да, благочестивые горожане. Остерегал он еще в прошлом веке, а что изменилось с тех пор? И сегодня остерегают нас от ереси, — лютый змей все не унимается. Сегодня он при- таился, он уже не тот спесивый, резвый, но представьте его с мечом...

— Боже, не хватит ли о них...

— Пусть говорит, — лучше горькая правда...

— Равенство! Ишь чего захотели. Равенство между чернью и благородными.

— Прошло семь веков, а мы все говорим — не много ли чести?

— С ними обошлись мягко!

— Мягко ли? Крови было много...

— Не перебивайте, дайте человеку кончить, рассказывай, досточтимый...

— И кто были эти павликиане, которых никак не забудут?

— Изверги, сущие изверги, — продолжал прерванный рассказ досточтимый Паркев. — Отрицали загробную жизнь — до чего дожили! Хотят, видите ли, жить хорошо в этой жизни — вот к чему они клонили. Им бы пахать землю, таскать камни, а они хотели жить как мы, благородные. Они разглагольствовали о боге, церкви и священном писании, а вникнешь — помышляли захватить наши богатства. Представьте кого-нибудь из этих оборванцев в виссоновом плаще, на коне с богатой сбруей. Смеетесь? Тогда было не до смеха. Червь еретический поглотил души людей, жизнь праведных была в опасности...

Святая церковь предала их анафеме, но они восстали, о, их была тьма! К ним присо- единилась вся голодная чернь, — кто мог их остановить? Знать обратилась за помощью к ромеям, — что оставалось делать? Павликианская ересь стала проникать и в Византию, и ромеи сразу откликнулись. Они карали мечом, без пощады. Еретики — кто был истреблен, кто разбежался по свету. Казалось, избавилась армянская земля от трехвекового прокля- тия. Но говорю: чем-то разгневали мы бога — не успели покончить с павликианами, появи- лись тондракийцы. Эти оказались страшнее первых. Их предводитель — исчадь сатаны! Этот Смбат Зарехванци начитался павликианской и других ересей. Паршивая овца отравила стадо, и опять в дело вмешались ромеи. Опять они были беспощадными. Казалось, зло ис- коренится. Но в лукавой душе, как говорят, не взойдет дар святого духа — премудрость.

И бежали они сюда, в Киликию, с отравленными душами, заражая хворью других...

В какой уже раз здесь под мерцающими огнями светильников раздавались гневные слова в адрес еретиков! Размышляли о росписях, обсуждали мудрые мысли, приводили высказывания из священного писания, и вдруг кто-то мог прервать размышления резким выкриком.

— Ересь!

Останавливались взгляды, расширялись глаза. Благочестивые мужи, напуганные неожиданным обвинением, погружались в мрачные видения. Кто-то представлял муки ада, кто-то ограждал себя крестом...

Разговоры об учениях, мудростях и красоте тут же исчезали, — говорили о ереси, только о ней. Благочестивые и проникательные мужи умели выискать ее в чем угодно, — в

росписи, словах, строках, поступках, в размышлениях о честности, справедливости или боге. И разговор, который, казалось, был вчера уже до дна исчерпан, вдруг вспыхивал с новой силой.

— Да, да, они — эти павликиане и тондракийцы — дьяволы спесивые. Особенно тондракийцы: нечестивцы дошли до того, что усомнились в строках священного писания, насмехались над крестом, алтарями, стенными росписями, над таинствами и обрядами. Жертвоприношения они называли бессмысленными. Святотатство их не знало предела — они даже говорили, что женщины и мужчины равны; как павликиане, они твердили, что блаженство может быть только на земле, что все люди рождаются равными, что сословия и происхождение — людская выдумка.

О, дьяволы! Они разрушали монастыри, замки, дворцы и храмы. Они топтали священные писания и кресты, сжигали облачения священников, а сосуды с мирром кидали в овраги...

И мрачные видения вставали перед их глазами. Теперь они видели пожары, слышали крики ужаса. Кто-то завопил:

— Им нужны наши богатства!

И чтобы развеять опасения, успокоить, кто-то с нарочитой радостью, со смехом говорил:

— Но с ними расправились, расправились! Четвертовали, заживо бросали в костры, выжигали на лбу печати с изображениями лисиц, чтобы знали все, кто они.

— С ними расправились еще два века назад, но они все дают о себе знать.

Но внезапно становилось тихо. И слышался чей-то умоляющий голос:

— О, боже, когда же покончат с ними навсегда!

Однако не всех в Киликии приводило в негодование это слово — «ересь». Каменщики и землепашцы, мелкие лавочники и разорившиеся торговцы, портовые грузчики, бездомные бродяги, странствующие комедианты... «Дошло и до нас, — писал католикос Нерсес, — некоторые сбившиеся с пути истинного священники снова возбуждают смердящую ересь проклятого Смбата Тондракеци: церковь якобы не создана богом, церковь — это только мы сами — то есть община верующих, а книга Маштоца и то, что ею утверждается: прославление креста, церковь и все остальное — неприемлемо...»

Живущее в веках не могло исчезнуть быстро. Еретики подвергались гонениям, но учение их передавалось из поколения в поколение. Почти весь страждущий и обездоленный люд не только без ненависти, а даже с гордостью и теплотой рассказывал о временах, когда ратовали за равенство, прославляли тондракийского Христа, готового прийти на помощь людям при жизни. Теперь они высказывались с опаской — отцы церкви, князья смотрели в оба. Еретики переселялись в дремучие леса или в горные пещеры — подальше от людей. Здесь они размышляли о церкви, человеке и боге, о справедливости и несправедливости. Иногда к ним мог забрести случайный путник. И если он был правоверным — с ним вступали в спор.

— Вы отрицаете божию церковь, бесстыдники! — возмущался правоверный.

— Нет церкви...

Правоверный осенял себя крестом или хватался за голову.

— Вы и в существование ада не верите?

— И ада нет, — отвечали еретики, — всемогущий, всеблагий и добродетельный бог не мог уготовить человеку такие ужасы. А если ад и был, то Христос его разрушил. Теперь не страшно попасть туда: живи, радуйся. Только жизни-то нет.

— И как не страшитесь вы своих слов!

— Чего нам страшиться! Еще апостол Павел сказал: ничто не может отлучить нас от любви божьей во Христе. Бог всегда с нами, была бы жизнь.

— Но любовь эту заслужит проживший праведно.

— А чем мы не праведны, чем хуже тех, кого называют благочестивыми и благонравными. Может, не хватает громких имен, золота для пышных пиров? Но нам бы немного вина и ясного неба над головой.

— О...

Слышал о еретиках Торос Рослин — на привалах больших дорог, на сельских и городских гуляниях, в тавернах, замках, портах. И даже в Дарбасе — не раз видел он: царь потрясает кулаками, требуя покончить с хулителями церкви. Видел, как при одном упоминании о еретиках каменели от ненависти лица католиков и епископов. Лица князей, владельцев крепостей, замков, богатых купцов, ростовщиков. Все это видел Торос Рослин — от его пронизательных глаз вряд ли могло ускользнуть это. Видел он закованных в цепи еретиков, избитых, с запуганными лицами, видел их гордыми, неукротимыми, не отрекавшихся от своих убеждений ни под плетью, ни под железными прутьями. Могучий дух жил в этих людях! Их проклинали в проповедях и посланиях, с кафедр церковей, амвонов, с ними запрещали общаться, вступать в брак, а они не отступали. Как относился к ним Торос, сочувствовал ли им? Трудно представить в данном случае сочувствие художника, воспитанного в Ромкле — обители правоверия. Но такой сложный человек, как Торос... Мастер, усомнившийся в вековых канонах миниатюрного искусства, ищущий, пронизательный. Он мог отрицать ереси в целом, и все же они могли посеять в нем некоторые сомнения. Он мог даже втайне сочувствовать еретикам; в каждом художнике живет романтик, а бунтари, восстающие против общепринятого, всегда романтики. Во всяком случае, ему, Торосу, было над чем подумать. Он знал, что тондракийцы разгромили один из центров паломничества, где богатые и могущественные насильники, обирающие простой люд, ведущие разгульную жизнь, получали отпущение грехов, взамен одаряя церковь землей и золотом. Разве такое не вызовет сомнений?

Он не раз читал в священном писании, что врата в царство небесное открывают добрые дела, забота о больных, сиротах. Но есть люди, покупающие себе это право за деньги, к тому же невесть каким образом приобретенные. Менялы, работоторговцы, землевладельцы, которые довели крестьян до нищеты, алчные ростовщики. Писание запрещало ростовничество. А выхолит, они, как и праведные, могли оказаться на небесах. Неужто за это жертвовали жизнью первые христиане? Их бросали в клетки языческих цирков на растерзание львам, их сжигали живьем, бездну мученичества претерпели они, отстаивая веру.

Не пожертвовал бы во имя веры чем угодно и он, Торос Рослин? Но когда он вновь и вновь перечитывал библейские сюжеты, размышляя о путях, ведущих в райскую обитель, то все, казавшееся таким ясным, становилось сложным и непонятным.

Вряд ли он сомневался в истинности догм христианской веры, в спасительной миссии Иисуса Христа, торжестве добра над злом и других добродетелях: они принимались им безоговорочно. И ему, вероятно, трудно было представить, что человек может существовать без веры. Но многое в поведении верующего человека повергало его в недоумение: ратовали за благочестие, а сами жили далеко не благочестиво. Вино, женщины, музыка были их утехой. В замках и во дворцах своих, усадьбах или тавернах они закатывали пышные пиры, где песни и тосты славил женскую красоту и бесконечную любовь. Зверинцы, спектакли, зрелища с участием мимов, гусанов и танцовщиц, и при этом всегда — роскошь и блеск.

И Торос Рослин, благодаря своей пронизательности, умению проникать в человеческие души не мог не заметить этого. Одни отрицают рай, ад, страшный суд, утверждают,

что блаженство только земное. Другие усматривают в этом ересь, осквернение святости религии, но всеми своими поступками, образом жизни, подтверждают правоту первых. Не мог не задумываться над этим Торос Рослин, хотя он благочестив, и преданность его католику и церкви несомненна. Но фальшь, лицемерие, лукавство — они были рядом. И когда он хотел изобразить ханжество фарисеев или книжников, показать скрытое за поцелуем предательство Иуды, он, очевидно, переносил на пергамент живые впечатления жизни. И кто знает, сколько таких ханжей, проповедующих одно, а делающих другое, показал он в росписях!

Есть произведения Тороса Рослина, где рядом со святостью мученичеств и страдания, рядом с блеском алтарей и мерцающим пламенем свечей встречаются персонажи весьма неожиданные. Неожиданна и трактовка образа, и само появление его в сюжете миниатюры. Люди с бесстрастными, холодными взглядами, или, наоборот, — с алчущими глазами. Им, этим людям, наверное, не страшны ни ад, ни сатана, ни дьявол, — они трезвы, стремительны, живут минутой, спешат урвать свое, им не до благочестия — так невольно думаешь, глядя на этих персонажей Тороса Рослина. Он, конечно, далек от того, чтобы поддерживать обличения еретиков. Но Торос Рослин — художник...

ПРАЗДНИК ЛУСАВОРИЧА



аступал в году день, когда каждый киликиец мог надеяться на великодушные божье. Могли просить пощады еретики за содеянное, за грехи свои, могли покаяться и другие грешники. Больные молили об исцелении, бедные жаждали облегчения участи...

Всеблагий и Всемогущий бывал в такие дни особенно милостивым.

Праздник святого Григора Лусаворича справлялся в апрельскую субботу, когда из лопнувших почек только-только проклюнулись неукротимые листочки, цвело разнотравье, небо становилось выше, а в воздухе словно разлилось облегчение, приходящее после зимних забот и тягот.

Уже с раннего утра по дорогам, ведущим к крепости, потянулись вереницы подвод, груженных баранами, вином и птицей. Дороги проходили по равнине, окружающей скалу, на которой возвышалась крепость.

За подводами шли пешие. Это был самый разношерстный люд. Бездомные изгои — парикосы, крестьяне, разоренные налогами, несущие повинность за неуплату долгов. Шли ремесленники, пекари, виноградари и землепашцы, продавцы вина и оливкового масла.

Они шли группами или же плелись поодиночке на небольшом расстоянии друг от друга. Кто прятался от нещадного солнца, прикрываясь кипарисовыми ветвями, кто под походным навесом. Больные на подводах стонали. Среди них было множество слепых, горбатых, безногих...

Те, что побогаче, держались рядом с владельцами замков, крепостей и городов. Слуги несли знамена и гербы своих могущественных господ.

Среди всего этого разноцветья одежд сверкали кресты, талисманы и амулеты, то и дело слышался перестук посохов, пошлепывали сандалии. Многие паломники шли босыми. Окровавленные ноги говорили о том, какой далекий путь остался позади. По мере того, как крепость приближалась, некоторые отставали от попутчиков и продолжали свой путь на коленях. Эти муки вселяли надежду на искупление грехов.

Крестьяне, работающие на полях и огородах в окрестностях Ромклы, бросали лопаты и грабли и примыкали к паломникам. Где-то у деревень, на перекрестках дорог толпы людей соединялись в огромную колонну и направлялись к Ромкле. И уже на подступах к ней колонна вновь расплзлась, по узеньким тропам, ведущим к крепости, могло пройти не больше одного-двух человек.

Паломники двигались к Ромкле и с севера, и с юга, с запада и с востока. Прибывали и армяне, живущие во франкских государствах.

Часть располагалась в крепости, вокруг церквей, другие оставались внизу, чтобы встретить паломников из Сиса. Ожидали увидеть среди них самого католикоса. Но даже не этим объяснялось волнение и нетерпение собравшихся — из Сиса везли золотую десницу святого Лусаворича.

Она обычно хранилась в Ромкле, в католикосате, в столице же оказалась во время царских торжеств в честь победы. И вот все ждали ее возвращения.

В день праздника святого Лусаворича художники Ромклы, одетые празднично, сидели на террасе скриптория. Редко кто ронял замечания — в основном наблюдали молча. Впечатлений было предостаточно. Иногда художники безмолвно переглядывались, понимая кивали. Порой кто-нибудь из них спускался с террасы и исчезал в толпе, вслушиваясь

в молитву, песнопения, вглядывался в лица, огни свечей, пышный наряд церквей, а возвратившись, садился в кресло, стараясь запечатлеть увиденное.

Варпет Торос в этот день появился здесь лишь один раз, но тут же ушел куда-то вместе с варпетом Константином. Тот возвратился, а Рослин не приходил. Он бродил возле церквей, где с каждым часом становилось все теснее, потом спустился к дороге, на которой ожидал увидеть крестный ход из Сиса. Среди этих людей из дальних мест его мало кто знал: можно постоять, поговорить, и никто не станет теревить, расспрашивать — об этом варпет Торос мечтал давно. Толпы паломников все возрастали, и каждая, казалось, имела свой облик.

Приходили вести о паломниках из Сиса. Говорили, что они где-то поблизости и вот-вот появятся. И вскоре с самой высокой крепостной башни раздались звуки трубы — глашатай возвещал о прибытии. Ответом были вздохи, восклицания, рукоплескания, слышались молитвы, обращенные к Лусаворичу.

Те, кто уже расположился на траве, повскакали с мест. Одни побежали к крепостной стене, откуда виднелась, как на ладони, вся местность, другие — к воротам, чтобы спуститься вниз, к дороге.

Народ уже запрудил дорогу. Толпа двигалась навстречу крестному ходу. Неожиданно какой-то молодой священник выбежал вперед, встал к толпе лицом, поднял обе руки, в одной из которых поблескивал крест,

— Куда вы? — кричал он, потрясая крестом.

Толпа повиновалась.

— Назад, назад! — не успокаивался священник. — Встретим их у самой крепости.

Толпа послушно попятилась назад.

Взволнованные голоса внезапно стихли. Лишь изредка доносились тихие слова и фразы. Пот градом лился с паломников. Так простояли около часа.

Вот прибыли крестные ходы из Аданы и Мараша. Им уступили дорогу. Но узнав, в чем дело, те присоединились к ожидавшим. А немного погодя раздался конский топот. Из-за горизонта выплыло облако пыли. Потом в нем стали различимы силуэты всадников. Отряд вооруженных священнослужителей приближался к толпе. Та замерла в изумлении.

Вот отряд замедлил ход, священнослужители и воины начали снимать оружие и походные плащи. Засверкало золото и серебро праздничных нарядов. Но даже меж ними выделялась роскошная риза человека в высоком головном уборе. В нем узнали католикоса. Его приветствовали радостно:

— Хвала тебе, благочестивый муж!

А потом опять стало тихо.

Католикос выступил вперед, за ним потянулась свита. Четыре священнослужителя подняли над головою патриарха балдахин. Во главе всех встал человек, державший что-то на вытянутых руках. Это была десница Лусаворича! Ее несли на серебряном подносе.

Тишину нарушило восторженное ликование. Теперь уже паломников ничто не могло остановить. Они бросились к прибывшим из Сиса, обступили со всех сторон католикоса, его свиту и человека с серебряным подкосом, где покоилась священная реликвия.

Высокий юноша в праздничной монашеской ризе шел твердо, уверенно, с высоко поднятой головой. К нему потянулись дрожащие руки — каждый хотел прикоснуться если не к деснице, то хотя бы к тому, кто ее нес, ведь десница, которую он держал в руках, делала его святым в их глазах.

Но юноша с реликвией шагал, ничего не видя вокруг.

Раздалась протяжная песня. Ее подхватили. Некоторые опустили на колени, погрузились в молитвы. Они обращались с мольбой не только к Всевышнему, но ко всему зримому и незримому, взывая о помощи...

«Преображение». Рукопись 1265 года. По евангельскому рассказу, спустя шесть дней после беседы с учениками Христос вместе с Петром, Иоанном и Яковом поднялся на высокую гору и преобразился перед ними. Лицо его воссияло, как солнце, одежда сделалась белой, как снег.

Потом явилось светлое облако, осенило всех, и раздался из облака глас: «Люблю его и благоволю к нему».

Волшебная кисть Рослина...

Словно потянулись потоки лучей, и озарилось светило на синем небе. Плоские золотистые круги ореолов, окружавших святых и апостолов, похожи на луну, а посреди них огромный овальный ореол.

В нем — Христос. Белые одеяния его сочетаются с обрамляющим всю его фигуру золотом. Она изображена во весь рост. Со свитками в шуйце, подняв благословляющую десницу, стоит он на горе. Поза величавая, ореол вокруг головы соприкасается с горной вершиной. Сверху, сквозь небесную синеву, падает густой поток света. Все сияет в чудесном ярко-синем мире, порождая красоту, радостную, дивную.

Гора, на которой стоит Христос, трехглавая. По обе стороны ее на двух других вершинах справа — Илья, седовласый и седобородый старец, воздел руки к Христу, слева — Моисей, безбородый молодой человек, держит скрижали. Они явились к нему, чтобы убедить: не простой он проповедник, а сын Божий.

Перед каждым святым вырастает темно-зеленая пальма с красными каплями цветков, а внизу, у подножия горы, устрешенные апостолы. Пять стремительных, пронизывающих лучей, исходящих от ореола Христа, словно впились в ореолы апостолов и пророков.

На пергаменте доминируют яркие синие краски и золото, но живопись картины в то же время обогащена белыми, голубыми, темно-синими, темно-коричневыми, светло-лиловыми пятнами. Звучный синий и золото в какой-то степени господствуют над многокрасочностью картины, хотя светло-лиловый и особенно белый не только самостоятельны, независимы, но и незаменимы, они вносят свое, усиливая ощущение озарения.

Уместны и даже необходимы в «Преображении» и темные по колориту пятна. Темно-коричневая власяница Ильи, соседствующая со светящейся мандорлой Христа, или иссиня-черная с зеленоватым оттенком земля, темно-серый, с голубыми переливами хитон Иоанна — все это несколько снижает блеск и звонкость, внося в живописный ритм некоторое равновесие.

«Преображение» словно мозаика. И не только самых разнообразных по звучанию и колориту красок, но и характеров. Илья степенен и полон достоинства, Моисей при всей своей молодости мудр, держится почтительно. Петр воспринял случившееся смиренно. Он на коленях, а руки, как бы произвольно потянувшиеся кверху, показывают на Христа. Иоанн пал ниц, охваченный стра-

хом и смятением. Яков съежился, недоумевая, чуть встревоженный, чуть напуганный. А сам Христос похож на человека, наделенного неземной силой.

Идея «Преображения» традиционна. Еще древние христиане утверждали, будто Моисей и Илья были избраны как представители двух миров — умерших и живых — дабы показать власть Христа и над жизнью, и над смертью.

Жизнь и смерть... Два эти слова в тот день тысячи раз склонялись в молитвах и разговорах...

Уже наверху, в самой крепости, паломники вновь слились в одну длинную колонну. Процессия прошествовала к церкви Григория Лусаворича, десницу водрузили в алтаре. Два монаха-хранителя, склонив головы, встали по обе стороны ее.

Под вечер зазвонили колокола. В святом Лусавориче ожидалась проповедь католика. Католикос Константин говорил о всесии и справедливости бога. Бог ниспосылает на землю дождь и росу, дает пищу и одеяние, дарует любовь и успокоение. На страшном суде он взыщет с грешников и отступников. Праведникам же уготован рай.

Вздых одобрения слышался под сводами храма. Большинство собравшихся не сомневалось в собственной праведности. Католикос закончил проповедь восхвалением Христа и осуждением неверных. Он пожелал больным исцеления, страждущим — покоя, ожидающим близких скорого свидания с ними...

После проповеди католикос, епископы и князья удалились в отведенные им хоромы. Но праздник продолжался. Хор певчих исполнял песнопения, литургию, вечера, шараканы. В перерывах появлялись дьячки с серебряными дароносицами. К священным сосудам тянулись сотни рук, — прикосновение к ним могло принести исцеление, счастье.

Ученые вардапеты вышли из церкви к людям, чтобы разъяснить им смысл паломничества, выноса креста и хоругви. Затрещали костры. В огромных медных котлах клокотала вода. В нее опускали туши обреченных на заклание баранов, коз, кур, петухов. Будущую жертву освящали, прежде чем вонзить в нее нож. Для этого ей нужно было проделать семь кругов вокруг храма. Кур и петухов несли на руках. Коз и баранов вели на веревках. Рядом с взрослыми в это время были и дети — считалось, что они приносят удачу.

Под вечер заиграли дудуки, пустились волнами плавные медленные хороводы дев. Их праздничные одеяния мерцали под луной. Потом забили барабаны, в их звуки порой врывался громкий смех блаженных. Их можно было встретить во всех уголках крепости. Появление их вызывало оживление. В разодранных хитонах, босые, с взлохмаченными волосами, увешанные талисманами и крестами, они угрожающе потрясали кулаками, проклиная чертей и дьяволов, пробравшихся в человеческие души. Блаженных обступали, к их словам прислушивались. А они, распалаясь, били себя в грудь, рвали на себе остатки рубищ.

— Нас избрал бог! — кричали они. — Слышите? Избрал, чтобы донести до людей Его заветы и наставления!

Одним они наказывали зарезать барашка, другим возжечь свечу, чтобы искупить грех. Они обвиняли, не называя имен, но иные узнавали себя.

— Есть такой, люди! Называет себя благочестивым, а сам не прочь проглотить бурдюк с вином. Слушает нечестивцев — гусанов, глаз не отрывает от танцовщиц. Может, он среди нас? У него поля такие, каких не сыщешь во всей Киликии, собирает в год по два урожая апельсинов и мандаринов. А крестьяне его бедствуют и ждут милости от бога. Может, видел такого хозяина, люди?

Все хохотали, переглядывались. Потом взоры скрещивались на каком-нибудь почтенном пароне, раздавалось хихиканье.

Священнослужители молча и презрительно поглядывали на блаженных. Если бы!.. Но нужно быть выше, не замечать, не уподобляться — была бы на то их воля...

Поздним вечером католикос, окруженный свитой, вышел к паломникам. Он ступал меж людских скопищ, и сотни взоров, обращенных к нему, светились благодарностью. Они выражали мольбу и надежду. Иногда Тер-Константин останавливался перед каким-нибудь больным и, прочтя короткую молитву, двигался дальше.

Он обошел весь стан паломников и направился к своей резиденции.

— Молитесь богу! — напутствовал католикос толпу, прежде чем исчезнуть за дверьми.

Они опускались на колени, уверенные, что чем больше молиться, тем быстрее господь внемлет их гласу.

Они опускались на колени перед порталами и нишами церквей, и каждый верил: вот-вот настанет его час, господь непременно откликнется на крик его души, сжалится над его несчастьями.

Молениям не было конца. Будто нависло над Ромклой нечто многоголосое, скорбное. Шепот, восклицания, плач, треск костров и бляение баранов, смешавшись, таяли во мраке.

Какой-то крестьянин скинул с себя холщовое рубище и, полунагой, дрожащий, взывал:

— Верни сына моего единственного. Угнали его. Отдам корову и коз, ничего не оставлю себе, верни мне, господи, моего единственного!

Просили у господина покарать грешников — владельцев полей, это ведь из-за их грехов земля не родит. Просили счастья и удачи, солнца и дождя. И чтобы околели те, кто зарится на чужое добро, ненасытные и алчные, беспутники, предавшиеся чревоугодию, люди, одержимые дьяволом, убийцы, неверные.

Бездомные просили крова и хотя бы десятину земли. Пахари заклинали о том, чтобы хозяин стал хотя бы малость пощедрее, неискусные мельники умоляли даровать им умение. Матери прокаженных молили господина об исцелении, калялись грешные мужья и жены.

Двое купцов показывали в сторону гор.

— Там, оттуда все наши несчастья! Нагрянут внезапно разбойники, и от нажитого ничего не останется. Десять баранов приношу в жертву, только сжался, сохрани нас от них!

— А я целую отару...

— А я бы и рад, да нет у меня ничего, кроме одного барана...

— А у меня один петух. Беден я...

— Не дай детям моим помереть с голоду!

— Искорени зависть, что давит мне душу!

Во дворе церкви Лусаворича перед могилами католикосов молились хромые и горбатые, глухие, бесноватые. Незрячие искали дорогу к церкви, где хранилась десница, которая могла исцелять. Казалось, сам воздух вокруг нее был чудодейственным.

— Вылечился! — вскричал исхудалый, с изможденным лицом мальчик. — Теперь и я буду ходить, как все!

Он молился у могилы святого, и голос неведомый сказал ему об этом. И он поднялся с колен, намереваясь сделать первый шаг. Прошло, однако, несколько секунд, и калека рухнул. Чудо не свершилось. Кровь залила его разбитое лицо. Мальчик потерял сознание.

Родители подняли его, перенесли на свою арбу. Отец уложил сына на солому, а мать рвала на голове волосы.

— Умереть бы мне! За что это, за что, господи?

Кто-то сказал укоряюще:

— Знать, вера в вас не настоящая, с червоточинкой. Вот и покарал господь.

— Головы бы тебе не сносить за эти слова!

- А укоряющий, не отвечая, воздел руки к небу.
— Воскреси в людях веру, господи!
— Воскреси в людях веру...
— Воскреси в людях...
— Воскреси...

«Воскрешение Лазаря». Рукопись 1265 года.

В отдалении струятся лучи полуденного солнца. Выситя голубая гора, темно-зеленое дерево.

Да, они проделали немалый путь. Они — учитель с учениками. Но прежде, чем дойти до здешних мест, нужно было добратся до горы, а потом, обогнув ее, выйти к селению Вифания, что близ Иерусалима, дабы сотворить чудо — воскресить умершего.

И вот они стоят перед домом, где-то рядом пещера, а там под камнем покоится мертвый Лазарь. Скоро он будет воскрешен, жители Вифании, изумленные, пойдут к первосвященникам и фарисеям и расскажут им о том, что было...

Рослин показал только главное: воскрешение — символ воскрешения всех праведников после страшного суда. Так толковали эту сцену многие художники его времени. Воскреснет все несправедливо поправленное, восторжествует добродетель.

Напротив Христа с учениками стоит «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами Лазарь». Лицо его только что высвободили из-под платка, и он смотрит на воскресителя чуть испуганно, чуть недоуменно. За ним — темно-синие хоромы с красными, коричневыми, лиловыми крышами.

В них он жил. Рядом с Лазарем стоит человек, сжавшийся от удивления в комок. Он в красном хитоне, черных чулках. Он один из тех многих, кто увидел и не поверил своим глазам. Он символизирует пораженную чудом толпу. А напротив воскресшего — Христос с учениками — взгляд уверенный, жест повелительный.

«Преображение», «Воскрешение Лазаря»...

«...Написано сие по повелению и на средства благочестивой великой госпожи Керан из рода святых патриархов армянских, дочери господина Константина, владыки Ламбронна, ставшей женой блистательного господина Джофре, владыки крепости Сарвандикар.

После смерти его она посвятила себя молитвам и творила много добра, став матерью кротости. Посвятив себя церкви, она стала именоваться Анной. И была настолько христоролюбивой, что неустанно пеклась о монастырях, обителях и храмах, была верна господу и творила благодеяния.

Передав текст святого евангелия через руки благочестивого священника Тороса, племянника святого католикоса армянского, она повелела написать евангелие мне, недостойному Торосу по прозвищу Рослин...»

Могло быть...

Дороги к крепости ухабистые и крутые. Не раз скакали по этим дорогам люди княгини в Ромклу, чтобы узнать у варпета Тороса, как идут дела с рукописью. А когда она была закончена, княгиня Керан послала за ней доверенных и отважных.

Или...

Едет княгиня на праздник Лусаворича в Ромклу, и мысль увидеть свое евангелие не покидает ее! Если не завершенное, то хотя бы отдельные листы, — думает она. Керан из рода ламбронских князей, которые почитают все византийское, с детства говорят по-гречески, часто бывают в Константинополе. Но заказывает рукопись она киликийскому художнику. Княгиня — женщина с тонким вкусом, хорошо понимает искусство.

К ночи вся Ромкла пылала огнями. Из окон и распахнутых дверей церковей лился свет. То там, то здесь вспыхивали все новые костры. На подводах, подоконниках домов, на оградах и могильных плитах можно было видеть зажженные свечи. Небо было обхвачено заревом. В отсветах его поблескивали купола, шпили, кровли...

Варпет Торос все еще блуждал по крепости. Вокруг костров толпился народ. Паломники ели вареное мясо, пили вино, часть трапезы отдавали нищим. Некоторые, забыв о недавних своих мольбах и слезах, говорили, улыбались, иногда посмеивались. Но грустных и скорбных было намного больше. Они искали сочувствия. Рассказывая о своих горестях, в сердцах били себя в грудь, хватались за голову. И варпет Торос, внимательно наблюдавший за всем, что происходит вокруг, на миг забыл о празднике и о священнодействии, о всемогущем боге. Он забыл и об исступленной мольбе, об услышанных словах благодарности, благословения. Все, все святое словно исчезло внезапно, и он увидел самые обыкновенные людские чувства.

Кадила, хоругви, кресты, лампы, дароносицы, ризы, алтари, амвоны — всего этого будто и не было рядом. Перед ним возникали ветхие домишки без крыш и окон, он видел изнуренных, страдавших людей.

Под утро зазвонили колокола, и все затихшее было людское море вновь заколыхалось, задвигалось. Усталые, с опухшими глазами паломники вновь потянулись к церквам. И опять слышались страстные, исполненные отчаяния мольбы, начались немые исповеди перед могильными плитами и стенами оград. И опять все ждали с нетерпением проповеди католика в церкви святого Лусаворича.

Он пришел в новом облачении. Сменили одеяния и сопровождающие его архиепископы. Потом пришли князья, распространяя запах благовоний. В тишине раздался голос Тер-Константина...

А под вечер крепость опустела. Потекли по дорогам обратно домой подводы, пешие...

Тот, кто надеялся на скорейшее свершение чудес, возвращался опечаленный, но знал: на все воля господня, и если сейчас молитвы не дошли до него, то рано или поздно все-таки дойдут!

А через год Рослин иллюстрировал обрядник «Маштоц». Заказчик «Маштоца» — епископ Вардан. В сборнике самые разные молитвы — свадебные, праздничные, молитва в честь посвящения художника в мастера. В обряднике этом, как ни в одном другом, ранее расписанном им произведении, Рослин особенно утончен, хотя эта утонченность свойственна многим, почти всем его произведениям. Но в рукописи 1266 года...

Краска положена на пергамент мягкой кистью довольно тонким слоем. Часто встречающиеся в миниатюрах светло-коричневый, местами отдающий еле заметной розоватостью, вкрапления неопределенного изменчивого белого, розового, серого вносят в картину ощущение теплоты, спокойствия.

Интенсивность и драматизм красок, столь характерные для Рослина, несколько ослабевают. Невольно думаешь о 1266 годе — годе мирных дней и надежд, невольно представляешь художника, восторгавшегося восходом солнца, росой, свежестью травы и деревьев. Гроза нагрянет скоро, но пока течет мирная жизнь, и ею можно наслаждаться...

В миниатюрах главенствует цвет во всех своих тончайших сочетаниях и переливах. Светлый, построенный на игре нежных и тонких красочных оттенков колорит, такой, как в миниатюре «Успение Иоанна Богослова». Краски хрупкие, будто просвечивают. Порою кажется, что они вот-вот растают.

Иоанн лежит в гробу, его оплакивают святые. Рядом работники с лопатами. На картине не так много тех, кто пришел проститься с Иоанном. Но невольно за ними видишь и других — огромную толпу. Бело-голубые, светло-лиловые, светло-серые, светло-зеленые, красные, коричневые пятна одежд. А за спинами людей мерцающий золотисто-коричневый фон, делающий картину лучистой.

Вот евреи, перешедшие Красное море, — многоцветие одежд, лица — точки, но при этом обилие разных характеров. Вот три пророка, брошенных в огненную печь. Красные языки пламени, осветившие лица этих отроков, готовые поглотить жертвы, не в силах нарушить их спокойствия. Юные пророки верят, что никогда не погибнут. Над ними ангел-хранитель, он не оставит в беде...

Интересно, что в ишатакаране «Маштоца» художник называет себя просто Торосом без прозвища «Рослин». Писцом этой рукописи был Аветис из Сиса. Содружество Рослина со знаменитым писцом началось еще четыре года назад. Искусствовед, историк и палеолог Гарегин Овсепян, один из ранних исследователей Рослина, высказал мнение, что памятная запись обрядника, изображенная в виде хорана, а также заглавные буквы и маргиналы выполнены Аветисом. Он предположил также, что в некоторых миниатюрах рукописи приняли участие ученики Тороса.

Приписываемое Аветису и в самом деле значительно отличается от бесспорно рослиновских работ, в особенности памятная запись обрядника. Если в хоранах Рослину присущи виртуозность, артистизм, чрезмерность фантазии, и краски его звонки, то в памятной записи находишь лаконизм и интенсивный густой цвет, хотя миниатюры этой рукописи по колориту воздушны и легки...

Что же до учеников... Во всяком случае, несомненно, это были ученики, глубоко проникшие в душу, образ мыслей своего учителя. Возможно, они выполняли отдельные детали в миниатюрах, завершали незаконченное, — дух и стиль Рослина везде и всегда сохранялся.

До нас, к тому же, не дошло произведения, похожего в чем-то на рукопись 1266 года. Но если ученики и приняли участие в работах варпета, в искусстве они шли собственными путями, не становясь его тенью.

Он называет себя просто Торосом... Но вряд ли кто усомнится, что художник Торос, автор миниатюр «Маштоца» — это Торос Рослин. Смягчение колорита, краски будто излучают свет, но не теряют определенности, осязательности, мерцающий золотой фон — все это было уже в евангелии 1265 года, все это мы находим и в евангелии 1268 года.

И в той, и в другой, и в третьей, как и во всех остальных рукописях Тороса, видишь его стремление показать суть человека, все взлеты его души.

Вновь терраса скриптория, досуг. Художники Ромклы делятся впечатлениями, воспоминаниями, наслаждаясь легким ветерком.

— Скоро весна, варпет Торос, скоро соберутся люди на праздник святого Лусаворича, а у меня в глазах стоит прошлогоднее паломничество. Будто и не кончалось оно...

— А может так и есть? Кончается одно, наступает другое. Человек тянется к святыне, хочет поклониться ей — своей земле, или мудрости.

КРОВЬ



среди бесчисленных молитв пред алтарями церквей или святыми реликвиями и камнями, между бесчисленных назиданий, наставлений и пожеланий слышалось часто: «Мир нам, господи! Главное — мир!». Просили и могущественные, и бездомные, пароны и изгои. В мире нуждались все. Но долго ли суждено было продержаться ему?

С высоты холма виднелась вся окрестность, и всадники придержали коней. Внизу, из прозрачной голубизны возникал город. Солнечный свет уже отражался на крышах его высоких соборов и падал вниз, в марево, вырывая из него то вышки крепостных стен, то кривые полосы небольших улиц, то зеркальные очертания бассейнов, увенчанных роскошными фонтанами.

— Чудо! — вырвалось у одного из них. — Слов не нахожу, Варпет.

— Я тоже, Хачерес.

Они улыбнулись друг другу и, пустив своих лошадей шагом, начали медленно спускаться по крутой тропинке. С приближением город обретал все более ясные очертания. А вскоре можно было уже разглядеть зубчатые городские ворота, бойницы высоких стройных башен крепости. Она лежала на четырех возвышенностях горы и сама чем-то напоминала гору. Это придавало ей таинственную величественность. Мощь и неприступность крепости признавались всеми. Киликийцы не без гордости называли свою столицу «Сис — царь крепостей»...

Всадники въезжали в город, славившийся своими школами, книгохранилищами, колокольнями, звонницами, триумфальными арками, садами, караван-сараями, банями. Все лучшее, воспринятое и порожденное самой Киликией, можно было увидеть в ее столице.

В ней ощущаешь дыхание ее кипучих портов, изобилие базаров, талант ваятелей, зодчих, ученых, живописцев, поэтов. На зданиях глянцевито поблескивала, радуя глаз, красочная мозаика. Из ниш дворцов и храмов смотрели лики пророков, богородиц. В мастерских корпели резчики, чеканщики, золотых дел мастера, из кузниц доносились гулкие удары молота...

На плоских кровлях домов громоздились горы персиков, абрикосов, груш, яблок, собранных для сушки. Здесь отдыхали, отсюда был хорошо виден город — все как бы смешивалось в единую мозаику своими яркими красками, дома то прятались, то выглядывали, уплывая этажами ввысь.

Более двух десятков церквей и соборов различных эпох, разнообразных форм, стилей, начиная от небольшой приземистой церкви Богородицы, построенной в XII веке Леоном Великим, кончая королевским собором Святой Софии, воздвигнутым по велению Гетума Первого, вносили в панораму города торжественность. Их колокольни вздымались чуть ли не во всех уголках, их камни могли бы рассказать о взлетах и падениях государей. Из храмов прежде всего приковывали внимание те, что воздвигались в честь святых — Богородицы, Рипсима, Марии, Саркиса, Акопа. Большинство сисских церквей было построено королем Гетумом Первым и его современниками — Гетуму хотелось походить на своего предшественника Левона, заслужившего имя «Великий», не только победными сражениями, но и созидательной, строительной деятельностью.

Собор Софии был похож на своего константинопольского собрата. Его четкий, но плавный силуэт возвышался над окружением, как корабль над спокойными волнами моря.

Множество окон, прорезанных в куполе, придавали ему ажурность, легкость. Он словно парил над храмом...

Купол выделялся в хаосе форм, цветов, строений. Его окружали вытянутые однефные базилики со сводчатыми залами с полуциркулярной абсидой на восточной стороне, с прекрасными алтарями и ризницами, полными драгоценных украшений, трехнефные базилики на мощных четырех столбах со скромным, аскетичным убранством, с фресками, таинственно проглядывающими сквозь полумрак мерцающих свечей. За храмом начинались усадьбы с фруктовыми деревьями, упрятанные в виноградную лозу, образующую над невысокими уютными дворцами густой зеленый навес.

Всадники въезжали в город, который был им хорошо знаком, но который тем не менее всегда казался неожиданным. Каждый раз они подолгу вглядывались в эти улицы, словно ожидая увидеть что-то новое.

Уже издали слышались им голоса торговцев, окрики погонщиков ослов, колокольчики верблюдов. Воздух оглашался звоном колоколов. Из таверн доносились звуки музыки. Купола бань, отделанных мрамором, были окутаны горячим паром. У входа в них продавались благовония, прохладительные напитки, жареное мясо.

Бесчисленные кривые улочки скрещивались, долили город на отдельные кварталы. Медленно, словно нехотя, просыпались кварталы купцов, ростовщиков, менял. А в это время там, где жили ремесленники и мастера, уже слышался отрывистый стук молотков, шорох кожи. Из окон высовывали шесты, сушились крашенные сукно и шерсть.

На окраинах теснились лачуги грузчиков, мусорщиков, водовозов, разорившихся лавочников, крестьян, бежавших от податей. Вокруг грязь, нечистоты, затхлые, прокисшие запахи.

Утро звало обитателей окраины к базарам, караван-сараям, огородам и садам. Они шли на заработки, шагая торопливо, с опущенными головами. Чинно шествовали к торговым рядам купцы в красивых атласных кафтанах, в остроконечных шапках; спешили в школу ученики с рукописями подмышкой.

Многоязычный гомон стоял на улицах утреннего города. В армянскую речь врывались греческие, арабские, еврейские, французские, итальянские фразы. Суетливая толпа заполняла улицы. Со скрипом открывались металлические ворота лавок и складов; на террасах пели петухи; из балаганов доносился рев тигров и хохот обезьян; у портиков монастырей мелькали черные силуэты монахов; из царской конюшни слышалось ржание; несколько темнокожих рабов мыли улицы.

Утренний шум все усиливался. Особенно шумно было в квартале генуэзцев и венецианцев. Кварталы эти славились своими тавернами, большими двух-трехэтажными домами, зодчество которых несло на себе печать готики и Востока. За домами вырастали храмы с фронтонами, перемежающимися отточенными башнями со статуями, с плоскими куполами, над которыми возвышался более высокий купол.

Поблескивал на солнце беломраморный палаццо венецианского посла. Меж аркад мелькала пестрая одежда служителей; поглядывая на небо, они курили длинные трубки.

Большинство домов этих переселенцев из Италии были покрыты белыми и розовыми плитами — мягкие и теплые краски сочетались с голубизной неба. Из окон, нешироких и редко расставленных, вырывалась темпераментно-звучная итальянская речь.

У входа в таверну собралась небольшая группа пьяных франков-крестоносцев. Их жесты и возгласы сопровождалась громыханием лат и панцирей. Время от времени кто-то из спорящих хватался за меч...

Город, город чудесный, могучий город! Его разрушили, его предали огню...

Всю короткую дорогу до царского дворца они промолчали. Он велел Хачересу подождать, а сам направился к главным воротам. У входа он столкнулся с канцлером, который шел в сопровождении свиты.

— Добрый день, парон канцлер.

— Добрый день.

Канцлер был поглощен мыслями.

— Рад видеть тебя, — сказал он. — С чем пожаловал?..

— Прибыл по зову его величества, привез рукопись...

— Можешь не спешить, его величество вчера уехал к монголам.

— Как уехал?.. А меня позвали...

— Поездка непредвиденная, — канцлер отвел собеседника в сторону и тихо, доверительно добавил: — Вчера мы узнали, что мамелюки собираются вторгнуться в наши края. Варпета словно оглушило. Он не находил слов.

— Тяжко, — канцлер глубоко вздохнул.

— Много их?

— Раз в пять больше, чем нас, и Гундстабль от ран не оправился. Монголы вряд ли помогут нам...

— Что будет с нами?

— Остается уповать на Его милосердие.

Канцлер, поклонившись, зашагал дальше.

А спустя немного времени раздались звуки труб, забили барабаны, зазвенели колокола. Весть о надвигающейся туче мгновенно разнеслась по кварталам.

Войско выступало из Сиса под вечер. Проводить воинов вышел весь город.

— Господь с вами! Будем молиться за вас!

— Скорого возвращения!

— С вами наше святое знамя.

— Удачи вам в бою.

Войско быстро удалялось, и вскоре исчезло за горизонтом.

У Аманского хребта киликийская армия разделилась на две части. Одна из них во главе с царевичами Торосом и Левонем заняла подступы к горному проходу Мари.

Гундстабль с остальным войском двинулся дальше, чтобы защищать проход Пагарас.

А через несколько дней всю Киликию облетела скорбная весть: мамелюкам удалось обойти Гундстабля, выйти к Мари и одержать победу. Путь на Сис был открыт.

...Враг явно превосходил силой. Но кучка смельчаков во главе с Левонем и Торосом бросилась вперед, и войско последовало их примеру. Вокруг слышались звонкие удары мечей по броне и стоны умирающих, свист стрел и ржание коней.

Князя Левон и Торос пробивались в гущу схватки. За ними прокладывали себе дорогу мечом самые храбрые и верные воины. Глаза их гневно сверкали, а руки непрерывно заносили вверх и опускали мечи. Князь Торос дрался, как лев, даже когда его окружили со всех сторон. Он видел, как неверные набросились сзади на Левона, и кинулся спасать брата, но в этот миг вражья стрела сразила его. Враги рубили уже бездыханное тело. Увидев брата мертвым, застонал Левон, меч его опустился, и неверные, набросившись со всех сторон, связали его.

Вскоре все армянские воины узнали о смерти Тороса, пленении Левона, и это ускорило их поражение. Лежали трупы людей, мертвые кони, и под лунным светом замолкла залитая кровью равнина, и река Мари окрасилась в красный цвет.

О, судьба!..

Руки его бессильно повисли, взгляд блуждал. Вокруг суетятся, слышатся нервные выкрики, прерывистое дыхание, лязг оружия. Мелькают длинные рясы монахов, разноцветные женские туники, пестрые широкие рубища землекопов и грузчиков. Мимо бежит толпа горожан с мечами, топорами, цепями. Ветер доносит со стороны церкви святого Григория Просветителя обрывки молитв. Кто-то призывает: преградим дорогу неверным своими трупами! Он узнает в длиннобородом старике знаменитого ритора Саркиса. Слушающие согласо кивают, потрясая кулаками. Издали несутся чьи-то протяжные, полные ужаса вопли. Трубят роги, звонят колокола всех церквей.

Появляются беженцы из соседних мест — пешие и всадники. Они рассказывают о беде, о расправе мамелюков над мирными жителями.

Слышатся негодующие выкрики:

— Они готовы сожрать нас живьем!

— Бог покарает их за царевича Тороса!

— Им все равно, кого убивать, — что воина, что ребенка!

Вскоре все выходят на незащищенную сторону Сиса строить укрепления. Катят бочки, тащат каменные глыбы, обломки колонн, огромные бревна, столы, лавки.

Он вбегает в мастерскую. Хачереса нет. Он снимает со стены меч, выходит на улицу и идет быстрым шагом, подавленный, никого не замечающий. Его узнают:

— Варпет, и ты с нами?

— Да благословит господь художника, взявшего в руки меч!

— Варпет... Праведник наш!

Варпет оборачивается.

— Праведник наш! — повторяет юноша с овальным лицом и небольшой бородкой.

«Наверное, из начинающих художников», — думает варпет.

Взгляды их встречаются. Юные, чистые глаза — вот каких распинают! Христос!

Вдруг он заметил в небе за горизонтом отсветы огня. Они увеличивались, становились ярче. А потом запылало все небо, и могучая лавина пламени заполнила долину.

— Неверные, неверные!

— Боже, сколько их!

— Они нас раздавят!

Несколько человек бросились бежать. Вооруженная толпа не сдвинулась с места.

— Пусть лучше раздавят! Живы останемся, — что нас ждет?

— Рабство!

— Не будем рабами!

Звон оружия и стук копий становились все отчетливее. Горящие факелы словно ликovali во мраке. Издали доносились злобные выкрики всадников, они походили на волчий вой.

Мамелюки, уже подступив к городу, внезапно остановились. Их предводители о чем-то совещались. Трое с белым знаменем, отделившись от остальных, поскакали в сторону города.

— Эй, люди! — крикнул один из них на ломаном армянском языке. — От имени эмира Семельмота предлагаю всем вам сдаться! А если нет — виселица!

Его освистали.

— Прочь, нечисть!

— Передай своему гнусному эмиру...

Всадники поскакали обратно. И скоро лавина огней двинулась на город.

В это время вновь зазвонили все колокола Сиса.

— Слышите, братья, — раздался старческий голос. — Господь с нами. Умрем же во имя креста!

Варпет узнал голос старого ратора.

— Умрем, умрем! — вторили ему голоса.

Визги, вопли, тысячи звуков смешались в едином адском грохоте. Мамелюки прорвали укрепления. Варпет отбивался мечом, налево и направо. Вот перед ним выросла исполинская фигура. Взмах сабли, но варпет ушел от удара и сам пронзил врага в грудь. Исполин рухнул.

Мамелюки оттеснили армян к центру города. Бои шли уже у стен мастерской, оттуда доносились какие-то дребезжащие звуки. «Хачерес, рукописи!» — мелькнуло в голове. В несколько прыжков очутился он у мастерской. Двери были открыты. Изнутри неслись крики. Он вбежал в свою обитель. О, боже! Хачерес отбивался от пяти мамелюков.

— Хачерес! — крикнул он и врезался в кучу.

Кольнуло в плечо, и он упал...

Он открыл глаза... Над головой проносилось что-то красное — не то зарево, не то алые густые туманы... Поднатужился, чтобы привстать, но голова беспомощно опустилась на плечо. Снова в глазах поплыли красные бесформенные пятна.

— Откуда эти красные краски? Вылились из склянок? Но почему на полу я сам?..

Рядом валялись разбитые склянки, кисти, листы белого пергамента. Рука его машинально потянулась к кисти. Он макнул ее в красные краски. Два легких мазка легли на пергамент. Снова попытался привстать, но упал.

Щеки коснулись чего-то теплого. «Краски», — мелькнуло в голове, однако пахло чем-то другим. Знакомый запах. Но какой? Не может быть!.. Что-то смутное пронеслось в сознании — блеск обнаженного меча... Лица... Но когда?.. Собравшись с силами, встал. Нет, нет, нет!

— Кровь! — закричал он. — Кровь людская!

Рядом в крови лежал мертвый.

— Хачерес! — крикнул он. — Одежда Хачереса, но лицо!.. Где его лицо?

Снова пронзила острая боль, и тут, наконец, он понял, что ранен. Он сделал несколько шагов, упал, но потом снова встал и пошел к двери. Город был в пламени.

— Хачерес!

Голос его потонул в криках и гудении огня.

— Хачерес, мальчик мой! Где ты?

Он побежал по улице и, наткнувшись на что-то твердое, упал. В лунном свете можно было разглядеть девичье тело. Она лежала на спине с распростертыми руками, обнаженная грудь обгажена кровью. Опять тот же запах — кровь!

Он поднимал безжизненные тела, вглядывался в лица.

«Нет, — шептали губы, — искать бессмысленно, он мертв, я видел сам».

Он не знал, что делать дальше. Все смешалось в глазах — языки пламени, луна, изуродованные лица.

Он бежал, схватившись за голову. Ноги были словно чужие, сердце стучало все тяжелее. Ему казалось, что все погрузилось во мрак, что вот-вот оборвется какая-то последняя нить. И он снова упал...

И снова в сознании все поплыло. Рядом неслись красные потоки. Хачерес! Из-за красной колонны храма вышел юноша в красном облачении.

— Везде кровь, Варпет...

— Теперь надо писать только красными красками.

— Или кровью...

Мимо поплыли красные деревья, красные дома, и блеск доспехов воинов отсвечивал красными бликами. Потом два всадника в красных плащах и на красных конях подъезжали

к городу, и город возникал перед ними красными улицами и красными куполами. И один из всадников воскликнул: «Чудо этот город!»

Силы покидали варпета. Земля уходила из-под ног. Он потерял сознание.

Когда же очнулся, то увидел перед собой человека в воинском одеянии. Да, это был он. Мужественное лицо полководца было неподвижно, замкнуто. Только в глазах изредка вспыхивала печальная улыбка.

— Видишь, что мы пережили, — сказал он. — Хорошо, что ты уцелел.

Взгляды их встретились, и они долго молчали. По лицу воина покатались слезы.

— И все-таки нам еще предстоит жить, — произнес он своим суровым голосом. — Выздоровеешь, снова возьмешься за кисть. Я велел принести тебе кисти, краски и пергамент. Благо, что они уцелели.

— Краски?.. И будет красный цвет? Цвет крови?

— Будут разные цвета! Но ведь и красный бывает разным. Не мне тебя учить...

Перелистываем страницы «Летописи» Смбата Гундстабля. Вот как было: «...И был убит царевич Торос в этой битве, а армянского престолонаследника Левона, а также сына армянского Гундстабля Смбата — Василя, по прозвищу Татар, — и других, неких Чиларга и Атома захватили в плен и увезли в Сис и заперли в монастыре.

За несколько дней неверные ограбили Сис, предали огню все дома, захватили и разграбили, что смогли, не было счета убитым и угнанным в плен. Затем неверные начали сражение за Сисскую крепость. Ее защитники не сдавались. Тогда враги выжгли все в горных местностях и долинах, опустошили округу. Многие с женами и детьми нашли убежище в двух соседних пещерах, которые в прошлом были замками. Один назывался Кем, другой — Бекнкар. Жители, увидев несметную рать неверных, растерялись и не смогли взяться за оружие. Захватчики истребили всех. Говорят, что в этот день погибло 20 тысяч.

Тех, кто уцелел, забрали в плен и увели... А потом продали в Антиохии, после чего мамелюки ушли в свою страну, уведя с собой парона Левона... Когда султан увидел армянского парона Левона и Василя по прозвищу Татар, он посчитал их более драгоценным подарком, чем десятки тысяч золотых и серебряных монет...»

— Факты из летописи Гундстабля, несомненно, ценны. Но кто этот безымянный варпет? О нем Гундстабль не пишет...

— Трудно ответить...

— Я, кажется, начинаю понимать. Может, послушаете, как я думаю...

Рослин, художник двора, часто бывал в Сисе. Свой «Маштоц» он расписал в 1266 году, то есть в том самом году, когда мамелюки вторглись в Киликию. Но Торос Рослин только иллюстрировал эту рукопись, а писцом ее был знаменитый каллиграф Аветис из Сиса. Там он переписал «Маштоц» — факт известный. Совместное творчество мастеров могло потребовать встречи. Она могла состояться в столице как раз во время вторжения. Так?

— Предположение вероятно. Но тот художник с мечом...

— Многие армянские писатели, художники или поэты дрались с врагом, и я не утверждаю с полной определенностью, что тот взявшийся за меч художник был именно Рослином. Он мог быть Рослином, мог быть и другим. Но был художник, и было нашествие на его страну. А такие, как Рослин, жили судьбами своей родины. Держали ли они меч или размышляли с кистью в руках перед свитком пергамента — всех тогда волновало одно: льется кровь народная...

КРОВЬ И СОЛНЦЕ

Крест, огненно-рыжий, превращался в мглисто-черный крест, ржаво-охристый, становился холодно-синим. И вокруг него — сияния многоцветные. И тело Христа, то безжизненно-серое, то бледно-мраморное, залитое красной кровью, беспомощно повисло на том кресте роковом. Вокруг вспыхивали краски, и менялись они мгновенно. И менялись они в глазах художника.

В скорби замерла земля, сухая и угрюмая, и холм, лишенный растительности, похожий на череп голый, увенчанный крестом роковым, тоже замер.

Вспыхивали краски, сверкали молнии, освещая лица людей. Но были то не фарисеи и первосвященники, а воины вражеские, пришедшие грабить и убивать. А на кресте роковом беспомощно повисло тело бледно-мраморное, залитое кровью красной...

Взял кисть художник, и в ярком золоте засверкало солнце Киликии, в темно-синих красках — темное небо ее, усеянное звездами. И заиграло в красках голубых море, беспокойное и шумное. И зелень олив ожила в зеленом, и красный цвет крови, которая перестала литься, цвет радости. Оживали краски красные на пергаменте, словно маки красные в поле. Было много красного цвета. И не было родников, из которых текла кровь людская.



ы навсегда запомнил Торос, как пронеслись черной тучей по земле киликийской орды мамелюков, сметая по пути города и села. Крики, вопли, треск расколотых шлемов заполнили горный проход Мари, где сошлись войска армян и завоевателей, и армяне потерпели поражение.

Ты помнишь поруганный Сис, развалины, застывшие в гримасе ужаса лица убитых. Город был обагрен кровью, окутан заревом пожарищ. И в это пекло летели стрелы и камни, горящие факелы мамелюков.

Они грабили и убивали. Убивали и грабили. Горели дворцы, церкви, караван-сарай. Мамелюки разрушили королевскую усыпальницу, вырыли из могил останки усопших, сожгли их и пустили по ветру.

Им удалось найти подземное хранилище королевских сокровищ, захватить много золота, драгоценностей. Они были ненасытны. Колесницы их были набиты птицей, одеждой, снятой с убитых армян, посудой. Захваченные верблюды были навьючены шелками, парчой, бархатом. Но алчности и ненасытности своей грабители не утолили, они двинулись дальше, и жертвой их стал город-сад Адана, бурлящие жизнью порты Тарс и Айяс.

Они подожгли апельсиновые сады, кипарисовые аллеи, пшеничные нивы. Многих увезли в плен, многих обратили в рабство. Шли по дорогам и тропам родной земли невольники, не поднимая головы.

Остановить нашествие можно было только уступками. Султан требовал золота, хлеба, крепостей, которыми завладел Гетум с помощью монголов. И царь Гетум уступил бы первым. Однако могли бы разгневаться монголы.

Ведь все, что принадлежало Гетуму, они считали своим, и делиться с мамелюками не желали. Они не вторглись в Киликию, Торос, не разорили ее, и это казалось им великодушием, за которое киликийцы навек в долгу. Но когда Гетум приехал к монголам и сообщил

о нападении мамелюков, они ничем не помогли ему. У них всегда оказывались свои заботы, Торос, и Киликия была отдана на закление.

Тот, 1266 год, год изобилия и расцвета, стал кровавым для твоей страны. Осень принесла урожай, шла удачная торговля, в портах колыхались флаги разных стран, цвели искусства и ремесла. И вдруг грянуло нашествие...

И все-таки время правления Гетума Первого будут вспоминать как одно из лучших в истории Киликии. Не правда ли, Торос? Гетум одерживал победы. Вы теряли, но и обретали. Потом же стали только терять, и безвозвратно.

Все, что разрушили мамелюки, было вновь восстановлено. Шло строительство в Тарсе, Айясе, Адане. Восстанавливался Сис. Ты навсегда запомнил, Торос, сожженный Дарбас, руины, собор Святой Софии. Возведенный Гетумом Первым по образу и подобию Константинопольского храма, он был тебе ровесником, этот собор. Ты видел его, ты всегда хотел его видеть. Его хотели видеть все киликийцы, — он напоминал о могуществе, лучших днях. И они его увидели вновь. Ты же знаешь, Торос, что люди твоей земли были созидателями, и ничто не могло убить в них этого дара.

Однако набеги не прекращались. И хотя они не были такими опустошительными, как в 1266 году, сопротивляться врагам становилось все труднее. Битва при Мари была проиграна, потому что враг явно превосходил численностью. Но только ли поэтому? С горечью отмечает историк твоего времени Магакия, что из пятидесяти крупных влиятельных князей лишь двенадцать откликнулись на зов царя. Да и те не отличились на поле брани. У каждого из этих князей была своя Киликия — собственная вотчина и еще тот кусок земли, который они мечтали прибавить к ней, отняв у другого любым способом.

Боевой дух, которым славились войска Левона Второго, ослаб. Князья, движимые мелкой корыстью, строили друг другу козни, предавали страну.

Только ли Магакия отмечал это падение? В те дни в Киликии побывал Марко Поло. Виделся ли ты с ним? Или, может, слышал об этом неугомонном человеке? Наблюдательный венецианец написал о твоей стране: «В старину здешние дворяне были храбры и воинственны, теперь они слабы и ничтожны и только пьянствуют». Какими бы ни были горькими эти слова, Торос, в них — большая правда. Ведь подобное говорил и философ Ваграм Рабуни, канцлер двора, человек незаурядный, с кем встречался ты и делился мыслями. Ты, наверное, знал, чем объясняет он в своей «Истории» поражение при Мари?.. «Пребывая в покое и изобилии, — писал он, — и преуспевая в делах, обнаглев от пресыщения наслаждениями, князья изгнали радость из сердца и заменили ее срамом. Голодным хлеба не давали, нагих не одевали. Бездомным крова не предоставляли, и все предпочли чреву и умножению похоти»... Он сравнивал, Торос, Киликию с Содомом, где люди погрузились в бездну пороков, обжирались и пьянствовали.

Но так ли все было? Так и не так. Ты не раз задумывался над сложным, противоречивым миром, окружавшим тебя. Бесправие разъедало, отравляло души людей. Насилие приходило извне вместе с протяжным ревом вражеских труб, озверелыми криками. Но оно жило и внутри страны: надменные пароны, ростовщики, работоторговцы. Насилие и неправие, которые преграждают путь человеческим возможностям, искореняя дарования, идеалы, убивают в человеке все сокровенное.

Ты не мог не думать об этом. Ты, который всегда размышлял, вникал, пытался найти истину. Ты не мог не видеть, как тирания, подобно разбушевавшимся волнам, захлестывает твою землю, обрушивается на людей самых разных возрастов и достоинств. И ты недоумевал. И все продолжал спрашивать себя: откуда идет это зло?

На дорогах Киликии ты встречал отверженных и бездомных. То были разорившиеся каменщики, виноградари с огрубелыми мозолистыми руками и изнуренными лицами. Сострадающий, как и все изображенные тобою пророки и Христы, ты не проходил мимо их

горя. Я знаю, о чем они могли бы рассказать тебе. О том, как работали в поте лица, не щадя себя, а получали оскорбления, побои, увечья. О том, как бежали они сюда из коренной Армении, от монгольского клыча, но и здесь не нашли покоя, хлеба, крова. О том, как отняли у них все, лишили дома, разлучили с любимой. Впрочем, ты мог не слышать от них этого, но ты это видел, глядя людям в глаза. Ужасы и тревоги охватили страну. А людей охватили горестные, мрачные раздумья.

Ромклу заполонили беженцы, и их становилось с каждым днем все больше. Одежда на них была разорвана, запачкана кровью. Их мучили раны, по вечерам, когда наступала тишина, слышались горькие рыдания и стоны.

Люди стали немногословными. Блиставшие ранее красноречием, теперь при встречах молча покачивали головой, понимающе смотрели друг другу в глаза. Все будто окунулось во мрак. Он окутывал людей везде: в церкви, за дружеским столом, за будничными делами. И уже в скриптории все ощущали этот мрак, хотя в росписях сверкали все те же лучезарные краски. И все хотели верить, что худшее позади. Ты старался улыбаться ученикам, разговаривать с ними непринужденно, но они хорошо понимали, что было у тебя на сердце. В один из таких дней тебя позвали к Тер-Константину. Католикос резко осунулся, и голос его стал старческим, дрожащим.

Тогда он впервые посетовал на судьбу и ты впервые узрел в нем обыкновенного старика. Его патриаршья недоступность исчезла, ты даже пожалел его. «Лучше бы я не дожил до этих дней, — сказал католикос печально, — земля наша, народ...» Из глаз его покатались слезы. Смерть князя Тороса и пленение престолонаследника глубоко потрясли его.

«Я ведь воспитал их, любил, как родных детей», — он с трудом сдерживал себя, чтобы не разрыдаться. Но вскоре, собравшись с духом, Тер-Константин заговорил как прежде. «Хочу, чтоб расписал ты рукопись, — сказал он. — Понимаю, — сейчас тебе трудно. Но ведь на душе накопилось много и надо все излить».

Он был прав. «Не стану назидать, — продолжал Тер-Константин, — тебе самому виднее, что делать и как». Затем голос его дрогнул: «Жаль, что я не увижу этой рукописи». — «Ох», — вырвалось у тебя. Патриарх впервые выразил при тебе свои чувства, и ты смутился, даже ощутил себя в чем-то виноватым. Но тут он сказал просто: «Тебе надо работать, творить, Торос!»

Вскоре католикос умер, так и не увидев рукописи: расписанные тобой отдельные листы ему понравились, и перед кончиной он сказал тебе, что это одна из самых больших радостей в его жизни.

— Что станет с искусством? — думали художники, лишившись одного из главных его почитателей и покровителей. Вы стояли, поникшие, растерянные, на площади Ромклы, где часто собирались, размышляли вслух. И кто-то сказал, что нужно писать, как раньше, словно ничего не случилось, и вы, постояв еще немного, молча разошлись.

Скорбь об ушедших не успела утихнуть, а руки людские уже тянулись к резцу и молоту. Вновь послышался мерный величественный звон колоколов. И ты, Торос, сел за работу. Ты хотел писать о страданиях, недавно пережитых. Ты хотел писать о непоколебимости духа, силе добра. Изображенные тобой святые и люди будто высекались резцом на фоне храмов, триумфальных арок и колоколен. Все это было Киликией; ты запечатлел ее в лицах, глазах своих героев, в самих красках, сочетаниях их. Но ты хотел выразить нечто другое, большее.

Ты работал тогда над рукописью, Константин завещал ее младенцу Гетуму, сыну Левона III. Эта рукопись — одно из зрелых твоих творений, известная как рукопись 1268 года, предназначалась человеку, впоследствии прославившемуся библиофильством.

Ты работал над рукописью, как обычно, весь поглощенный, уйдя в себя. Но в тот день тебе захотелось отдохнуть, уйти к природе. Ты вышел из скриптория и пошел быстрым шагом к холму. Издали доносились какие-то странные непонятные звуки. Они замирали где-

то поблизости, словно растворяясь в воздухе. Ты зашагал еще быстрее — простор увлекал. Хотелось упорядочить, уяснить себе ход мыслей, наплыв переживаний. Высказать все самому себе, чтобы, освободившись, сосредоточиться и заговорить языком красок. Навстречу вырастал холм. Среди зеленого окружения он резко выделялся тем, что был лишен покрова. Узенькая тропка привела к вершине. В тени одинокого дерева простерся небольшой травяной коврик, ты лег на него. Густые облака тщетно пытались затмить солнце. Оно прорывалось сквозь завесу потоками ярких лучей.

«Вот фон картины, — подумал ты, — потоки света прорывают густую завесу». И, пытаясь представить это на пергаменте, закрыл глаза.

Небольшие красные кружочки, выплывая один из другого, проносились перед глазами, слышались голоса, вздохи, хихиканье, кто-то громко произнес: «Что он сделал, за что хотите погубить его?!»

Да, это был Понтий Пилат. Как, каким образом появился он здесь, перед твоими глазами? Тут ты подумал о холмике, на котором находился: как та лобная гора! Да, да распятые... «Распятие»... Наместник Рима развел руками, подняв глаза кверху. Он не понимал их — озверелых, жаждущих расправы людей. А они все прибывали. Они взывали в один голос: «Распять его! Распять!» Голоса их усиливались, раздались вопли, истерический хохот, свист. И снова кто-то громко спросил: «Что он вам сделал?» Но это был уже не Пилат. «Что сделали они?»

В глазах твоих поплыли кресты, на них были распяты люди с оторванными руками, ногами, выколотыми глазами, перебитыми ребрами. С тел их стекала кровь. Она обагрила землю, а, высохнув под палящим солнцем, оставила зловещие багровые пятна.

Да, это было хорошо знакомо тебе. Это видел ты, когда неверные издевались над умирающими. Когда выкалывали глаза старикам, сжигали детей на кострах... И голос звучный вновь заговорил: «Выслушал я его внимательно, не нахожу никакой вины, но коль хотите?.. Вот он — дело ваше...»

Это был опять Пилат. Ему рукоплескали, его осыпали похвалами, слышались возгласы одобрения, а тот, приговоренный к смерти, стоял перед крестом, спокойно глядя своими кроткими глазами прямо в лицо Пилату. Солдаты римского наместника под свист и хохот горожан сняли с него хитон, надели на него багряницу, вложили в руки трость, на голову возложили терновый венец.

«Вот он, царь, спаситель, — кричали они, — можешь спасти людей, спаси себя!» Они били его по лицу, а он, сдерживая боль, смотрел на них кротко. И эта безропотность разъярила солдат и горожан еще сильнее.

А потом они стали делить его одежду, и руки их тряслись от жадности. Так тряслись руки неверных, когда они отнимали друг у друга награбленное, когда запихивали в сумы и за пазуху драгоценности. Так тряслись руки менял, ростовщиков, когда те отсчитывали золото. Такие руки всегда были готовы убивать, хватать, впиваться. И они схватили, связали этого кроткого человека, хотя тот и не пытался бежать. И вот он, приговоренный к кресту, мучается в ожидании смерти, но им, палачам, показалось этого мало — к устам умирающего они поднесли губку с уксусом, а после, когда он уже испустил дух, пронзили его копьем. О, низость людская!..

Ты открыл глаза. Серые облака уплывали куда-то вдаль. Небо благородно-голубое поблескивало золотыми отсветами. Ты вскочил и торопливо зашагал вниз по тропинке. «Кровь, солнце, пробивающееся сквозь густые серые завесы», — подумал ты. Кровь, солнце, да, ты приближался к исконному. И все смешивалось в ярких, невероятно горящих цветах...

Ты видел кровь, но видел и солнце. Оно проглядывало сквозь дымные завесы, освещая разрушенные города, поля сражений, согретья обездоленных. Оно несло с собой тепло,

напоминало о жизни. Ты думал о добродетели, о неискоренимости добра. И увидел свет — прозрачный, яркий, разливающийся. Наперекор всему ты сел за стол и начал писать. Теперь ты знал, что работа пойдет. В глазах стоял красный туман и, прорвав его, выглядывало солнце.

Ты мягко коснулся кистью пергамента. Рука двигалась так, будто не принадлежала тебе, и водил ею кто-то другой. Кисть снова коснулась пергамента. Все гуще и гуще становились перед глазами краски, и небо превращалось в бледное золото. Светлые пронизывающие стрелы впивались в безоблачную синеву, и стала она золотой и прозрачной. Но снова промелькнули в глазах красные туманы, и они поплыли, смешались с солнечными лучами, и красное стало отсвечивать золотом. Нет, они не должны смешаться. Красное — это кровь, а золото — это солнце, им не смешаться.

...Ты посмотрел на пергамент, покрытый отдельными разрозненными мазками, и представил себе Христа среди этих золотисто-красных переливов, представил себе его лицо. Глаза, как две выцветшие миндалины, лицо усталое, изможденное. Нет, не таким представлялось лицо... И опять поплыли в глазах золотисто-красные переливы — добро и зло, красные пятна...

Лицо страдальческое, лицо... И не это... Несокрушимость духа, многотерпение во имя праведности... Вот-вот, именно... Кисть дважды коснулась пергамента... Две еле заметные дуги — прикрытые глаза человека. Затем проступили веки, брови, нос, губы, борода, волосы. Да, получалось... Отложил кисть, зашагал по комнате...

Кисть твоя запечатлела только главное. А где эта неистовая толпа, где злорадствующие книжники, старейшины, первосвященники, фарисеи, призывающие горожан и Пилата казнить невинного? Несколько лиц, вернее, одно четко выписанное лицо и несколько других, как бы составивших фон, — вот и все об этих алчных людях. Одно лицо, но сколько оно вобрало выражений! Что-то среднее между изумлением и страхом, восторгом и удовлетворением, — о, геенна, час твой пробил, и смерть тебе, возмутителю спокойствия, посягнувшему на устои, — достойная кара. Ты хорошо знал подобных людей: пустословы, вечно тоскующие о возвышенном, но всегда готовые растерзать того, кто посягнул на их устои! Это они глумились над праведником, которого ты изобразил в центре картины распятым на кресте. О святости его говорит золотой нимб, окаймляющий его голову. Но в общем это обыкновенный человек со своей человеческой плотью и человеческими муками.

Чресла его перепоясаны синей повязкой, из пробитого копьем ребра, пригвожденных рук и ног течет кровь. Она словно расплылась в золоте картины, местами вспыхивая красными пятнами. И темно-коричневый крест на фоне этого золота становится контрастнее и четче.

Слева от него, внизу, люди, оплакивающие обреченного на муки. Скорбны Мария, Мария-Магдалина и наклонившийся к ним Иоанн Богослов. Но разве не верят они в то, что справедливость свершится! Иначе как могла оказаться рядом, на крыше синей палаты, эта женщина в розовом хитоне, красном плаще и красной гемме на голове? В одной руке у нее лаборум — розовое полотно, расшитое золотым крестом, на красном древке, в другой — небольшой ларец в виде церкви, где хранятся святые дары: просфора и вино — кровь и тело Христа. Она воплощает христианскую церковь, а он принял мученическую смерть, дабы ей жить.

И ангел, весь в розовом, стоящий между ней, олицетворением христианской церкви, и самим Христом, своим присутствием как бы сближает их, делает едиными. Ангел, полный сострадания, осознает святость Христову. Не потому ли он собирает в платок капли крови, стекающие с тела умершего? А напротив него, но уже выше, в углу картины, другой ангел. Это он сбрасывает жезлом с головы женщины корону. Она олицетворяет иудейскую цер-

ковь. В синих одеяниях стоит женщина на крыше темно-розовой палаты и держит сломанное знамя. Но лица ее мне не разглядеть, Торос. Кто-то, увидев твою картину, вероятно, не стерпел обид, причиненных праведнику и в порыве гнева стер лицо виновницы страданий. Такая же участь постигла и воина-убийцу. Но зато как выразительно лицо сотника Лонгина! В нем передано мгновение прозрения. Он понял, кто там на кресте, и как велико преступление умертвивших его. Тот, кто расправился с женщиной и воином, пощадил Лонгина, который вскоре примет Христову веру и проведет остаток жизни в родной Каппадокии в мучениях и терзаниях.

Сюжет картины, конечно же, почерпнут из евангелия. Слова Иоанна: «Иисус, увидев мать и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери: жена, се сын твой! Один из воинов копьем пронзил ему ребро, и тотчас же потекла кровь и вода.» Послужили тебе сюжетом и слова Луки: «Сотник же, видя происходящее, прославил бога и сказал: истинно, человек этот был праведник!». Вот и все, что сближает картину с евангельским текстом. Дальше уже весь ты, Торос, со всей своей фантазией, свободой мышления, жаждой интерпретации. Знакомство с византийской и франкской миниатюрой не выявило что-либо похожего на твое «Распятие». Во всяком случае из всего, что можно найти сегодня в монографиях или музеях.

Волнения захлестывали тебя, и ты, неповторяющийся, вряд ли мог поддаться им. Да, ты не вдавался в излишнюю повествовательность, не счел нужным показать неистовство толпы, безликого наместника Рима или казненных рядом с Христом преступников. Только главное — добро и зло. Вот что волновало тебя. Ты показал в этой картине злобу, безразличие, зависть и жестокость, терпение и волю, раскаяние и сострадание, любовь.

Но ведь это и есть главное. И сталкиваются на пергаменте добро и зло — краски, характеры, страсти, настроения и состояния.

В самом верху картины синяя луна и красное солнце. Они как бы померкли, лишились своего естественного света. «...И сделалась тьма на всей земле. И померкло солнце...» Но это написано у Луки. У тебя, Торос, все по-другому. Свет, свет — он словно разлит по всей картине. То вспыхивает и сверкает, то гаснет или переливается. Пронизаны светом ярко-красные одеяния, синие купола храмов, золотые нимбы, капли крови и даже безжизненное бледное тело Христа будто вобрало в себя отсветы золотого фона. Свет, который ты всегда умел извлечь даже из горя и мрака. Свет, который всегда необходим человеку.

А там, где льется кровь, Торос, особенно нуждаются в солнце.

ВЕЧНОСТЬ



то было одно из радостных событий в культурной жизни Армении. Конференц-зал ереванского Матенадарана переполнен до отказа — искусствоведы, историки, филологи, зарубежные гости, ученый совет хранилища.

Когда директор Матенадарана взял со стола рукопись и показал собравшимся, по залу пронесся радостный вздох, раздались рукоплескания.

— Наконец-то у нас свой Рослин, — сказал Левон Степанович Хачикян, — мы об этом мечтали давно.

Он рассказал историю рукописи, о том, как она попала в Иерусалимский армянский патриархат, где хранилась несколько веков. И вот теперь подарена католикосу Вазгену Первому, а тот в свою очередь подарил ее Матенадарану. Потух свет, и на экране возник Рослин — тридцать три миниатюры, изображающие сцены и хораны, заглавные буквы, маргинальные знаки.

А на следующий день весть об этом облетела центральные газеты. Писали о самом художнике, о книге, иллюстрированной им. Конечно, вспомнили и недавнее драматическое происшествие, закончившееся, к счастью, благополучно — в 1967 году рукопись была похищена из иерусалимского патриархата и оказалась на аукционе лондонской фирмы «Сотби», и только решительное вмешательство советской и мировой общественности вернуло это произведение Рослина в его прежнюю обитель. Теперь же у нее новый дом и жить ей в нем, вероятно, вечно. Стоит побывать в хранилище древних рукописей — Матенадаране, и убедишься, как умеют здесь хранить духовные сокровища: регулирование температуры, постоянный профилактический осмотр рукописей, реставрация...

Я знакомился с евангелием 1268 года в рукописном отделе Матенадарана. Напротив сидел заведующий отделом. Он что-то писал, но время от времени косился на меня. Он, конечно, не сомневался в моем бережно-трепетном отношении к рослиновскому евангелию, но все-таки...

Триста тридцать три страницы, серебряный переплет более позднего времени, очевидно, XVIII век. На нем рельефное изображение распятого Христа, по краям переплета углубления в виде лепестков, внутри которых красные и голубые камни. Горестно звучат в ишатакаране слова Рослина: «И в эти годы многие жители угнаны египетским царем в плен, многие истреблены, много горя было причинено». Но тут же, словно желая утешить себя и остальных, заглушить боль, он извещает о том, что «великий престолонаследник Левон высвободился из оков железных, вернулся на родину, и настал мир в нашей стране».

По мнению ученых, Торос достиг в этой рукописи наибольшей зрелости. Однако вслед за зрелостью порой приходят и первые признаки спада. Кто знает, дойди до нас рослиновские рукописи более поздних времен, какими они могли бы оказаться? Во всяком случае, в рукописи 1268 года признаки спада уже обнаруживаются: в некоторых миниатюрах краски стали ярче, золото обрело больше блеска. Зато меньше тонкости. Потеря не очевидна, еле зрима, и тем не менее...

...1268 год...

Последняя достоверная дата из биографии Тороса Рослина. Сведения о жизни киликийца, и без того скудные, прерываются. Что стало с ним потом и сколько он еще жил? А творчество? Ведь вскоре Киликией стал править царь Левон III, большой почитатель его таланта?

Скова попадаешь в мир вопросительных знаков. О художнике больше ничего не известно.

Есть другие рукописи, которые по стилю миниатюр могли быть приписаны великому киликийцу, но они ничего не добавляют к нашим сведениям — ишатакараны утеряны, в росписях о хронологии не узнаешь. Но, может, где-то еще живет затерянная таинственная строка, способная сказать новое о Рослине? Слишком много времени прошло, чтобы поверить в это, и в то же время слишком велико ожидание подобного чуда, чтобы потерять надежду! Может, какие-нибудь полуистершиеся, полусожженные рукописи вызовут к жизни интересные предположения? Тогда запутанные строки ишатакарана зазвучат по-другому, и мы поймем что-то новое в Рослине...

Хочется надеяться, верить. А пока несомненно одно: что бы ни случилось тогда, после 1268 года, с Рослином, жив он или нет, о нем, как и прежде, говорят восторженно. Многие художники считают себя его последователями. Имя его не сходит с уст, его обожествляют. Но если первые симптомы упадка киликийской живописи уже дают о себе знать, значит сторонникам холодного, рассудочного несколько сухого мастерства или безмерной виртуозности, роскошности в живописи, глубоко драматическое, насыщенное психологизмом искусство Тороса Рослина, вероятно, чуждо. Оно неприемлемо для них, оно может действовать на них раздражающе.

Так значит он живет...

— Что дальше, варпет Торос?

Он подходит к столу, откладывает лист пергамента, раскрывает пузырьки с красками, берет кисть... Да, наш рассказ о нем продолжается. Живы его собратья и ученики. У него есть последователи и подражатели.

— Многие нас единит, — говорит он. — Последователи? Может быть. Но подражатели? — вряд ли по-настоящему одаренный художник сможет слепо подражать. Талант не умеет уживаться с другим, подчиняться, стусевывать свои собственные черты. Жалкие подражатели, как бы они ни владели кистью, способны передать лишь внешнее. И в семидесятых годах много подлинных мастеров...

Приятно ощущать его присутствие, по-прежнему слышать его голос. Он будет, как и прежде, говорить, размышлять, творить, хотя как мы уже говорили, никаких фактов и дат, связанных с ним, теперь уже не будет. А сейчас он стоит перед столом, и стол завален рукописями. Одна, вторая, третья — сколько их! Все лучшее, сотворенное им, его предшественниками и последователями...

Виктор Никитич Лазарев писал о киликийской миниатюре копна XIII-го века: «Бурное движение моментами переходит в почти барочный пафос, изящные линейные складки образуют орнаментальные извивы, лица трактованы при помощи тонких белых линий, чья стилизация граничит с чистым орнаментом, в поворотах фигур есть что-то резкое и манерное, скалы состоят из графически заостренных блоков, объединенных в динамические массы. Все извивается, закручивается, все полно напряженности и беспокойства. Органический язык византийского искусства уступает здесь место условной орнаментальной стилизации, базирующейся на насыщенных динамизмом линиях. В этом же направлении перерабатывается и архитектурный ландшафт, принимающий еще более фантастический, нежели в византийской живописи, характер. Колорит, лишенный столь типичной для византийской палитры строгости, отличается пестротой, яркостью. Светлые, красные, голубые, желтые, синие, зеленые и лиловые краски контрастно сопоставляются с золотом, находящим себе широкое применение. Особенно интересен богатейший, чисто восточный орнамент, который поражает пышностью и неисчерпаемым богатством форм...»

«Все извивается, закручивается...» «Что-то резкое, манерное...» Такие рукописи возникнут позже. А пока есть произведение, более близкое Рослину и по духу, и по времени. Евангелие князя Васака, брата царя Гетума Первого — 1272 год.

— Ты куда, варпет Торос?

Пригладив слегка поседевшие кудри, он накидывает светло-голубой плащ, берет рукопись (наверное, это философское толкование или трактат о красках), направляется к выходу...

Скрипели двери мастерских, зажигались свечи, его встречали приветливо. На массивные деревянные столы клались рукописи. Он медленно и внимательно перелистывал страницу за страницей — «Евангелие царицы Керан», «Евангелие князя Васака», сколько еще евангелий, обрядников, праздничных миней, о которых мы с вами так и не узнали, перелистал он! Не все рукописи были знакомы ему. Перед ним предстала новая поросль художников, резко отличающихся от него, от его поколения...

А потом потянулась длинная дорога, по обе стороны ее выросли густые, высокие деревья. Где-то позади оставались догорающие огни, издали доносился мерный звон колоколов. Выглянуло солнце. Потом оно никогда не исчезало. Было странно — идешь, и все солнечно, солнечно. И небо стало необычайно красивым. Он видел небо разных стран, но это было какое-то непередаваемо прекрасное.

Он остановился. Огляделся вокруг. Послышался голос:

— Вечность это, варпет Торос...

Черные чаши, бронзовые лампадафоры, священные писания, научные трактаты, светильники в виде верблюдов, чудовищ, драконов, рыб с жадно раскрытой пастью, серебряные складены, ларцы и кадила, саркофаги мраморные с рельефными изображениями, камен и вазы — многие из них истерты, потрескались, местами потемнели, полиняли...

Все, облюбванное человеком, запечатленное резцом, пером или кистью, передающее мысли, душу, талант, образ той или иной страны, века, эпохи...

Щедрость плодородной земли, щедрость человеческих дарований, вспышка негодования, хитросплетения поступков и ясность в целях, непосредственность восторга и мятущийся дух, многообразие ремесел и искусств, свежесть и неосознанность чувств и чрезмерная утонченность, изящество, вкус — там была Киликия, там жила ее суть, там жила эпоха, все характерное от нее. Она со всеми своими открытиями и достижениями оказалась здесь, чтобы всегда напоминать о себе, пускать новые побеги.

Но не одна красота и добродетели возникали в вечности. Встречалось и содеянное зло — как напоминание, как призыв к грядущему избавиться от всего, что оскорбляет душу, что гнетет, мучает, убивает, делает человека одинаково безразличным и к смерти, и к солнцу.

И зло, встречавшееся изредка, всего лишь как напоминание, оставалось где-то в стороне от главной дороги вечности, преданное презрению.

Там жила Киликия, там жила ее суть...

Каменотесы, строители акведуков, ткачи бархата и виссона, комедианты и дрессировщики львов и тигров, погонщики верблюдов... Не все в одинаковой мере порождали добродетели, но та эпоха, слившаяся с вечностью, порожденная лучшими достижениями, приобретала значение не только киликийское, не только всеармянское.

Шел варпет Торос своей мерной поступью, продолжая путь, и под ноги ему попадались жезлы, булавы, гербы, праздничные облачения вельмож и государей. На миг даже стало страшно — все, что олицетворяло славу и силу, к чему относились с почтением он и его окружение, валялось здесь, на дороге вместе с кусками щебня и высохшими ветками деревьев.

Дорога уводила все дальше. Изредка встречались одинокие фигуры людей. Иногда их несколько — люди о чем-то толкуют, как на улицах и площадях. Встречаются пьедесталы разной высоты. На каждом из них, на бархате, окаймленном бахромой, что-то лежит. Одно вызывает радостные восклицания, перед другим испытываешь смиренный трепет. И вдруг рукописи. Он подошел ближе — кисть предков! — Вардан, Григор, Константин, Барсег. А вот и евангелия, разукрашенные учителями Киракосом и Ованесом. Но листов в некоторых рукописях стало гораздо меньше — он узнал их только по росписям. Может, время растеряло страницы?

— Не в этом дело. Не все принимает вечность, варпет Торос...

Только то, что может донести до грядущего давно исчезнувшие образы людей, явления, события, только то, во что вглядываешься и начинаешь лучше понимать самого себя.

А потом опять пьедестал и — новые рукописи.

— Переверни страницу...

— «Ярчайшая глава армянской истории...»

— Читай, читай дальше, варпет Торос...

«...Осуществилась давнишняя мечта армян. Они там обрели мир и могли созидать... То царство было небольшим, но прославилось на весь мир...»

Строки стерлись, страницы местами полиняли — знакомо.

— Домысливаешь?..

Стремление жить, хранить себя, свое сущее... Сотни километров пешком из завоеванной врагом родины, чтобы возродить... Было. И это было. Возродить удалось. Зодчество, книжные росписи, изваяния, поэзию, литературу, в которых осели мудрость народа, его долготерпение, способность возрождаться, как феникс, из пепла и возрождать свою землю... Медицина, философия, юриспруденция...

Тут он увидел человека в мантии ученого. Боже, не узнал: раньше он одевался по-другому.

— И ты?..

— И ты, варпет Торос. Все мы здесь.

— Но, парон канцлер...

— Не называй меня пароном. Здесь нет происхождений и званий. Для всех я философ Ваграм Рабуни, толкователь Аристотеля, Порфирия... А ведь не раз со мной спорили и даже обвиняли. Помнишь? Видите ли — грек этот язычник. Велик он своим умом — вот что прежде всего...

Потом он увидел Гундстабля. Рядом со стихами и научными трудами на пьедестале лежал его меч.

— Каждый из нас прославил нашу землю чем мог и как мог, — сказал он, — о Киликии будут долго помнить.

Он шел в раздумье по нескончаемой дороге вечности и не заметил, как его великая эпоха осталась уже за спиной. По обе стороны дороги росли деревья — гранаты и миндали, кипарисы и пальмы, апельсины, лимоны, оливы... Да, это все еще была Киликия, та, которую он видел, знал и любил. Вновь засверкало над головой солнце, перед глазами поплыли нежно-розовые и бледно-голубые переливы, и ветры приносили запах морской волны, и под ногами скрипели устлавшие дорогу разноцветные камешки, от которых веяло горячим воздухом.

Он шагал в раздумье, озабоченный, вокруг было все родное. Потом он увидел краски, какими они были на самом деле — казалось, они вот-вот воспламенятся. Оранжевые апельсины отливали багрянцем, красно-малиновые гранаты, зеленые ветви пальм и кипарисов обрели самые густые оттенки. Природа словно боялась, оправдывалась перед кем-

то, спешила подчеркнуть, выставить напоказ свои живительные силы. Было в этом что-то чрезмерное, неестественное. И он неожиданно представил, понял, что где-то подальше переспевшие плоды, густо-зеленые листья посыплются на землю, а деревья станут голыми.

А уже потом, вдали, показались обуглившиеся стены домов и соборов, каркали над трубами вороны, и облако дыма заслонило солнце.

Остановись, варпет Торос! Дальше — скорбные дни, разгромленная Ромкла, и нет больше твоего скриптория. Ты многого не знаешь...

Центром книжного искусства стал Сис. Все чаще проникают в искусство вкусы меценатов, разложившейся в то время знати, вернее, ее безвкусица... И не случайна чрезмерная популярность такого художника, как Саркис Пицак. Линия на росписях стала главенствовать над цветом, вместо живых, выразительных, трепещущих красок — броское украшательство, яркая раскраска одежд — безжизненные лица, безжизненное мастерство... Все собранное годами, крупными, все лучшее в живописи растеряно. А в 1375 году пала сама Киликия.

Но лучше остановись на той поро, когда она еще жива, когда, несмотря на все козни и напасти не улыбочивой судьбы, ее художники все продолжают создавать шедевры. То было последнее дыхание большого искусства. Одна из самых интересных его вех — два десятилетия XIII века. Потом киликийской миниатюре суждено переживать только упадок.

ЧАШОЦ

Вьется золото плющом, тянутся вниз густые ветви, а синее дерево-стебелек устремилось ввысь. Распахнулся терем-дворец, взоры сидящих там людей обращены к дороге, по которой на молодом ослике въезжает в Иерусалим Христос. А вокруг него толпится млад и стар, и мальчик, забравшийся на дерево-стебелек, видит всех этих людей: радостных и удивленных, суровых и негодующих, испуганных и трепещущих, спокойных, добрых, злых.

И лилось перед взором художника золото, и синие ветви гнулись, и лица людей множились в его глазах. Писал он синим цветом и видел лучезарное небо, волны морские, писал он золотом, и мечта о счастливом дне не покидала его. Наносил он кистью на пергамент краски красные, ликующие, и радостные чувства охватывали душу. Он видел и писал, писал и видел. Писал о деяниях святых, а видел землю армянскую, ее дворцы, соборы, людей. И людей этих становилось все больше, и во взглядах их была та же несхожесть, что в движениях их рук, ног, головы, или в цвете их одежий...

Медленно, но уверенно ложились краски на пергамент, медленно, но уверенно переворачивалась одна страница за другой, и время медленно, но безвозвратно двигалось вперед. Ложились краски, напрягались брови художника, и глаза его уставали. Рядом с людьми он изображал дятлов, иволгов, оленей, драконов, и была рядом с жизнью мечта, а художник писал и писал. А малыш, что вобрался на дерево-стебелек, смотрел на мир своими детскими и удивленными слезами, и мое видеть бесконечные наплывы, разнообразные и живые. И замерли в воображении все эти красные, голубые, белые одеяния людей, и небо, покрытое золотом, и оранжевая земля.



ум все усиливающийся, шум необычно торжественный. Звуки кимвалов, барабанная дробь, победный клич.

Топтали мамелюки землю, радостные, с поднятыми к небу руками. Усиливался их топот, они становились все радостнее, среди гула насмешек и хихиканий раздавались торжествующие голоса:

- Слава тебе, доблестный эмир Ишик-Тимур!
- Да воздаст тебе должное аллах!
- Ты навсегда пала, Киликия! Ха-ха-ха!

Они топтали землю, впившись глазами в ночное небо. Горели дворцы, монастыри, замки, поля и сады, леса. А воины эмира Ишик-Тимура все продолжали топтать землю, визжа от удовольствия.

— Где вы, киликийцы? — кричали они. — Где ваши дворцы, храмы, ристалища, где ваши цветущие сады и шумные улицы, порты, многолюдные, многоязычные, а где корабли, колесницы, рабы? Теперь вы сами будете рабами! Слышите! А где росписи, книги? Не вы ли кичились своей ученостью, книжники надменные? Бейте себя в грудь, рвите на себе волосы! Ваши трупы расклюют вороны, а развалины ваших храмов зарастут чертополохом. И ничего не останется кроме воя шакала и крика коршуна.

Где же вы?..

В Матенадаране, в царстве древности и тишины, внимание привлекает рукопись. Она лежит на центральной витрине выставочного зала, поражает сочностью миниатюр, украшающих ее страницы. С заглавного листа рукописи сквозь сложнейшие сплетения орнаментов проглядывают сказочные персонажи, фантастические изображения животных и растений. Роскошь на пергаменте сочетается с утонченностью, глубокомыслие с даром импровизации. Кажется, автор миниатюр спорит с неведомым соперником.

Рядом висит табличка, рассказывающая историю рукописи: «Чашоц» — праздничная минея, написанная в 1286 году по заказу царя Киликийской Армении Гетума Второго...»

Диву даешься при встрече с этой рукописью — пришельцем из далекого прошлого. Смотришь и никак не можешь поверить, что ее создавали в средневековье: краски на пергаменте свежи, образы живы, трактовка современна. Я видел у этой витрины множество лиц: сосредоточенных, озабоченных, удивленных. Я видел здесь искусствоведов и не искусствоведов. «Чашоц» не считается с рангами, вкусами, восприятиями. Он властно прикоывает всех, он заставляет восхищаться.

Вокруг рукописи разгораются интересные споры и размышления. Одни считают «Чашоц» одной из вершин киликийской миниатюры, другие — предвестником новой эпохи в живописи. Мнения бывают разные, порою противоречивые, но их роднит общее — восторг.

Я внимательно перечитывал рукопись и видел людей, судьбы, страны... Царь Гетум Второй, беды и напасти, письма, искусство...

— Епископ Григор Анаварзеци...

— Не произносите имени этой змеи!.. Он хочет сделать всех нас рабами папы римского.

— А, может, в папе римском наше спасение?

— Бросьте, папа и Византия еще никого не спасали. Их пасть всегда раскрыта!

— Но епископ — человек образованный, умный...

— Беда не в одних дураках.

— Но как нам быть?

Читаем в Житии времен Рослина: «А вышеназванный епископ Григор неотступно следовал за Гетумом и разграбил и похитил ту малую толику благородства, которая еще оставалась в характере Гетума. Он выставил презренной и смешной веру, почитаемую армянами. И обратил его в еретическое учение, а сам радовался подобному исходу дела. Первый спесивец, многоголовый змей, злой искуситель души и тела поверг первого человека в грех, начал затевать междоусобия, ссоры, мутить, возмущать, возбуждать и мстить. И время было пособником лукавого».

Там же: «С наступлением праздника Успения святой Богородицы Гетум и епископ Григор с многочисленной толпой пришли в Скеврскую пустынь. Празднование выпало на среду. У армян принято этот день отмечать и праздновать после либо накануне воскресения. А они в ту же среду отпраздновали и, как язычники, предались чревоугодию, ели мясо, рыбу и тому подобное. И один из монахов ел с ними и тут же они назначили его настоятелем монастыря, а через несколько лет рукоположили в епископы. И из-за перестановки праздника многие погибли и была разрушена отцовская ограда, за что разрушителя да ужалит лютый змей!»

По словам автора Жития, царь Гетум Второй и его сподвижники «подобно морю, взбушевавшемуся и вспенившемуся от буйных дьявольских ветров, губительными словами приводили многих в смятение».

Но так ли раскован в своих поступках правитель Киликии и действовал ли он лишь по прихоти и личному произволу, как пытается изобразить это автор Жития?

Гетум вызывает к себе святого Георга из Скевского монастыря и дает ему тридцать тысяч динаров, чтобы он раздал эти деньги беднякам. Но святой в знак несогласия с латинофильской политикой Гетума отказывается выполнить его волю. Тогда царь говорит: «Если ты сделаешь то, о чем я прошу, обещаю покаяться и отречься от того, что совершил по отношению к миру и церкви, и обращусь к истинной вере».

Мучили ли его угрызения совести или просто он хотел привлечь на свою сторону Георга? И с каких это пор царь Киликии стал просить служителя церкви — пусть даже столь известного и влиятельного как Георг Скевраци? И зачем понадобилось ему раздать беднякам тридцать тысяч динаров? Не от слабости и растерянности — ведь царь «подобно морю взбушевавшемуся приводил многих в смятение». И почему ему, сыну Левона Третьего, нужно было вступить во францисканский орден?

«Монарх в рясе» — так называли царя Гетума еще при жизни. Зачем ему понадобилось облачиться в чужую рясу?

Когда он начал править, Киликия была данницей и мамелюков, и монголов. От времени Левона Второго и Гетума Первого остались лишь добрые воспоминания, хотя внешне все продолжало расцветать. Но опасность таилась в другом: набеги, междоусобицы, козни.

Он не раз задумывался над этим. Как спасти свой трон, свою страну?

Он хорошо знал, что означает быть зависимым союзником, как хрупок мир с мамелюками. Сын Левона, воспитанный с детства в армянском духе, не мог стать латинофилом без влияния сильного человека. Им оказался его первый учитель, крупный философ, канцлер двора Ваграм Рабуни. Судя по летописи, Ваграм давно болел «ересью», но сумел скрыть это от Левона. А затем молодой Гетум избрал себе в пастыри Григора Анаварзеци...

Но желание создать унию армянской и католической церкви не обязательно могло возникнуть из глубокой убежденности, веры. А, может, Гетум видел в униии лишь лучшее из всего худшего и заставил себя поверить в нее, помня об удачных связях своего прадеда Левона Второго с папой, орденами госпитальеров и тевтонов?..

Он был женат на дочери кипрского короля Маргарите, француженке. Как и многие его придворные, знал французский, латынь и, вероятно, распространенный в Киликии итальянский язык.

Во дворец проникали рыцарские обычаи и нравы, — Гетум и его сторонники грезили Европой, нарождавшейся, сильной. Она была им куда ближе, чем монголы или мамелюки. Но поглотить Киликию Европа стремилась не менее других, хотя не так откровенно. Однако этого ни царь, ни его приближенные не хотели видеть.

Его обещания папе создать унию церковью оказались бессмысленными — католические обряды и догмы не выходили за пределы двора, да и многие феодалы не поддерживали царя. Он сместил католика Константина, противника униии, назначил на его место Степано́са, но церковью, в сущности, руководил епископ Григор Анаварзеци. Затем он стал католиком, но ни он, ни царь не могли навязать униии народу. Не тогда ли Гетуму изменила выдержка? Он просил, требовал, грозился применить силу, чувствовал при этом свое бессилие... В стране росли междоусобицы, учащались набеги мамелюков, монголы только требовали и требовали. И Гетум отрекся от престола в пользу своего брата Тороса. Сделал ли он это из малодушия или трусости? Наверное, нет. Скорее он искал выхода, надеялся увидеть в Торосе более сильного правителя.

Будь он трусом, Торос и армянская знать не стали бы уговаривать его снова взять бразды правления в свои руки.

Его возврат к власти совпал с воцарением короткого мира в стране. Быть может, те дни и были самыми радостными в его жизни, и он поверил в удачный исход? Одна из его сестер

вышла замуж за брата кипрского короля, другая — за византийского престолонаследника, впоследствии императора Михаила Палеолога, третья стала невестой Иоанна Ангела. Кажется, связи Гетума расширялись, надежды росли...

А спустя год, в сопровождении любимого брата Тороса и преданных ему князей, ехал армянский правитель в гости к сестре своей в Константинополь, оставив управлять страной другого брата Смбата.

Время и впрямь было пособником лукавого. Гетума предали и брат Смбат, и единомышленники. Вернувшись в Киликию, он узнал, что Смбат объявил себя царем и короновал его не кто иной, как Григор Анаварзеци, ставший католикосом благодаря Гетуму.

Пока Гетум вместе с Торосом ездили из страны в страну, прося помощи для возврата власти, Смбат успел жениться на монгольской принцессе и получил признание ильхана.

Изнуренные долгой дорогой, униженные просьбами, разочарованные, возвратились братья в Киликию, надеясь найти опору среди армянской знати, но были схвачены около Кесарии стражей Смбата и заключены в крепость Бардзрберд. Смбат приказал ослепить Гетума, а Тороса убить.

Тогда и напомнил о себе четвертый сын Левона Константин. Он выступил против Смбата, и войска братьев столкнулись у Сиса. Полилась кровь армянская на пути в столицу армянскую, и убивали друг друга армяне. Убивали, забыв о совести и чести, не щадя ни близких, ни родственников...

Константин победил. Он заточил Смбата в замок, а Гетума освободил, но власти ему уступать не думал. Так еще один сын Левона третьего стал царем Киликии. Четыре брата на троне! И на протяжении каких-нибудь девяти лет...

Гетум вскоре прозрел. Тот, кто его ослеплял, видимо, не до конца разрушил хрупкие сосуды глаза. Или судьба на этот раз улыбнулась Гетуму? Ведь не могла же она всегда отворачиваться от него!

Страна была разграблена — голод, болезни, смерть. Алчность братьев царя, их бессмысленные войны между собой вызвали негодование народа. И когда Гетум пожелал вернуться к власти, его поддержали.

— Вы — проклятье земное и небесное, — сказал он братьям. — Вы звери алчные, осквернители страны, братоубийцы! Этого ли ожидал от вас мой славный родитель Левон и моя благочестивая мать Керан? Вы сокрыли в своей душе лукавого и, усыпив мое внимание, набросились на меня, как взбесившиеся гиены. Ты, Смбат, умертвил своего брата и ослепил меня, царя, уступившего корону брату своему. Ибо не корыстью я, царь, был движим, а разумом и добротой.

— Но брат мой...

— Не называй меня братом! Вы дрались друг против друга, как заклятые враги, и стали посмешищем и забавой неверных. И пока вы грызлись, они опустошали страну, грабили и убивали. А ты, Константин, выступил против родного брата не потому, что думал о чести моей или моем спасении. Тебе нужен был трон! И ты освободил меня, дабы казаться в глазах людей добродетельным и праведным.

— Когда я правил, ты по вине своего гнусного брата...

— Не называй его моим братом!..

— ...и сатрапов его, этих ненасытных пиявиц, был незрячим...

— А когда прозрел? Почему тогда ты не уступил власти мне, законному царю Киликии? Старшему сыну Левона Третьего! Вы нарушили заповедь предков, вы посеяли у трона рознь, и вам нет пощады! Я не стану ослеплять вас, казнить, не стану проливать армянскую кровь. Но проведете вы свою жизнь в заточении и не в ином месте как в империи моего зятя Михаила, в столице всех столиц божественном Константинополе, чтобы чувствовать

свою близость к величию и роскоши, которые не даны вам. Чтобы чувствовать недостижимость этого близкого и наслаждаться сквозь окна темниц одним лишь небом!

Он пощадил их жизни. Не благородством ли это было со стороны поруганного царя? Тем более, если вспомнить, какое было время, его жестокие нравы...

Он окунулся в политику, вел переписку с европейскими государями, папой, участвовал в походах монголов на Сирию, деля вместе с ними успехи и неудачи. Это тогда монгольский хан Газан щедро разделил с ним султанскую казну, содержащую несметные богатства. Хан был щедр к нему и после неудачного похода на Сирию, подарил ему тысячу монгольских воинов и деньги. Это говорило о расположении к Гетуму...

Поверив в свою удачу, мамелюки решили вторгнуться в Киликию, чтобы, как они заявили, получить от армянского царя дань. В горном проходе Аманского хребта Гетум наголову разбил войско эмира Алеппо Кара-Сонкора, надолго отбив у него охоту вторгаться в пределы киликийской земли. И теперь, когда удача стала сопутствовать Гетуму, он неожиданно уступил трон сыну брата Тороса Левону. Казалось, Гетум ищет случая, чтобы избавиться от царской власти, но для этого ему нужно найти достойного преемника...

А потом было самое жестокое. Монгольский военачальник Биларгу пригласил в Аназарбу молодого царя и лучших его воинов на совет. Гетум, естественно, сопровождал сына любимого брата. И все они были перебиты людьми Биларгу, вероломно, не успев даже взяться за мечи...

История объясняла это преступление по-разному: Биларгу намеревался захватить Киликию и потому убил царя и его приближенных. Биларгу подстрекали на убийство армянские феодалы, противники унии. Как-то Левон Четвертый пожаловался великому хану на Биларгу, и тот ему отомстил...

Но хотелось бы говорить не об этом. И не о том, насколько было правильно стремление Гетума сблизиться с папой, навязать армянам католичество. И как он отрекался и возвращался. И как жестоко обошелся с ним родной брат, и не о смерти его, символической, наступившей не где-нибудь, а в Аназарбе — городе, епископом которого некогда был его пастырь Григор. И не о том, что принял он смерть именно от монголов, насильственные и унижительные союзы с которыми всегда тяготили Гетума. И не о том, как дрались братья насмерть, забыв о чести, совести, родстве, и не о других людях его окружения, не об их характерах, нравах, кипевших вокруг них страстях...

А о том, что порождало эти характеры и нравы. «...И время было пособником лукавого...» И дело не только в нем, хотя оно, несомненно, отразилось на этих людях.

Там, за горами Тавра, на берегу Средиземного моря, люди сеяли и пахали, строили города, лелеяли искусства, страдали и наслаждались жизнью, веселились, испытывали тяготы и нужду. И это происходило на их земле.

Но чем бы ни занимался киликиец, будь то каменщик, земледelec или купец, — он всегда ощущал приближение грозы. Он знал: полчища сельджуков или мамелюков могут нагрянуть неожиданно, и все сотворенное мгновенно разрушится, исчезнет.

Киликийцы не надеялись на длительный мир: и монголы, и крестоносцы всегда могли предать, оставить наедине с очередной раскрытой пастью. Они не раз оказывали достойное сопротивление врагу, побеждали его, подписывали выгодный мир, но прочен ли он для жителей малой страны, оказавшейся по воле рока среди могущественных, диких и ненасытных?

Это ощущение приближающейся грозы, готовой внезапно разразиться, не покидало киликийцев. Оно накладывало свою печать на их мироощущение, ум, поступки. Некоторые осознавали это, иные — нет, но воздействовало оно на всех.

И неизвестно, как повели бы себя братья, будь в Киликии прочный мир. И не было ли в поступках их, поспешных, суетливых, неуверенности, ощущения беззащитности перед грозой, страха?

Но такой мыслящий человек как Гетум, наверное, чувствовал приближение этой грозы острее многих. Вот почему так тревожна была его душа.

И все страсти царя, поступки подданных, все беды, нависшие над его страной, ее страхи и радости — все это проистекало из одного, название чему — безысходность.

И в пору этой безысходности юный престолонаследник захотел увидеть в своей библиотеке книгу молитвословий, праздничную минею.

— А чьи будут росписи? — спросил его отец.

— Я еще не решил, государь. Может, посоветуешь?

— Ты и сам понимаешь толк в этих делах. Но не слишком ли много времени уделяешь ты книгам, росписям и молитвам? Тяга твоя к мудростям и благочестивость меня радуют, но будущий царь Киликии должен хорошо держать меч...

— Я и о мече не забываю, отец. Но хочу умилостивить бога, дабы послал он нам мир и благополучие. В росписях я нахожу все лучшее, на что способны люди на нашей земле.

«Чашоц», праздничная минея Гетума Второго, вошел в историю армянской культуры как один из ценнейших ее памятников. Ишатакаран рукописи гласит: «В летоисчислении армянском 735 завершилась божественная книга по повелению боголюбивого, мудрого парона Гетума, Сына Христом коронованного святого царя Левона, полная и совершенная, как цветущий сад. Собранная из древних и новых законов для прославления божественных праздников великолепного Рождества Христова и животворящего мучения...»

Не все страницы ишатакарана дошли до нас, не сохранились имена писца и художника и, тем не менее, даже эти скупые строки говорят о многом...

В том летоисчислении армянском 735, — иначе говоря — в 1286 году — Гетуму Второму было двадцать лет. Писалась его рукопись долго.

— Сколько времени нужно вам, чтобы сделать копию с одного не слишком сложного хорана? — спросил я у художницы Матенадарана.

— Около двух месяцев, — ответила она после короткого раздумья.

— А сколько времени понадобилось бы автору оригинала?

— Наверное, меньше, чем мне. Он раскован, я зависима от него.

С этим соглашаешься и не соглашаешься.

В самом деле, копиист всегда скован оригиналом, и это делает его работу кропотливо долгой. Автор действует свободнее, отдавшись вдохновению. Но если вдохновения нет? Если замысел меняется, произведение переписывается по нескольку раз.

Фантазия автора «Чашоца» не знает предела, его кисть непринужденна и легка. Краски сверкают, бурлят, смешиваются и разливаются, как реки. Чуть ли не все миниатюры этой рукописи — все лучшее, что можно представить в искусстве живописи. А миниатюр в «Чашоце» около четырехсот.

— Откуда ты, как имя твое?

На осеннюю землю падают золотистые листья. Издали доносятся непонятные звуки. Чувствуешь запах горящего пергамента.

— Как имя твое, мастер?

Медленно рассеивается дым. Недвижима вода, — такой она бывает после заката. Медленно ползут облака, холодные и хмурые. Куда ни глянешь, всюду лежат краски померкшие.

— Может, тебя зовут?..

Появились первые предположения. Но никто еще не высказался окончательно. Но если предположения подтвердятся, то, значит, на небосклоне армянской культуры засверкает новое имя...

Художник «Чашоца»?.. Насколько они с Торосом Рослином близки? Вот он, начинающий художник, впервые увидел Варпета — конечно, в глазах блеснуло изумление. Юноша хотел бы поделиться, послушать советы. Или он стал копировать знаменитого мастера и все безуспешно, и понял, что пути их разные. Или сказал ему об этом сам мастер Торос?..

Да, он, вероятно, моложе варпета Тороса. «Чашоц» завершен в 1286 году, на 18 лет позже последней подписанной Рослином работы — но это, конечно, пока еще не основание для таких утверждений. Работы художника «Чашоца» могли не уцелеть (это творчески зрелое произведение), и оба художника могли начинать вместе. Но так ли это было?

— Я стар, глаз не тот, да и рука не та...

— Но рукопись должна пережить века...

— Если позволишь, твоя честь, то я подскажу художника... Ее может расписать другой...

Я верю в него, хотя мы с ним разные...

— Веришь в него...

— Да.

Тихо в кельях, и во дворе тихо. Молча слушают художники мастера.

— ...И я остановил свой выбор на тебе.

— На мне?..

— Да, на тебе.

— А почему не самому тебе взяться за это? Ты признанный всеми. Отказаться от такой чести?..

— Стар я.

— И ты предлагаешь это сделать мне, недостойному из недостойных, нечестивцу, который так и не обмолвился о тебе добрым словом.

— Стар я, потому мудрее, а, значит, и глаз мой перевидал многое, знает толк в вещах.

— Но ведь кисть моя тебе чужда.

— У тебя свои глаза, ум, сердце. Но дарование твое велико, и это все. Не смотри на меня так, я верю в тебя.

— А если?..

— Знаю, что хочешь спросить, но не решаешься.

— Нет, я...

— Каждому свое место под солнцем.

— Саркис, принеси покрывало бархатное, обитое золотом и бахромой.

— Ованес, крест с жемчугами и кадильницу серебряную.

— А ты, Вардан, позови певчих и священника, да скажи им, что день у нас сегодня особый, торжественный...

— Иду, Варпет.

Они стояли под сводами храма в праздничных одеяниях — живописцы, каллиграфы, переплетчики, экономеры, звонари, ключники, изготовители пергамента и красок. А напротив них стояли двое — старый и молодой. И на столе, застланном покрывалом бархатным, лежала рукопись священная.

Зажглись свечи, канделябры и лампы, заблестал тусклым золотом алтарь. Сквозь густой синий дым ладана мелькали огни свечей. Полилась песнь, звеня и дребезжа, и в мелодию ее, то тихую, то усиливающуюся, ворвались слова молитвы:

— Благословляю тебя, священная рукопись, благословляю твои письмена, достохвалыные, великолепные, затейливо очерченные, и росписи твои дивные, цветистые, как сады Киликии, когда в стране царит мир и земля наша щедра урожаями...

Они стояли полукругом и, когда священник окончил молитву, молча склонили головы перед теми двумя — старым и молодым. Лилась песнь, блестело тускло золото, и в храме раздавался тот же голос:

— А теперь ты, Саркис...

— А теперь ты, Ованес...

Склонялись головы перед священным писанием и произносились в честь него молитвы и пожелания.

— А теперь ты, Вардан...

— Ты...

«...Полная и совершенная, как цветущий сад...»

Сначала это просто кажется многоцветным растением, свисающим сверху вниз гирляндой, ветки унизаны листьями — извилистыми, остроконечными, золотистыми, синими, красными и зелеными, — они сверкают, поблескивают, переливаются... Потом вглядываешься и видишь, как все вокруг оживает, обретает новые черты. И из гущи этих ярких листьев как бы доносится пение птиц, обезьяньи вопли, вой драконов, крики орла. Райский уголок, иллюзия, придуманная сказка или сплетенные воображением впечатления годов? — мысли мелькают, перемежаются, проясняются: вглядись повнимательнее! Порою не найти, не выделить начала или конца изображения — крылья иволги сливаются с растениями, вцепившаяся в древо обезьяна чем-то похожа на изогнутую ветвь, листья напоминают изгибы лебединых шей. И увенчано это свисающее многоцветное чудо сине-золотистым орлом. Он нахохлился, сжал презрительно клюв. Под ним трехликий человек. Но как написаны лица! Нос, рот, глаза, щеки переданы объемно, моделированы светотенью: все естественно, просто, живо — для XIII века это более чем необычно. А слева, в верхней части листа, то же пиршество и сверкание. Но это уже не гирлянда, а ковер. Все то же пение птиц, шелест листьев, только крики, звериный вой, вопли участились, усилились...

Это заставка одного из заглавных листов «Чашоца». В центре ее на золотом фоне нагрудное изображение Христа-Эммануила. Его обрамляет такой же золотой, украшенный узорами, напоминающими сине-голубые камни, медальон. По обе стороны портрета изображены фантастические китайские небесные собаки. Они стоят, вытянув серебристые головы. Ниже растянулись мохнатые синие львы — глаза их сверкают, чувствуешь тяжелое дыхание...

Орнамент заставки соткан из многоцветных прямоугольников, лепестков, листьев, ветвей. Синие, красные, фиолетовые, золотые, зеленые ветви тянутся кверху, опускаются вниз, обвивают зверей, птиц, медальон. А выше распутившаяся многоцветными лепестками чашечка цветка, и вокруг порхают сказочные птицы и попугаи. В левой части листа, с краю, вытянулись продолговатые изображения зверей. Это волк, лев и какое-то фантастическое животное, напоминающее быка. Художник расположил их друг над другом, как бы длинною, серебристо-золотисто-синей цепочкой. А над ними стоит синий петух. Подняв голову кверху, он с любопытством рассматривает этот странный для него экзотический мир.

Я держал в руках «Чашоц». Вот так же держал и перелистывал его царь Гетум, его отец Левон, а может, и Торос Рослин — не верилось... Чего только я не представлял: рукопись спасают из горящего Дарбаса или Ламбронского замка, прячут от неприятеля в скалах, закапывают в землю... Все это случалось с армянскими рукописями... Вот царь Гетум Второй, тогда еще юный престолонаследник, принимает рукопись из рук художника... Торжествен-

ное молчание — один испытывает это чувство потому, что сам сотворил эту рукопись, другой — о, даже ему, будущему государю, не верится! — от того, что стал обладателем такого чуда... Рукопись освящают в церкви, к ней прикасаются десятки, сотни губ... Я углубился в это время, чувствуя себя приблизившимся душой и мыслями к своим далеким предкам. Я сидел в хранилище Матенадарана (оригинал рукописи находится здесь, а в зале выставлена копия) и внимательно разглядывал каждую страницу «Чашоца», некоторые из них я пересматривал по нескольку раз, — от этих миниатюр сразу не оторвешься, все хочется смотреть и смотреть. Четыреста восемьдесят два листа, три из бумаги, остальные из пергамента. Текст написан круглым письмом — болорагир — в двух столбцах, по двадцать семь строк на страницу. Но краски на листах, как обычно, вторгаются в пределы письмен, тем самым уменьшая размеры столбцов с буквами. Миниатюры возникают чуть ли не во всех уголках листов. Они сочны и насыщены. Живые и подвижные персонажи недоумевают и радуются, страдают и негодуют, ведут жаркие споры. Такая живопись необычна для века. Фантазия автора неистощима — образы, образы, и они не знают повторений. Люди, звери, фантастические существа выглядывают из-за колонн, капителей, растительности, взбираются на деревья, стоят на крышах домов. И даже маргиналы, самые пышные растения этого «цветущего сада», предназначение которых чисто украшательское, — обретают в «Чашоце» иной смысл. В пестроте их гуши показаны самые различные события. Неугомонный, талантливый художник как бы стремится показать неисчерпаемость жизненных явлений. Лица, лица, старческие и юные, иногда они доходят в рукописи до микроскопичности — есть лица двух-трех миллиметров, но как они образны, характерны! В этих крохотных лицах целый мир, в них читаешь страсти человеческие, улавливаешь что-то от времени, страны.

Я перелистываю «Чашоц»... Сверкающие медальоны, обрамления, виртуозно выписанные символы, маргиналы, словно стекающие, льющиеся заглавные буквы. В орнаментальном обрамлении портрет католика Саака Партева. Он держит книгу, углубился в мысли, молится Василий Кесарийский, греческий церковный деятель, вельможно восседает на троне царь Восточно-Римской империи Феодосий. Перелистываю дальше... Портреты апостолов в обрамлениях сменяются сценами. Вот Иону сбрасывают в пасть кита. Его спускают с остроконечной лодки прямо в пасть, вокруг — сине-серебряные завитки волн. В печи огненной три отрока, а наверху ангел, словно желающий охватить их раскрытыми крыльями. Это он спасет отроков.

Посмотрев все страницы рукописи, я снова вернулся к первой — нелегко расставаться с «Чашоцем». С первого заглавного листа (их в рукописи восемь), с заставки в виде пятилопастной фигурной арки на меня смотрел юный Соломон. В руке он держал пергаментный свиток. Не книга притчей ли это, часть которой изложена под портретом царя?

Заглавный лист охватывает и смежную страницу. На ней сверху вниз, в глубине разместились шесть фигур. По описанию Лидии Александровны Дурново, выше всех изображен портрет пожилого царя, седовласого, длиннородого, со строгим лицом. Он сидит прямо, опершись одной рукой о колено, в другой держит золотую державу с большим крестом. На голове у царя зубчатая золотая корона, одежда на нем зеленого цвета с узкими рукавами и белым широким меховым воротником. С плеч на спину спускается красная мантия.

Ниже — портрет молодого человека, он в той же позе, на нем та же красная мантия, но одежда синего цвета и без воротника. Корона с тремя зубцами на голове говорит о его царском происхождении. В руках та же державка, но уже поменьше.

Это царь Левон III и его сын, престолонаследник Гетум. А потом своеобразная пауза — два портрета отделены от остальных полосой переплетающихся стеблей, а под ними один над другим остальные четыре персонажа. Костюмы, жесты, прически, державы и чаши в

руках, коленопреклонение перед царем — сцены, словно подсмотренные из жизни киликийского двора. Придворные одеты на западноевропейский образец, так же причесаны: прямая челка закрывает часть лба, волосы сзади и по бокам головы охватывают шею густыми локонами.

Да, тот, кто изобразил этих людей, по-видимому, был хорошо знаком с дворцовым бытом. Но только ли это хорошо знакомо автору «Чашоца»? Яркие, полные живых наблюдений листы раскрывают образы, сцены, уводят к самым неожиданным сторонам жизни. За святостью и ореолом встают многолетние наблюдения — дворцы и соборы, звери, птицы реальные и из легенд, бездна людская, — все это где-то увиденное, непридуманное.

Что и говорить, они были художниками разных поколений. И один из них был старше другого — был старше варпет Торос. И вот почему...

Если охарактеризовать одним словом, то Рослина скорее назовешь тонким, а автора «Чашоца» — ярким. Но, конечно, это вовсе не говорит о том, что кто-то из них лишен качества, присущего другому. Я о том, что прежде всего бросается в глаза у обоих. Граней же их дарования не счесть — тонкий Рослин в то же время ярок, а яркий художник «Чашоца» — тонок.

Рослин более живописный, драматичный, остро ощущающий трагическое. Он глубже заглядывает в душу, не жесты и движения передают состояние человека, все происходящее в нем читаешь на лице. В красках Тороса живет какая-то таинственность, нечто от озарения, пламени. В «Чашоце» же преобладает яркость. В миниатюрах этой рукописи начинаешь ощущать чуждое армянской живописи увлечение внешним. В трепетность, беспокойство, напряженность цвета проникает виртуозность со своим неразлучным спутником — холодком. Все больше подчеркивается линия, хотя на картинах все блестит, сверкает и переливается. Но это скорее пиршество, ликование, чем беспокойство и трепет. Для приверженцев красоты яркой, откровенной, знакомство с праздничной минеей — приятнейшая неожиданность. Сторонник тонкости и подтекста в искусстве усмотрит в миниатюрах книги царя Гетума потерю некоторых глубинных проявлений, хотя, повторяю, тонкости, глубокомыслия в «Чашоце» вдоволь. И все же очевидная красота захватывает. Ценителя искусства поражает обилие новшеств — живость, объемность лиц, подвижность, непринужденность, — чувствуешь стремительный шаг, одежда развеивается по ветру... Почти, а может и все творчество Тороса Рослина протекало в годы царствования Гетума Первого, в одно из лучших времен киликийской истории. И тот драматизм, который ощущается в картинах Рослина, не просто отражение эпохи, века. Это история его народа, его судьба, навсегда ставшая неотделимой от дум, помыслов и творчества художника. Днями, ночами думал Торос Рослин о судьбах своей страны. Переживал. И это стало его натурой, частицей его характера. Это отразилось и в его работах. Но он жил в то время, когда был мир, когда раздумья тесно связывались с надеждами. Тогда была возможность углубиться, в жизни главенствовали более уравновешенные, спокойные ритмы. Во времена «Чашоца» все обстояло по-другому. Рукопись закончена в последние годы правления Левона III. Киликия претерпевала серьезные потрясения. Все труднее становилось сдерживать мамелюков — они были сильны, а рассчитывать на монгольскую помощь было бессмысленно. Подарки, золото, деньги, кони, мулы не давали достаточной гарантии — мамелюков можно было ожидать в любой час. Спустя шесть лет после завершения рукописи они ворвались в Ромклу, перебили ее защитников и жителей. Патриарший престол был переведен в Сис. А там, вблизи от дворцовой роскоши и праздности патрициев, киликийской миниатюре суждено было приблизиться к закату.

Есть в «Чашоце» что-то от стремительности, жажды ощутить день, час, минуту, дышать полной грудью. Нечто от суетливости, поспешности, присущих Гетуму, его сподвижникам.

В поступках государя какая-то неуверенность, в то время как мастеру «Чашоца» свойственно обратное. Впрочем, так ли это? Так ли далеки неуверенность одного от уверенности другого?

Вникнув глубже, видишь, что это две стороны одной медали. В лицах, характерах и самих красках миниатюр «Чашоца» таится нечто от безоглядности, страха перед сомнениями, видишь желание поскорее высказаться, выплеснуть душу. Уверенность ли кроется за этим? Может, скорее неуверенность?

«И время было пособником лукавого...» Я вглядывался в миниатюры «Чашоца» — святые, люди, растения — все вытянутые, словно устремленные к небу. Края одежд, концы листьев, пальцы рук, ног обретали на пергаменте более заостренные линии, чем-то вызывали воспоминание о стрельчатости готических соборов, об их шпилях. Линейный стиль в миниатюре брал верх над живописностью, а заученность и виртуозность все чаще подменяли творческую взволнованность. Артистизм порою терял меру. И это отличало не только мастера «Чашоца», но и многих художников, творивших в конце XIII века.

Безысходность, царящее в стране настроение безысходности, — вот о чем мне рассказывала книга Гетума. Хотя все на пергаменте сверкало, переливалось, звучало. Но это было другое сверкание, другой звук...

Не чувствуешь ли в суетливом стремлении мастера «Чашоца» к готике то же, что в поступках киликийских государей — в их тяге к католичеству? Некоторое влияние готики ощущалось и ранее, но не так, как сейчас. Тогда пришельцы из Европы одерживали победу за победой, и киликийцы верили в их благие намерения. Теперь, когда эта вера была поколеблена, влияние готики на искусство страны Тавра возросло — тогда в Киликии жила надежда, теперь ее почти не осталось. Тут искусство прямо, зеркально отражает жизнь.

ПАМЯТНИК

Дальше? Я все пытаюсь представить события, людей, но сам он появляется на этом фоне все реже и реже. Иногда промелькнет знакомый облик, послышится знакомая речь, но трудно сказать, он ли это.

А потом он исчез, исчезли окружавшие его люди, и я вижу гору, увенчанную памятником, людей...

Они идут по пустыне, идут по земле, безвлажной и необитаемой, идут по песку, раскаленному оранжевому, вслед за солнцем багряным, спустившимся к земле, чтобы повести людей к горе высокой.

Идут они сюда по берегам каменистым, лесам терновым, через ущелья и рвы. Идут окровавленные, изнывая от боли, спотыкаясь, падая, но, вставая, опять идут. Идут из разных земель и времен, молча, словно не видя друг друга, поглощенные думами. И путь их мучительный все тянется и тянется. В руках у них мечи и копья, листы из папируса и пергамента, реликвии Вавилона и Рима. И небо, благородное, лазурное, над ними становится то лучезарным, то нежно-розовым. И царит тишина. И только издали доносятся звуки литавр и горна.

И вот он уже среди них, и вот он несет свой крест по прямой дороге в гору...



наете, — сказал мне академик Иван Людвигович Кнунянц, — я родился не в Армении, жил в Москве, работал с людьми из разных уголков страны, и никогда не задумывался о своей национальности. Не то, что я не считал себя армянином, а был как-то в стороне от всего армянского.

И вот в Ереване я побывал на строительстве нового здания Матенадарана. Привезли огромные каменные глыбы. Строители наотрез отказались принять материал: «Камень, конечно, хороший, но нам нужен самый лучший». Доставщики говорили, что лучшего камня не бывает, что они выполняют решение начальства, грозились жаловаться. Но инженер стоял на своем: «Никто не заставит меня принять этот камень. Нам нужен наилучший, — мы строим Матенадаран»...

Не могу объяснить, как и почему, но тогда и почувствовал я себя армянином.

Камни... Сероватые, тяжелые глыбы. Их расположили рядом, и вместе они напоминают застывшую лаву. Их нужно обтесать, нужно придать им соответствующую форму, затем собрать воедино, соорудив прочное, величественное и вечное.

Блоки для ниш, порталов, карнизов, блоки, из которых будут высекать скульптуру... Вклинивается острие металла в камень. Мозолистая рука каменотеса очищает его поверхность от пыли и обломков. Дни идут, стучат молотки, и на камне возникают выпуклости, углубляются впадины, проступают черты человеческого лица...

Но сначала заскрипели перья, зацокали пишущие машинки, застучали типографские станки, возникли первые неожиданности, открытия, первые ошибки и их последствия.

Все больше людей обращаются к нему — он приближается к нам издали. Но тернистый путь сквозь столетия проделан, и он уже рядом. Кропотливые исследования последних лет рассеяли сомнения, выявили в его биографии неточности — и теперь он вплотную приблизился к нам. Он, Торос Рослин, художник и писец...

Делая своих святых, своих небесных героев и праведников близкими и родственными людям, он как бы показывал: идеал достижим и на земле. На той земле, где несчастья и скорбь не в силах сломить человеческого духа. Непоколебимость духа он утверждал в то время, когда люди так нуждались в этом. Десять, сто, тысяча лиц — перелистываешь страницу за страницей. Думаешь: он верил в свой народ.

Рослин для нас — напоминание. Об одной из ярчайших страниц армянской истории, о том, на что способен народ в пору затишья, мира и в час испытаний.

Не потому ли он нам так дорог? О нем говорят знатоки и любители искусства, и даже те, кто вовсе не видел его произведений — и в этом смысле участь его — участь многих великих. «У нас есть Рослин». Слова эти произносятся с теплотой и гордостью, будто он жив, где-то рядом, в спорах о путях искусства, на выставках и в мастерских художников...

— Что дал мне Рослин как художнику? Дал многое, — Минас Аветисян призадумался. — Об этом односложно не скажешь. Что дал Рублев русским художникам или Леонардо — итальянским? И что дали тот и другой вместе человечеству? Глядя на картины Рослина, я с особой силой хотел работать...

Он написал «Рождение Тороса Рослина». Огромная фреска украшает зал одного из ленинканских заводов. Об этой великолепной фреске было сказано и написано много лестного. Но когда у автора спрашивали: а почему именно на заводе — он отвечал: «Рослин уместен везде».

Он был влюблен в великого предка, стал его духовным наследником и пропагандистом.

Фреска Минаса пронизана красно-желтыми, доведенными до накала тонами и как будто излучает тепло. Среди невысоких древних армянских жилищ стоит мать с новорожденным ребенком в руках. Позы и выражения лиц стоящих рядом женщин говорят, что свершилось событие необычное. Коленопреклоненная дева опустила голову перед младенцем, — словно предчувствуя, какую красоту подарит он людям...

За несколько дней до трагической смерти Минаса я говорил с ним по телефону:

— Получил из-за рубежа слайды Рослина.

— Правда?!

Я рассказывал, какое огромное впечатление произвели миниатюры киликийца на работников Московского музея древнерусского искусства имени Рублева. В мастерской Минаса были гости, и я слышал, как радостно он пересказывал им это...

Как зажигался он, когда говорил о Рослине! И слайды, о которых шла речь, удалось заполучить благодаря его стараниям. Он мечтал быть художником спектакля и фильма, посвященных Рослину, задумал картины о нем...

Сейчас, когда выдающегося армянского художника Минаса Аветисяна нет в живых, хотелось бы сказать ему великое спасибо за помощь.

Помню выставку Ерванда Кочара в Москве. Речь зашла о «Давиде Сасунском». Я восторгался экспрессией этой замечательной скульптуры.

Он заметил, что без экспрессии армянского искусства нет вообще. Тут он вспомнил наших древних миниатюристов, Тороса Рослина. А через год писал мне:

«Торос Рослин — самый крупный и признанный художник нашего средневековья. С одной стороны, этот гигант крепко стоит на своей родной почве, с другой, он обогащает

армянскую живопись самыми передовыми традициями мирового искусства. Этому гениальному мастеру удалось выразить в своих произведениях необычные для его времени реалистические пропорции, психологизм человеческих чувств и настроений.

История знает о тесных экономических и культурных связях итальянских городов с Киликией. И тут трудно сказать, кто на кого оказал влияние. Рослин перешагнул византийские традиции и ввел больше свободы как в построение композиции, так и в передачу движения.

Сегодня он для нас, армянских художников, как путеводная звезда. Мы можем многое почерпнуть из его творчества. И это будет куда правильнее, чем слепо следовать за французским или каким-либо другим европейским искусством. Это обогатит нас, покажет миру истинное величие Рослина...»

...Беседа с Сарьяном близилась к концу.

— Ваши любимые художники, Мартирос Сергеевич?

Он назвал нескольких.

— Очень люблю древнеармянских миниатюристов. Особенно Тороса Рослина. — И улыбнувшись своей, по-сарьяновски доброй и чуть лукавой улыбкой, добавил:

— Несомненно, гениального мастера. Будете приводить мои слова, прошу подчеркнуть: «гениального».

Беседа наша была опубликована в первом номере ежегодника «Панорама». Я исполнил желание Мастера.

А через несколько лет директор музея Сарьяна Шаэн Хачатрян обнаружил в архивах художника его неопубликованную запись о Рослине и любезно предоставил ее мне.

«В 1901 году в возрасте двадцати одного года я впервые приехал в Армению. Я увидел свою землю, свой народ, природу Армении с ее солнцем и величественными горами, увидел развалины Ани, познакомился с нашей неповторимой архитектурой, нашими фресками, живописью. А позднее в Эчмиадзинском матенадаране — с нашей миниатюрой, которая для меня укладывалась в одно имя: Торос Рослин».

В 1916 году я с большим подъемом работал над одной миниатюрой, которая предназначалась для антологии «Армянская поэзия», составленной Валерием Брюсовым.

Работая над этой страницей, я ощущал себя безымянным миниатюристом. Я чувствовал, как своими звучными, но сдержанными красками и энергичными линиями миниатюристы близко воспринимали нашу природу, землю, дух нашей земли. В неповторимом языке их живописи, словно сгустившись, воплотилась природа и характер армянского народа. Краски и те были от земли.

Общеизвестно, что истинный художник любого народа воплощает творческое лицо народа и страны своей. И поэтому понятен и близок другим народам. Такими были наши миниатюристы, и самой яркой звездой средневекового армянского искусства был Торос Рослин».

— Я знал о Торосе Рослине и раньше, — сказал мне Михаил Владимирович Алпатов, — видел некоторые его произведения, но обстоятельно познакомился с ним совсем недавно. Конечно, это большой мастер.

Алпатов написал для этой книги: «Знакомясь с произведениями Тороса Рослина, я обратил внимание на миниатюру с изображением евангелиста Иоанна из рукописей 1256 года. Иоанн сидит, перегнувшись всем корпусом, в глубокой задумчивости. Как выразительно лицо этого старца, его длинная белая борода! Как хорошо его фигура вписана в прямоугольник обрамления! Как не похож он на обычные в Византии фигуры евангелистов, которым мастера стремились сообщить своеобразные черты.

Мимика Иоанна настолько необычна, что даже трудно найти ей ближайшие аналогии. Он опустил руки и всем корпусом выражает упорную мысль. Это настолько замечательное произведение, что оно выигрывает по сравнению с византийскими образцами. Мастер Торос Рослин явно наблюдал окружающую жизнь.

В остальных миниатюрах евангелий, написанных Торосом Рослином от самого раннего до самого позднего произведения мы находим художника перед различными задачами, но всегда во всеоружии своего безупречного мастерства. Хочется отметить, что каждый мотив, заимствованный Рослином, подвергается им переработке, и в этом мотиве проявляется его изобретательность.

Назвать искусство Рослина предчувствием близкой поры Палеологов было бы неверно, хотя исполнение им толпы или сцены вроде «Рождества» кое в чем превосходит искусство Палеологов. Чтобы оценить крупное значение этого мастера, достаточно напомнить о новых путях, которые прокладывает его искусство».

Лидия Александровна Дурново писала о киликийце:

«Торос Рослин был художник просвещенный и вдумчивый, много видевший и много знавший; подавляющее большинство его произведений, даже самых маленьких, проникнуто содержанием, потому и в хоранах его, и в заглавных листах следует видеть не чисто механический набор мотивов, но и определенную, связывающую мотивы мысль. Изображая сцену борьбы животных между собой или подбор отдельных животных, танцующих и играющих, маскированных или обнаженных людей, различные предметы искусства других стран и прочее, он вводит нас через свои арки хоранов и заглавных листов в действительный театр, цирк, зверинец, ризницы, быть может, даже музеи Киликии...

Творческое лицо этого высокоталантливого мастера на протяжении творчества менялось, удерживая, естественно, лишь некоторые черты, свойственные ему, которые он совершенствовал, но не оставлял. Его фигуры всегда пластичны, подвижны и гибки, но постепенно их движения делаются все правильнее и разнообразнее. Виртуоз орнамента, Рослин строит его непринужденно и никогда не повторяясь...

Торос Рослин был исключительно яркой творческой личностью, искусство его во многом перешагнуло его время, и именно он сделал первые шаги Предренессанса».

Высоко отзывался о Торосе Рослине и Виктор Никитич Лазарев. По его мнению, еще до Рослина Киликия славилась своими высокоталантливыми мастерами. Из них он выделяет имена Григора, Константина.

«В исполненных ими рукописях, — писал Лазарев, — искусство армянской миниатюры поднимается на недостижимую высоту. Рисунок маленьких хрупких фигур обнаруживает тончайшее чувство пропорций, краски сияют, как самоцветные камни; разнообразие орнаментальных мотивов, умело распределенных на поверхности листа, настолько велико, что оно поражает даже при сопоставлении с лучшими греческими рукописями... Именно они подготовили почву для блестящего расцвета киликийской миниатюры XIII века и для ее наиболее крупного представителя Тороса Рослина».

Называя Тороса Рослина наиболее прославленным киликийским художником, Лазарев говорит и о влиянии на его искусство византийской миниатюры. «Это, — пишет Лазарев, — однако, ни в коей мере не умаляет оригинальности творчества Рослина и его современников. Киликийские мастера были вполне самостоятельными художниками, никогда не подражавшими слепо греческим образцам. Все заимствования со стороны они перерабатывали соответственно своим национальным вкусам и склонностям».

Джотто считают первым художником Возрождения. То, что начал Каваллини в области светотеневой моделировки, Джотто представил в своей живописи в более современном

виде. Изображенные им фигуры обрели более округлые формы, их отличало чувство пропорции, ритма, свободное, необычное расположение. Христы, богородицы, простые смертные живут и действуют. У них впечатляющие жесты, лица выражают смятение и радость, страх, ненависть и восторг.

Я люблю светлые, благородные краски Джотто, его тонкий вкус, экспрессию, необычную для его века, незамысловатую повествовательность его фресок, религиозный сюжет которых ничуть не умаляет выраженных в них живых человеческих чувств.

Но, воздавая должное великому флорентийцу, я бы сказал и о другом: жил в XIII веке в киликийском армянском царстве художник по имени Торос Рослин...

Ему удалось еще до рождения Джотто передать в своем искусстве объем и пропорцию. Правда, быть может, у Рослина это получалось менее совершенно, чем у Джотто. Флорентийский мастер тщательно выписывал дома, растения, одежду, волосы — с той тщательностью, что претит нашему веку, но что в то время считалось большим достижением.

Что же до передачи чувств, настроений, разнообразия характеров, их яркости, неповторимости — то есть самого что ни на есть человеческого, — тут Джотто куда наивнее киликийца.

Вот о чем хотелось бы мне сказать.

Два столетия понадобилось Европе, чтобы окончательно понять Рембрандта, Эль Греко — три. Мы «открывали» и тех, чьи имена не сходили с уст современников, но были позабыты последующими поколениями. Так, в начале нашего столетия был «открыт» и Торос Рослин — гордость армянской живописи, непревзойденный мастер своей эпохи. Семь веков ожидало искусство великого киликийца серьезного исследователя, семь веков, минуя черствую забывчивость эпох и безразличие человека. Миниатюры Рослина упорно прятали в темницах, монастырских кельях, чтобы спасти их: история Рослина — история его народа.

В Ереване, у входа в Матенадаран, выстроились в ряд шесть каменных скульптур. Это будущее воздвигло статуи лучшим сынам Армении. Одна из них изображает человека, чей пристальный взор устремлен к широкому асфальтовому проспекту, туфовым кварталам, прекрасным строениям армянской столицы. Торос Рослин озабочен так же, как и в те времена, когда, погруженный в мысли, медленно ступал по городским площадям прекрасной Киликии.

«...И я, недостойный писец...»

Я писал эту книгу в стенах обитателей наших духовных сокровищ — в Матенадаране и Государственной библиотеке имени Ленина.

Я горел желанием узнать и передать все, что известно о Торосе и его Киликии. И сегодня, когда книга закончена, смиренно предоставив ее на суд читателю, я верю: скоро найдется человек, который напишет о моем герое лучше. А пока прошу помянуть всех, кто помог мне «словом и делом». Тех, без участия которых трудно представить моего «Тороса Рослина»...

Автор приносит свою глубокую благодарность М.В. Алпатову, Л.С. Хачикяну, Р.Г. Дрампяну, С.Т. Гаспаряну, А.Ш. Мнацаканяну, Л.Р. Азаряну, Б.Л. Чукасяну, И.П. Рыбаковой, Т. Е. Столяровой, Э.М. Корхмазян, И.А. Кочеткову, Х.А. Торосяну, П.М. Хачатряну, А.А. Казиняну, А.М. Джиджиряну, А.Д. Казачинскому, М.Г. Дживейрджяну, П.П. Антапяну, Ш.В. Смбацяну, И.Я. Кантерову, С.В. Илларионову, А.Г. Микаэляну.

Автор особо благодарит католика всех армян Вазгена Первого за помощь в приобретении изобразительного материала.



1. Евангелист Иоанн (1260 год)



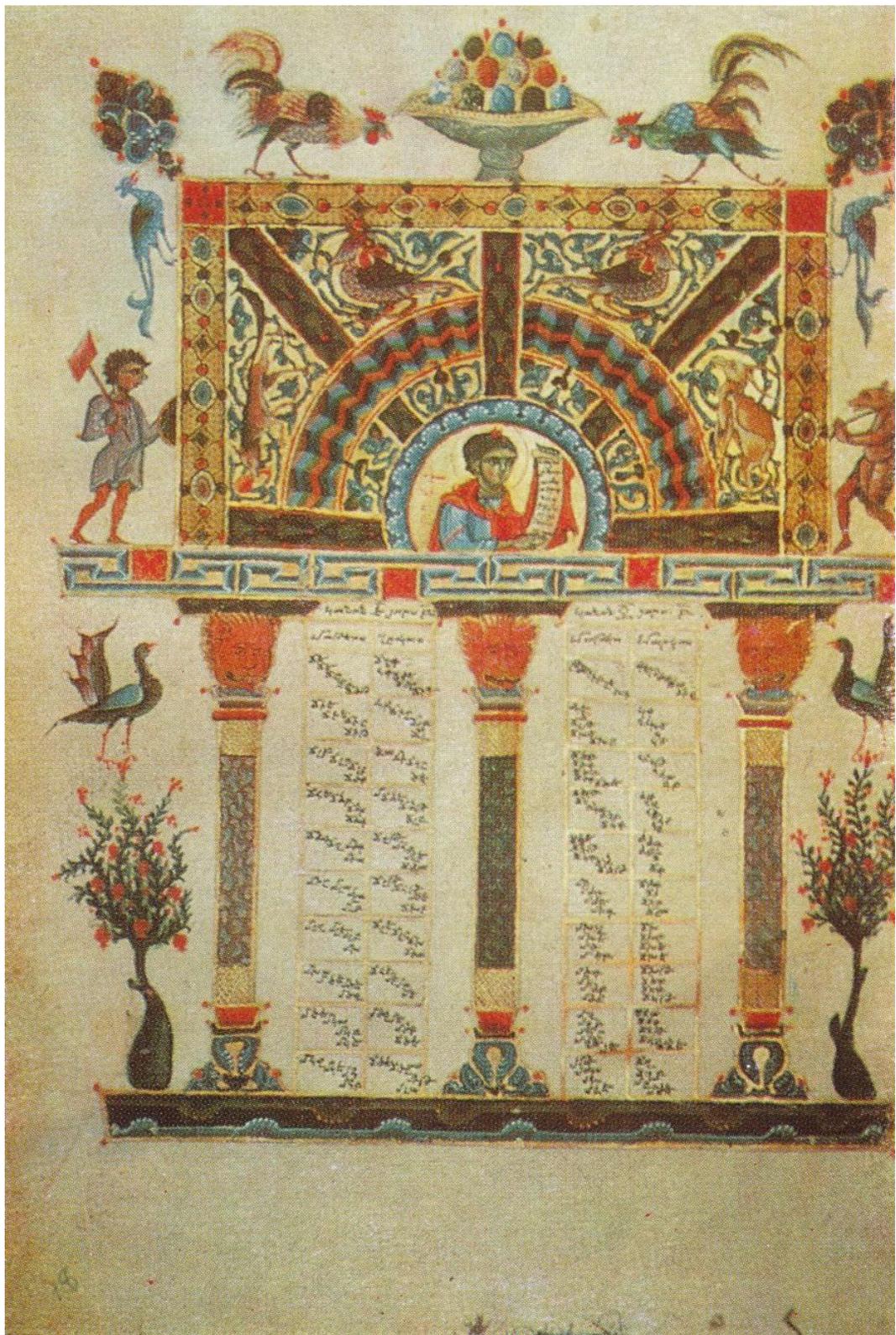
2. Заглавный лист Евангелия от Марка (1260 год)



3. Поклонение волхвов (1260 год)



4. Рукопись 1260 года. Хоран



5. Рукопись 1260 года. Хоран.



6. Рукопись 1260 года. Евангелист Марк



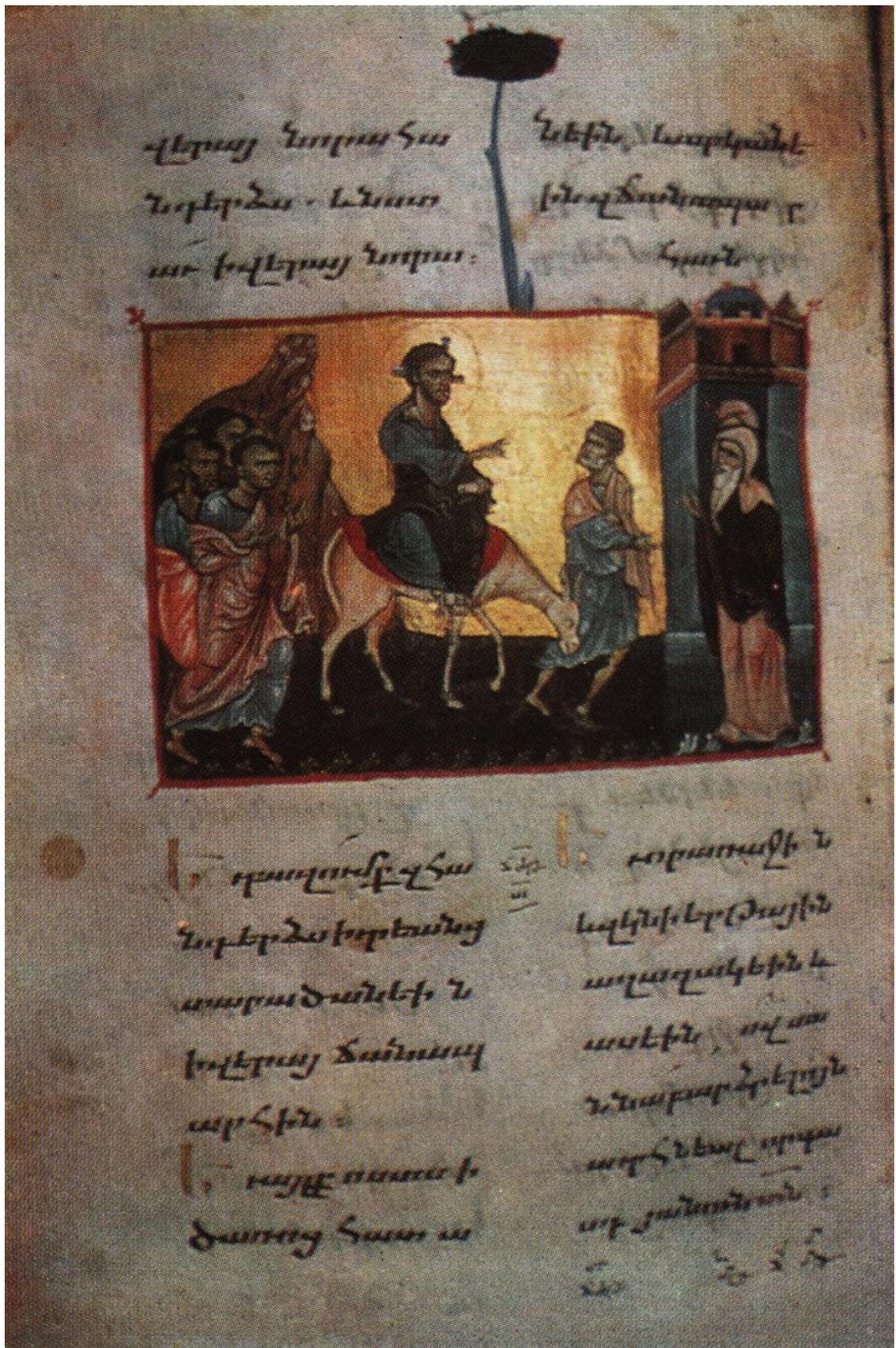
7. Рукопись 1260 года. Хоран



8. Рукопись 1262 года (Балтиморская). Портрет Левона и Керан



9. Рукопись 1265 года. Крещение



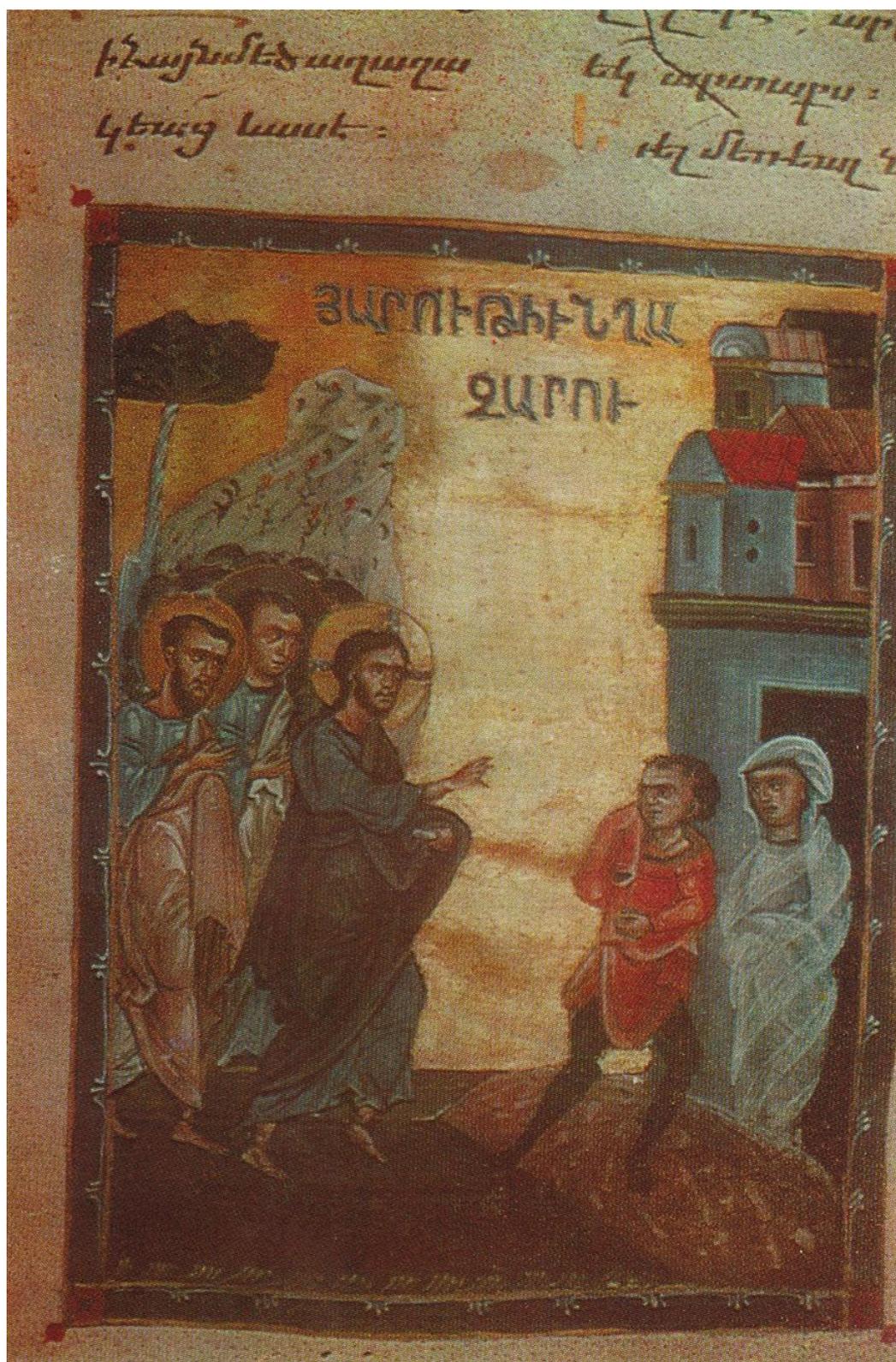
10. Рукопись 1265 года. Вход в Иерусалим



11. Рукопись 1265 года. Заглавный лист Евангелия от Иоанна



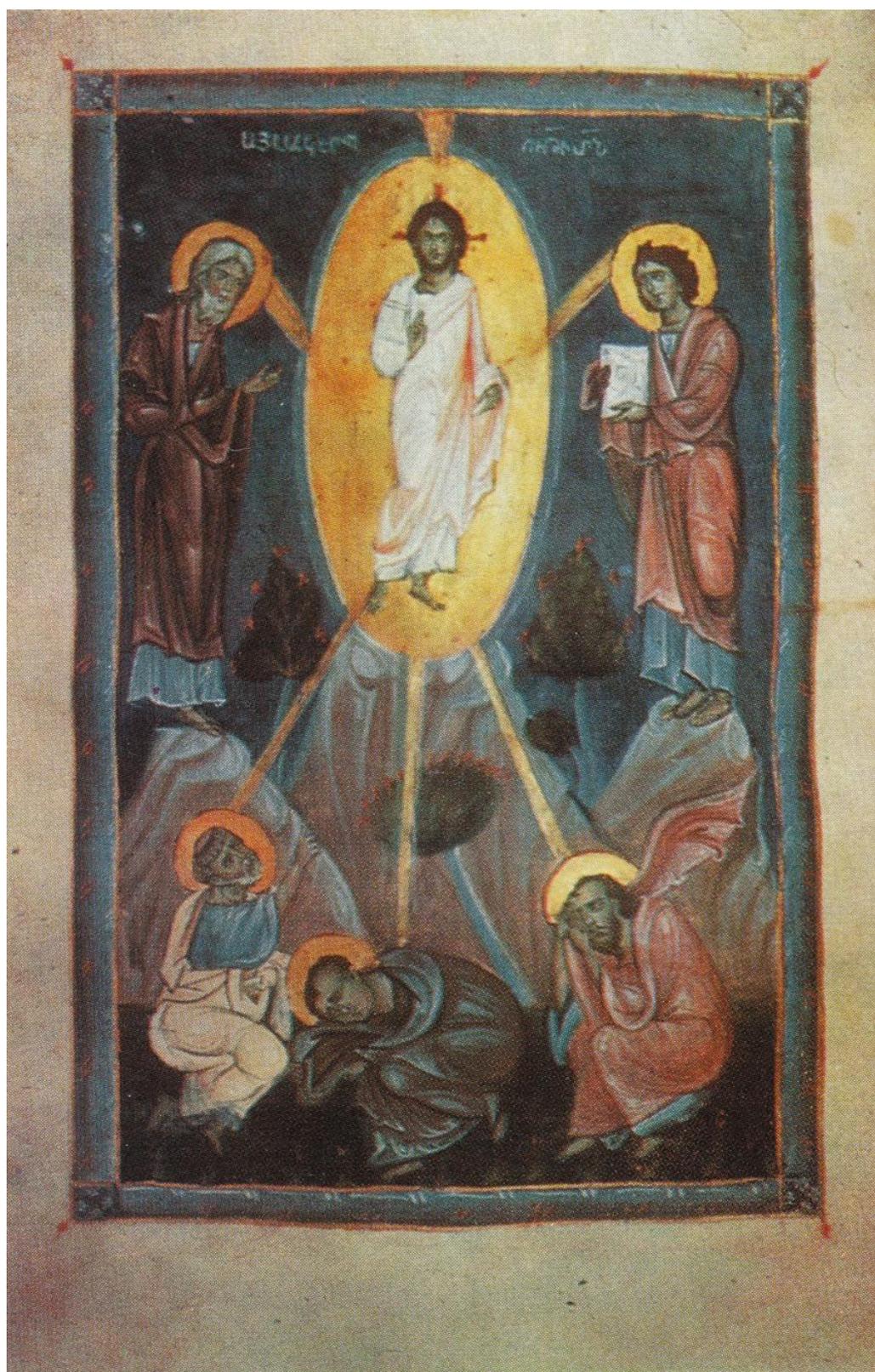
12. Рукопись 1265 года. Сошествие в ад



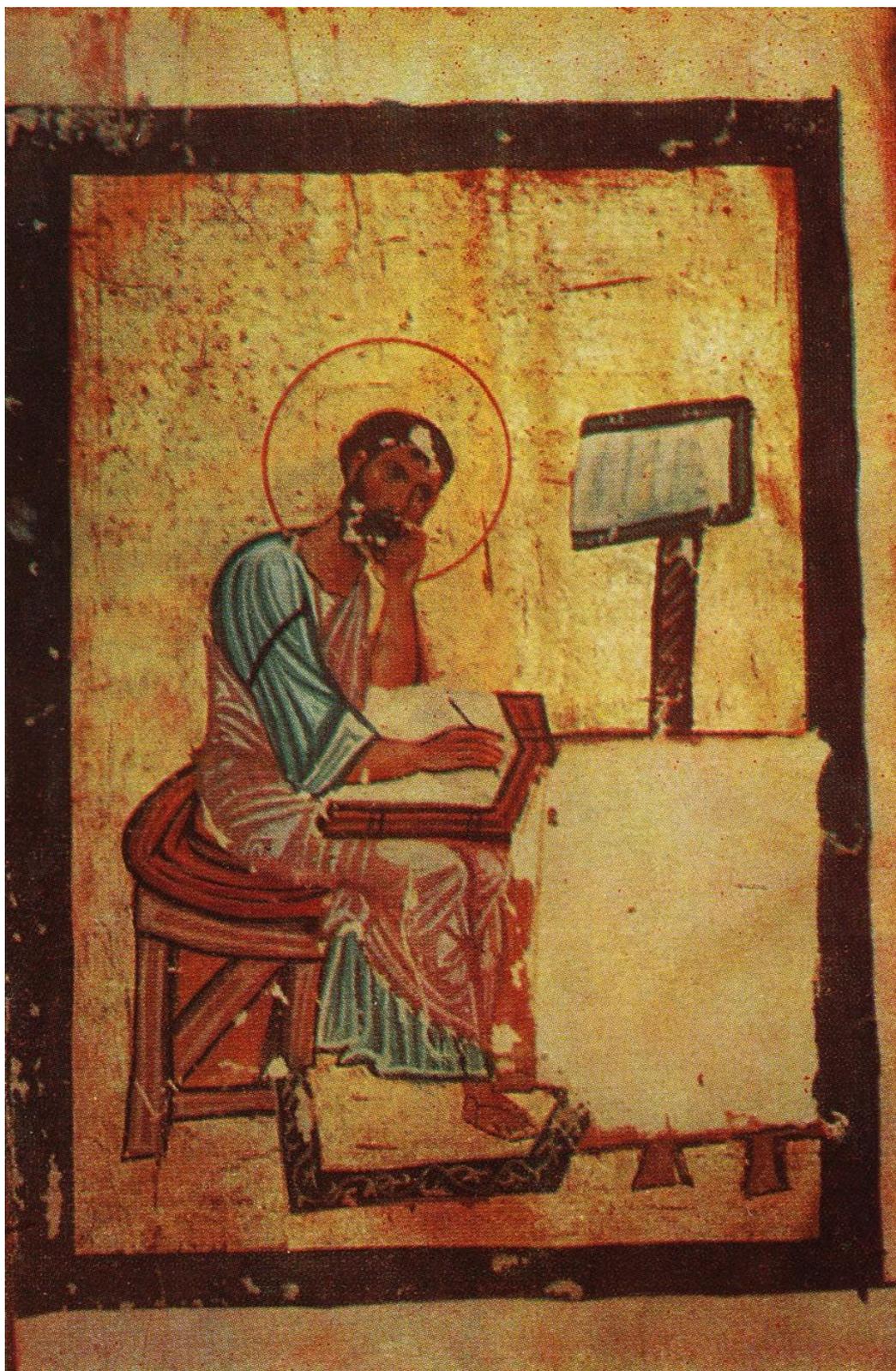
13. Рукопись 1265 года. Воскрешение Лазаря



14. Рукопись 1265 года. Евангелист Матфей



15. Рукопись 1265 года. Преображение



16. Рукопись 1265 года. Евангелист Марк



17. Рукопись 1265 года. Хоран



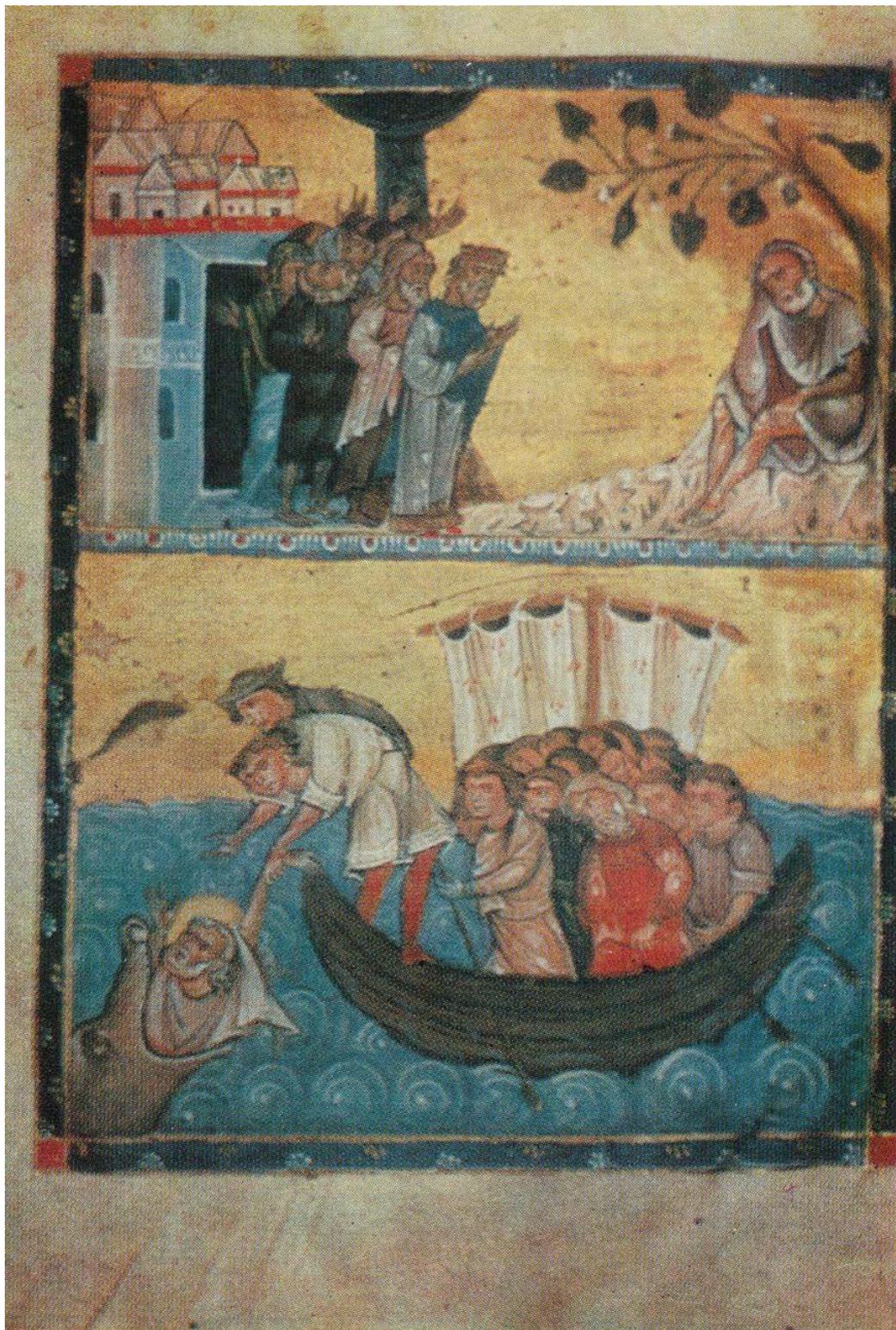
18. Рукопись 1266 года. Хоран



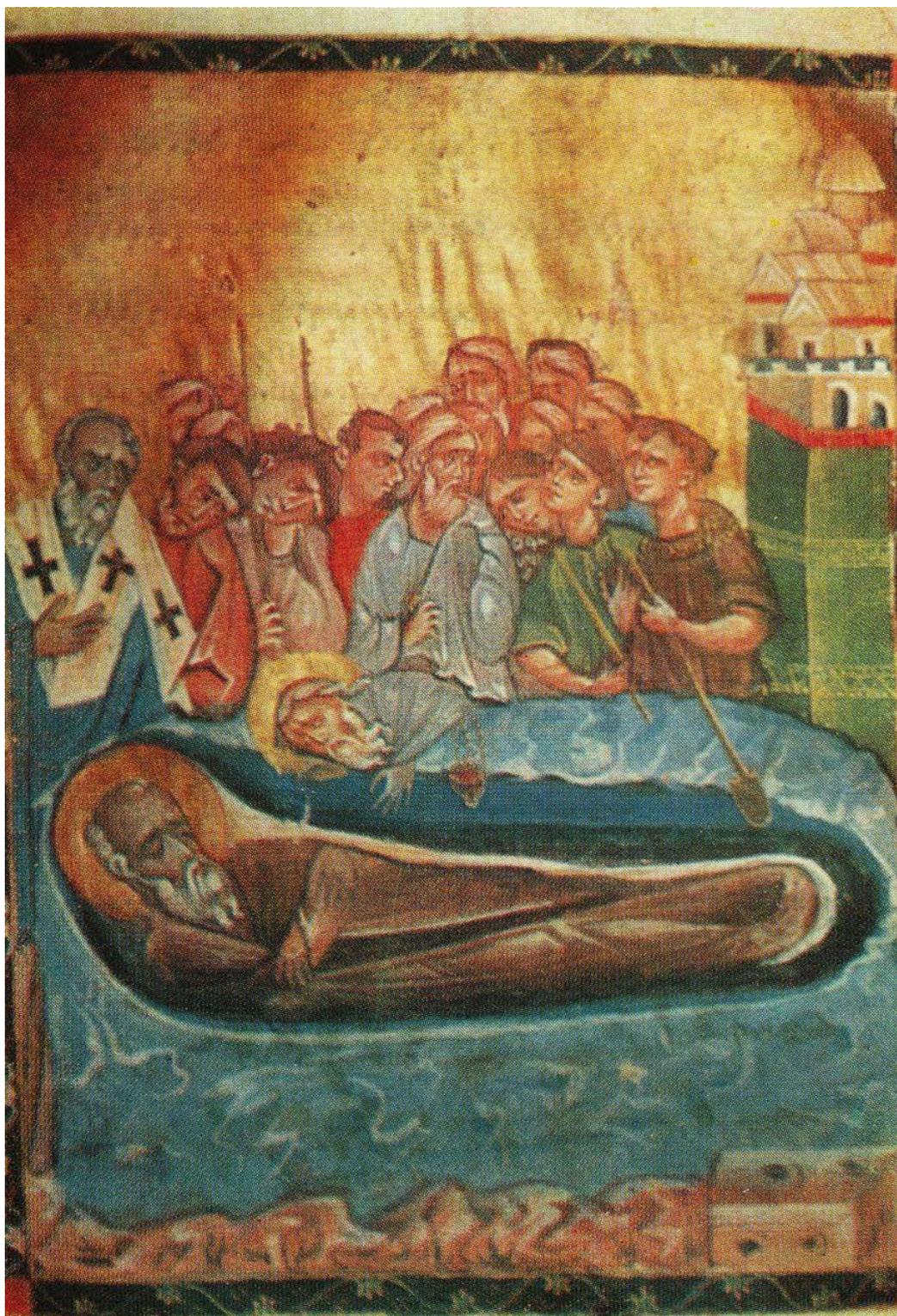
19. Рукопись 1266 года. Три отрока в печи огненной



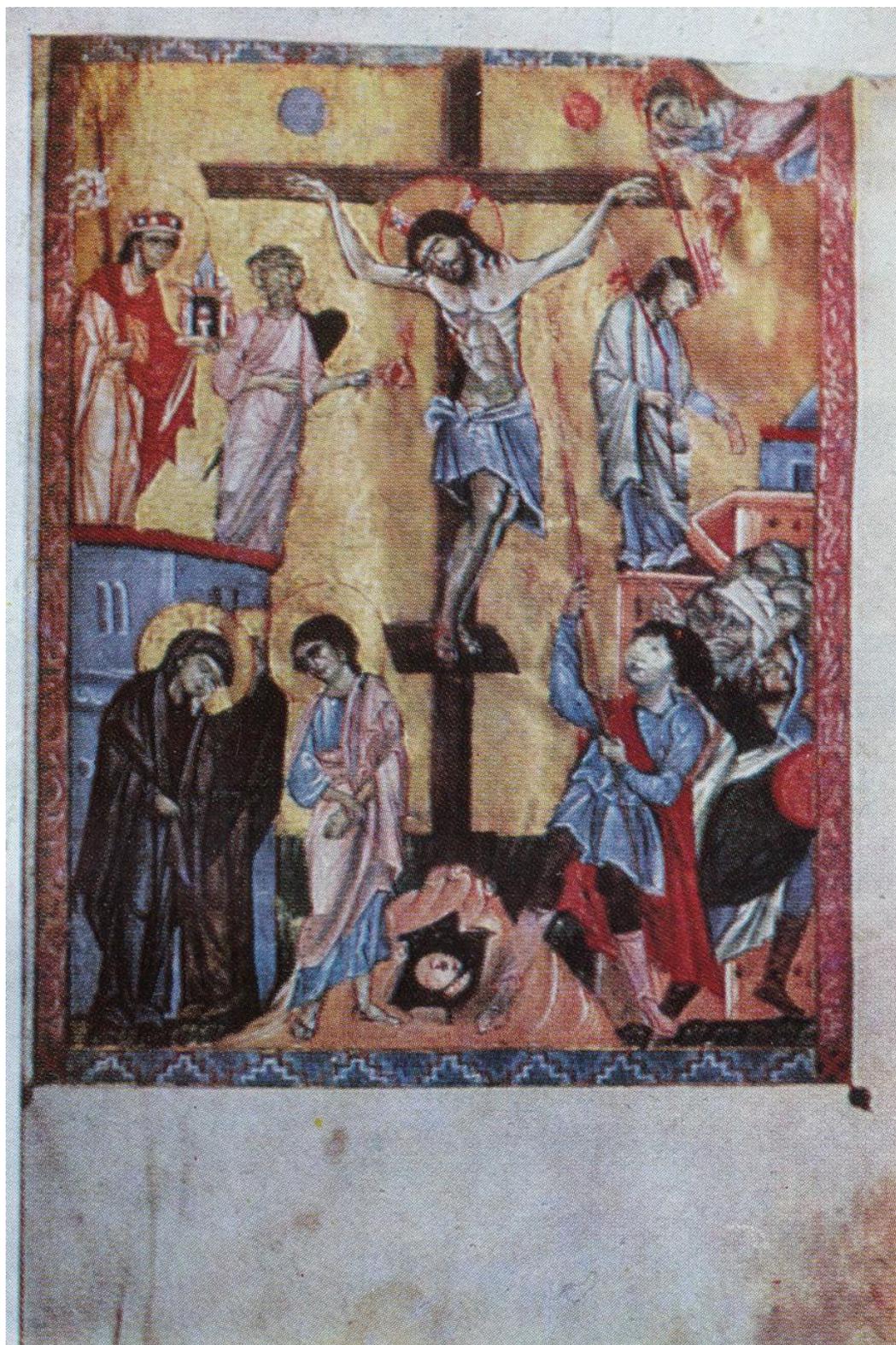
20. Рукопись 1266 года. Переход евреев через Красное море



21. Рукопись 1266 года. История Ионы



22. Рукопись 1266 года. Успение Иоанна Богослова



23. Рукопись 1268 года. Распятие



24. Рукопись 1286 года. «Чашоц Гетуна». Вход в Иерусалим

ПРИМЕЧАНИЯ¹

«Пролог»

Стр. 6. Католикос — титул патриархов армянской григорианской церкви.

Стр. 7. Бельведер — вышка, с которой открывается вид на окрестность, беседка на возвышенности.

Стр. 8. Мхитар Гош (1120 (?) — 1213) — армянский правовед и баснописец. Родился и жил в коренной Армении. Совершил поездку в Киликию, где изучал древние рукописи, расширяя свои познания в науках. Автор армянского «Судебника». Нормы морского права его «Судебника» применялись в Киликии.

Пилат Понтий — по Библии римский наместник Иудеи, обрекший на смерть Христа.

Стр. 10. Тарс, Корикос, Адана, Аназарба, Маместия — города Киликийской Армении.

Дахекан — золотая монета.

Стр. 13. Кимвал — древний музыкальный инструмент, состоящий из двух медных тарелок.

Зурна — восточный духовой музыкальный инструмент.

Парикос — крестьянин, потерявший право перехода, лично зависящий от господина.

«Киликия»

Стр. 14. «Киликийская страна», «Армянская страна» — так называют Киликийскую Армению армянские летописцы эпохи Киликийского армянского государства.

«Сисван» — по примеру арабов, называвших Киликию страной Сиса, один из армянских писателей XII века, католикос Григор Тга (1173 — 1193) Киликию называет именем столицы армянского государства — Сиса — Сисваном. Гевонд Алишан, ученый XIX века, свое сочинение, посвященное истории и географии Киликии, также озаглавил «Сисван» (страна Сиса).

«Киликийская Армения» — термин, который употребляет в своих работах академик И.А. Орбели. Этот термин признан как наиболее четкий и точный.

Салманасар III — ассирийский царь, завоевавший в 834 году Киликию.

Геродот (между 490 и 480 — около 425 до н.э.) — греческий историк, прозванный отцом истории.

Гомер — легендарный эпический поэт древней Греции.

Ксенофонт (около 430 до н.э. — 355 или 354 до н.э.) — древнегреческий писатель и историк.

Страбон (около 64/63 до н.э. — около 23/24 н.э.) — крупнейший древнегреческий географ и историк.

Марко Поло (1254 — 1324) — итальянский путешественник.

Вениамин Тудельский (где родился неизвестно, умер в 1173 году) — путешественник. Раввин из г. Тудела (королевство Наварра).

Стр. 15. Кир Младший (год рождения неизвестен — умер в 401 г. до н.э.) — древнеперсидский полководец, сын Дария II.

Александр Македонский, Александр Великий (356 до н.э. — 323 до н.э.) — царь Македонии с 336 г., один из величайших полководцев и государственных деятелей древнего мира.

Помпей Гней (106 — 48 до н.э.) — римский полководец и политический деятель.

¹ Примечания автора. Многие примечания основаны на трудах Г.Г. Микаэляна, С.С. Аревшатыана, А.Г. Галстяна, А.Г. Сукиасяна, Л.А. Ханларян.

- Цицерон Марк Туллий** (106 — 43 до н.э.) — римский оратор и политический деятель.
- Ромкла** — крепость, в которой находился патриарший престол католикоса Армении и Киликийского армянского государства (1149 — 1292).
- Аманские горы** — горы на юго-востоке Киликии.
- Стр. 16. Карас** — глиняный, эллипсоидной формы кувшин, применяемый для брожения, хранения и перевозки вина в Армении.
- Стр. 17. Тигран II Великий** (год рождения неизвестен, умер в 56 г. до н.э.) — царь Армении (95 — 56 гг. до н.э.).
- Васпураканское царство** — обширная область в исторической Армении, расположенная к востоку от озера Ван. После освобождения страны от арабов здесь в X—XI веках существовало Васпураканское царство Арцрунидов с центром в г. Ване.
- Стр. 18. Товма Арцруни** — армянский историк X века. Написал историю рода Арцруни, царствовавшего в Васпуракане, охватив период от «сотворения мира» до 936 года.
- Каппадокия** — одна из областей в центральной части Малой Азии. В XIII веке входила в состав Иконии.
- Ани** — средневековая столица Армении на берегу реки Ахурян, основанная в конце IX века. Построенный на перекрестке мировых торговых путей, Ани быстро развивался как культурный, торговый и ремесленный центр. В нем было построено много церквей, общественных и жилых зданий, являющихся классическими ценностями национальной архитектуры.
- Гагик II** — последний царь династии Багратидов (1042 — 1045).
- Великая Армения** — древнее государство (возникло в VI веке до н.э.), территория которого охватывала основные области Армянского нагорья. В IV веке была разделена между Сасанидским Ираном и Византией. В дальнейшем термин «Великая Армения» остается как географическое понятие, употребляемое для обозначения коренного ареала обитания армянского народа.
- Сельджуки** — племена, вторгшиеся в XI веке в Малую Азию (также и в Закавказье) и осевшие там.
- Стр. 19. Дразарк** — известный киликийский монастырь, был расположен на расстоянии дневного пути к западу от Сиса. Будучи резиденцией сисского архиепископа, Дразарк стал местом упокоения многих вардапетов, патриархов и царей.
- Скевра** — известный монастырь. Находился поблизости от крепости Ламброн. Славился своими миниатюристами. В конце XII, во второй половине XIII века Скевра была центром рукописного искусства.
- Грнер** — известный монастырь в горной Киликии, вблизи крепости Бардзрберд.
- Акнер** — известный монастырь в горной Киликии. Здесь подвизался ряд известных ученых монахов.
- Млджи** — один из древнейших монастырей. Находился у подножья Тавра, недалеко от крепости Паперон и города Тарса.
- Хораны** — заставки, дословно «хоран» означает «ниша» или «ворота». В рукописи — заставка перед текстом.
- Стр. 20. Князь Рубен** — приближенный анийского царя Гагика II, основатель династии Рубенидов. Князь Рубен провозгласил Киликию в 1080 году независимым государством.
- Тавр (Киликийский Тавр)** — горная система на севере и на западе Киликийской Армении.
- Бардзрберд** — в переводе с армянского «Высокая крепость».
- Стр. 21. Франк** — так называли латинян на Востоке.

Коннетабль (гундстабль) — у киликийских армян эта должность соответствовала греческому стратилату или французскому генералиссимусу. Главнокомандующий вооруженными силами страны, первый помощник и заместитель царя в военном деле.

Канцлер — джанцлер (арм.) стоял во главе высшей магистратуры. Одновременно ведал и иностранными делами. У него хранилась государственная печать. Под его руководством составлялись проекты царских указов и жалованных грамот, которые подписывал, кроме царя, канцлер. Ему подчинялся большой штат писарей и переводчиков. Это были не просто переводчики, а дипломаты, из среды которых назначались послы.

Маршал — мараджахт (арм.) — первый помощник гундстабля, возглавлявший интендантскую службу. Ведал формированием войсковых частей и снабжением армии. С середины XIII века маршал — непосредственный начальник конницы и спасалар.

Сенешаль — сенескал или сенестджал (арм.). Один из советников царя, его мажордом, ведал экономикой всей страны, осуществлял высший надзор над государственным бюджетом.

Порты Киликийской Армении (Айяс, Корикос) находились на юге страны, на берегу Средиземного моря. Другие же порты располагались на берегах рек, вблизи устьев: Селевкия — на реке Каликадн, Маместия — на реке Пирам, Адана — на реке Сар, Тарс — на реке Кидн и др.

Стр. 24. Гусан — поэт-певец, трубадур.

Флорин — флорентийская золотая монета XIII века.

Таколин (от армянского слова «таговор» — царь, венценосец) — армянские монеты. Были в обращении и в некоторых иностранных государствах, в частности, в Италии.

«Время»

Стр. 30. Смбат Гундстабль (1208 — 1276) — армянский ученый, писатель, главнокомандующий киликийскими войсками.

Левон II — первый царь Киликийской Армении. Был коронован в 1198 году в Тарсе. При его правлении (1187 — 1219) Киликия достигла большого расцвета.

Стр. 32. Настоятель Санаинского монастыря — речь идет о епископе Григории Тутеворди (XII в.), противнике сближения армянской и греческой церквей.

Стр. 32. Армянская григорианская церковь — одна из древних христианских церквей. Традиционное название церкви «григорианская» связано с деятельностью Григория Просветителя, при котором христианство стало государственной религией в Армении (301 год). Ее собственное название — армянская апостольская святая церковь.

До VI века армянские церковные иерархии подчинялись православной византийской церкви, но затем в связи с неприятием решений Халкидонского вселенского собора (451 г.) армяно-григорианская церковь стала самостоятельной. В догматическом и культовом отношениях армяно-григорианская церковь близка к православию, от которого ее отличает признание монофизитства (учение о божественной, а не двойственной богочеловеческой природе Христа), осужденного на Халкидонском соборе.

Рубениды — династия царей Киликийского армянского царства, первым представителем которого был Левон (1129 — 1137). Рубеном звали деда Левона II. Династию Рубенидов на киликийском престоле сменили Гетукиды (1226 г.).

Ошиниды или Гетукиды (по наследственно повторяющимся именам) — армянский княжеский род, с XI и до конца XII века владевший крепостью Ламброн и одноименным округом. Первый киликийский Ошин эмигрировал в Киликию из Гандзака в 1073 году

и получил Ламброн в качестве приданого от тестя Аплгармба Арцруни. Ошиниды были приверженцами Византии.

Стр. 33. Парон — титул феодала высшего разряда.

Стр. 34. Вардапет — высшая богословская степень в Армении, дававшаяся лишь представителям черного духовенства.

Епитимья — наказание в форме поста, земных поклонов и т.п., налагаемое христианами церковниками на верующих (реже — избираемая самими верующими) за грехи, за нарушение указаний духовенства.

Стр. 35. Венецианские и генуэзские дукаты — с XIII века золотые монеты, распространившиеся впоследствии по всей Европе.

Арабские динары — наиболее распространенная в прошлом золотая монета в странах мусульманского Востока, впервые отчеканенная в VII веке (вес около 2,4 гр.).

Прокл (410 — 485) — греческий философ, идеалист, представитель позднего неоплатонизма, некоторое время был главой афинской школы неоплатоников.

Дева Афина (Афина Паллада) — в древнегреческой мифологии одно из главных божеств.

Зевс Олимпийский — статуя Зевса в Олимпии (золото, слоновая кость, около 430 г. до н.э., скульптор Фидий).

Стр. 36. Нерсес Шнорали (1102 — 1173) — литературный и общественный деятель армянского средневековья, с 1166 года католикос армянской церкви. Был всесторонне образованным и одаренным человеком (поэт, ученый, ритор, композитор). Происходил из рода Пахлавуни.

Стр. 39. Ричард I Львиное Сердце (1157 — 1199) — король Англии.

Храмовники или тамплиеры — духовный рыцарский орден, возникший в среде крестоносцев в начале XII века. По своему составу был аристократическим.

Стр. 40. Мхитар Гераци (XII век) — армянский врач и астроном. Из его трудов сохранилась книга врачевания «Утешение при лихорадках».

Матевос Ураецци (Матфей Эдесский, XII век) — армянский хронограф, автор ценного труда по истории западных территорий Армении, сопредельных владениям греков, мусульман и крестоносцев.

Ваграм Рабуни (XIII век) — армянский философ, историк, канцлер Гетума I.

Апостол Павел — согласно библейской традиции, фарисей Савл, гонитель христианства, после чудесного видения ставший его проповедником и принявший с новой религией и новое имя Павла. (Отсюда выражение — «из Савла в Павла»).

Стр. 41. Григор Тга (Отрок) — армянский католикос (1173 — 1193). Сын Василя, брата Нерсеса Шнорали. Сменил своего дядю Нерсеса Шнорали. Продолжал его политику по вопросу сближения двух церквей — армяно-григорианской и византийско-православной. Поэт, автор поэмы «Плач на взятие Иерусалима» и многих стихотворений.

Вардан Айгекци (1170 — 1235) — баснописец, автор проповедей, притч. В своих многочисленных баснях и притчах он бичует общественные пороки.

«Силуэт»

Стр. 44. Чашоц (1286) — праздничная миunea царя Гетума II. Выдающийся памятник армянской культуры. Имена художника и писца неизвестны. Иллюстратором Чашоца считали Тороса Рослина. Теперь это опровергнуто.

Стр. 45. Аветис — известный киликийский писец. Подробности о жизни неизвестны.

Стр. 48. Иона — персонаж из Библии.

Стр. 49. Голгофа — согласно Евангелию, гора, на которой распяли Христа.

Престолонаследник Левон (1236 — 1289) — сын царя Гетума I, стал царем после смерти отца (1270 — 1289). В исторической литературе известен как Левон III. В битве при Мари против египетского войска султана Бейбарса в 1266 г. был взят в плен. Гетум I с помощью монголов освободил Левона, который находился в Каире 22 месяца. В последние годы жизни занимался науками.

Иконографическая схема — предписание, которым должен руководствоваться художник при создании икон, фресок, миниатюр.

Ованес и Киракос — киликийские миниатюристы XIII века. Биографические сведения о них не сохранились.

Стр. 50. Филипп — сын антиохийского князя Боэмунда. Малолетняя дочь Левона II после смерти отца по решению высшего духовенства и военной знати была выдана замуж в 1222 г. за принца Филиппа. В 1226 году Филипп был свергнут знатью. Царем был провозглашен Гетум, которого женили на Изабелле, вопреки ее воле.

Изабелла (1212 — 1252) — дочь царя Левона II, после смерти которого стала наследницей престола.

Гетум I — царь Киликийской Армении (1226 — 1270), первый царь династии Гетумидов. При нем Киликия достигла наибольшего расцвета.

«Помяните учителей»

Стр. 58. Васил Гох — основатель (в 80-х гг. XI в.) крупного армянского княжества с центром в Кесуне. В его владениях находился престол католикоса. Умер в 1112 году.

Нур-ед-дин (XI в.) — эмир Алеппо, сын эмира Занги.

Стр. 59. Католикос Григор (1113 — 1166) — речь идет о католикосе Григорисе Вкаясере, младшем брате Нерсеса Шнорали.

Стр. 62. Вардан — (XIII век) — киликийский миниатюрист, один из прославленных мастеров.

Стр. 63. Константин — речь идет о миниатюристе XII века.

Гиматий — у древних греков плащ из целого куска материи, носившийся поверх хитона, спускался до колен и ниже, у женщин покрывал и голову.

Стр. 65. Вардан — армянский историк XIII века, прозванный Великим.

Стр. 66. Ованес Ерзнкаци (род. около 1250 — дата смерти неизвестна) — поэт, мыслитель, был толкователем, календароведом, грамматиком, сочинял песни, панегирики, шараканы и другие произведения.

Стр. 71. Григор Нарекаци (951 — 1003) — величайший армянский поэт и мыслитель. Автор тагов, молитв, гимнов и других песнопений. Вершина его творчества — «Книга скорбных песнопений», («Книга скорби»), переведенная на множество иностранных языков. Сборники его священных элегий широко распространены среди армян, которые и поныне называют по его имени «нареками».

Стр. 72. Тер-Константин — «Тер» — приставка, подчеркивающая духовное происхождение.

Стр. 75. Комнины — династия византийских императоров (1081 — 1185).

«...Многогрешный писец...»

Стр. 79. Магакия (XIII — начало XIV вв.) — армянский историк.

Киракос Гандзакечи (1200 — 1271) — армянский историк. Его «История Армении» охватывает период с IV в. до 1265 года. Труд Киракоса — ценнейший источник для изучения истории Армении и Закавказья XII — XIII вв.

Ованес Ванакан (1181 — 1251) — вардапет, воспитавший плеяду армянских историков и книжников.

Стр. 83. Прориси — шаблоны для рисунков.

Ламос — замок с сопредельными территориями на юге Киликии.

Стр. 84. Мажордом — управитель, дворецкий.

Стр. 85. Хулагу (1217 — 1265) — монгольский хан. Основатель династии Хулагидов, правившей в Иране, Месопотамии, Вост. Анатолии, части Закавказья в XIII — XIV вв.

Десница — правая рука, а также вообще рука.

Маргинал — украшение на полях рукописи.

Стр. 87. Мангу-хан (1208 — 1259) — четвертый Великий хан империи монгольских завоевателей, основанной Чингис-ханом. Правил в 1251 — 1259 гг. Вступил на престол после смерти Гуюк-хана.

Азат — представитель армянского дворянского сословия.

Стр. 92. Евсевий и Карпиан (IV в.) — отцы церкви.

В IV веке Евсевий составил таблицы канонов Согласия для облегчения пользования Четвероевангелием. Большая часть рукописных Евангелий начинается с текста письма Евсевия к Карпиану, в котором автор послания объясняет, как нужно пользоваться этими таблицами.

И письмо Евсевия к Карпиану, и сами таблицы художественно оформлялись. В основе орнаментальной композиции этого оформления лежала композиция архитектурного парадного входа с колоннами и пышным верхним обрамлением. Чаще это полуциркульные арки с люнетом, заполнявшиеся различными изображениями и орнаментальными узорами.

Матфей, Марк, Лука, Иоанн — согласно Библии, имена евангелистов.

Стр. 94. Люнет — поле стены, заключенное между аркой и ее опорами.

«Монголы»

Стр. 100. Темучин (Чингис-хан, 1155 — 1227) — монгольский Великий хан и полководец.

Стр. 101. Джебе, Чжелме, Субэтай и Хубилай — полководцы Чингис-хана. Хубилай впоследствии — пятый и последний монгольский Великий хан (1260 — 1294), император Китая.

Джалал-эд-дин (г. р. неизвестен — 1231) — хорезмский шах с 1220 года.

Стр. 102. Бачу-нуин (XIII век) — монгольский военачальник.

Кей-Хосров II — султан румских сельджукидов (1237 — 1246).

Стр. 112. Пайза — табличка, выдававшаяся монгольскими ханами людям, отправляемым с каким-нибудь поручением, и служившая им своего рода пропуском по всем территориям империи.

«Поклонение волхвов»

Стр. 123. Тер-Ованес — речь идет о знаменитом киликийском миниатюристе, брате царя Гетума I.

«...Словом и делом...»

Стр. 139. Дурново Л.А. — заслуженный деятель искусств Армянской ССР. Известный специалист по средневековому армянскому изобразительному искусству.

Авраамов или **Моисеев** — название хоранов по толкованию — предписанию Нерсеса Шнорали, в котором говорится о причине возникновения хоранов, их расположении и последовательности в рукописи, их символическом значении и содержании. В трактате Шнорали говорится о красках, которые должны соответствовать смыслу изображения.

Стр. 156. Золотые ворота — главные ворота Константинополя.

Стр. 157. Лиутпранд (X век) — епископ кремонский, посол императора Оттона I в Византии.

Литра — мера веса, равная 12 унциям или 326 гр.

Стр. 158. Василевс — (греч. «царь») один из титулов греческого императора.

Святая София (Айа-София) — храм в Константинополе. Выдающееся произведение византийского зодчества. Сооружен в 532 — 537 гг. Анифимием из Тралл и Исидором из Милета. Разрушенный землетрясением купол храма Святой Софии реконструировал (989 — 992) армянский зодчий Трдат.

Стр. 160. Аристотель (384 — 322 до н.э.) — древнегреческий философ и ученый. Воспитатель Александра Македонского.

Стр. 162. Месроп Маштоц — (361 — 440) — создатель армянского алфавита, ученый, поэт.

«Гундстабль»

Стр. 165. Константин Пайл (конец XII — XIII век) — отец царя Гетума I. «Пайл» — титул великого князя в Киликийской Армении.

Стр. 170. Шаракан — духовная песня, исполняемая во время церковной службы.

Кцурд — гимн, духовная песня, которая поется в церквах во время богослужения после псалмов; термин «духовная песня» имеет общее значение и применяется как в отношении библейских гимнов, так и новых церковных песен, а кцурдами назывались главным образом новые духовные песни.

Стр. 172. Давид Непобедимый (Анахт) — выдающийся армянский философ V — VI века, связанный своими идейными истоками с античными философскими школами, сыграл большую роль в развитии светского направления древнеармянской философии, пробивавшей себе дорогу в условиях господства христианской идеологии.

Давид Анахт выступает в древнеармянской философской мысли как первый ученый, который определил круг проблем, входящих в философию как в науку. Был известен не только в Армении, но и за ее пределами.

Стр. 174. Аркаехпайр (арм.) — дословно «брат царя».

Стр. 176. Паперон — крепость на юге Киликии.

«Керан»

Стр. 177. Дарбас — царский дворец в Сисе.

Стр. 178. Гетум Себастос (XIII век) — представитель могущественного княжеского рода Ошинидов.

Ламброн — название крепости и сопредельной области на юге Киликии, владение Ошинидов, а затем Гетумидов.

Стр. 185. Поручи или **нарукавники** — одна из принадлежностей средневекового облачения, употребляемая для стягивания рукавов одежды у кистей рук.

Стр. 186. Герольд — сановник царского двора, несущий перед царем крест. Старший герольд — начальник курьеров, гонцов, ведает придворной почтой и перевозками, одновременно начальник вооруженных слуг царя.

Венцеслужитель — по «Судебнику» Смба́та Гундста́бля: «Они носят схиму из золотой парчи с желудеобразной обшивкой и носят в руке золотой жезл; и они подносят царские облачения, которые потребует государь».

Стр. 187. Проксетор — по тому же «Судебнику»: «Их служба состоит в том, чтобы, когда умрет царь, нести его гроб».

Схолар — там же: «Эти носят эмблемы, т.е. знамена, которые называют сигниями».

Госпитальеры (иначе иоанниты) — духовно-рыцарский орден в Палестине. Основан в начале XII века в период первого крестового похода. Орден госпитальеров являлся постоянной военной организацией, имел ряд мощных крепостей в Сирии и Палестине, играл большую роль в обороне от мусульман завоеванных крестоносцами земель.

«Вширь и вглубь»

Стр. 196. Иоанн Креститель — согласно Евангелию, предсказавший близкое пришествие Христа и крестивший многих евреев и Иисуса Христа в Иордане.

Моисей — согласно Библии, пророк, который вывел древних евреев из Египта в землю обетованную, где они были на положении рабов и подвергались угнетению.

Стр. 197. Чимабуэ (1240 — около 1302 — 1303) — итальянский художник.

Джотто (1266 или 1267 — 1337) — итальянский художник.

Альберти Леон Батиста — (1404 — 1472), итальянский архитектор, ученый, впервые написавший трактат о перспективе.

«Страсти»

Стр. 201. Ошин маршал — полководец Киликии, сын князя Константина, владельца Ламбронна, брат Гетума III, владелец Мариша и князь крепости Аскура. Левон III назначил его маршалом (до 1274 г.). В городе Сисе в 1274 году заказал художнику-миниатюристу Константину Евангелие, которое в настоящее время находится в США. Умер в 1294 году.

Стр. 210. Алпатов М.В. (род. в 1902 году) — советский историк искусства. Действительный член Академии художеств СССР.

«Ересь»

Стр. 229. Павликиане — еретическое движение, возникшее в VI веке в Армении. Одно из крупнейших народных движений на Востоке. Павликиане заявляли, что все люди, независимо от их происхождения, равны. Они выступали противниками крупного землевладения, религиозных обрядов и церковной иерархии. Павликиане создали независимые общины, не подчинялись ни феодалам, ни церкви и не платили налогов. Церковь предала движение павликиан анафеме, после чего гонения на них усилились. Павликиане ответили на это восстанием, которое охватило всю Армению. Подавить его удалось только при помощи Византии.

Стр. 230. Тондракийцы — участники еретического, антифеодального движения народных масс Армении в конце IX (или начале X) — середине XI вв. Будучи продолжателями еретического учения павликиан, тондракийцы создали несколько сектантских общин на основе имущественного равенства, среди которых наиболее устойчивой была община в селении Тондрак под руководством Смба́та Зарехванци (Тондракеци).

Стр. 232. «Книга Маштоца» — речь идет о требнике Маштоца Егвардеци, католикоса IX в.

«Праздник Лусаворича»

Стр. 237. Григор Лусаворич (Просветитель) — основатель армянской церкви, первый армянский патриарх, крестивший армян в 301 году.

Праздник святого Григора Лусаворича — религиозный праздник армяно-григорианской церкви.

Стр. 238. Католикосат — резиденция католикоса.

Стр. 241. Петр, Иоанн, Яков — согласно Евангелию, ученики Христа.

Шуйца (устар.) — левая рука.

Илья — согласно Библии, один из пророков еврейского народа.

Стр. 248. Сарвандикар — крепость, расположенная недалеко от города Аназарбы.

Стр. 251. Иоанн Богослов — согласно Евангелию, апостол, которому Христос поручил заботу о своей матери.

«Кровь»

Стр. 261. Семельмот — военачальник египетского султана Бейбарса.

Стр. 264. Васил-Татар — сын Смбата Гундстабля. По словам армянского историка Григора Акнерци (Магакия), Гуюк-хан дал Смбату «золотую пайзу и выдал за него знатную татарку». Эту татарку Смбат привез с собой в Армению, заимел сына по имени Васил, который был очень похож на мать, поэтому его называли Васил-Татар.

«Кровь и солнце»

Стр. 267. Фарисеи — религиозно-политическая партия в древней Иудее. Фарисеев отличали фальшь и лицемерное исполнение правил наружного благочестия.

Стр. 273. Гетум (1266 — 1307) — будущий царь Киликии Гетум II (1289 — 1301). С его царствованием Киликийское армянское государство начало постепенно клониться к упадку.

Стр. 277. Чресла (устар.) — бедра.

Мария — по евангельскому повествованию, богородица.

Мария-Магдалина — согласно Евангелию, одна из жен-мироносиц. Преданнейшая последовательница Христа. Она ранее вела развратную жизнь и под влиянием Христа пришла к новой жизни, став образцом глубокого покаяния.

«Вечность»

Стр. 280. Иерусалимский армянский патриархат — помимо Эчмиадзинского, армяно-григорианская церковь имеет три исторически сложившихся зарубежных иерархических престола, признающих зависимость от Эчмиадзинского католикосата. Один из них — патриарший престол в Иерусалиме.

Католикос Вазген I (1906) — нынешний глава армяно-григорианской церкви.

Стр. 286. Барсег (XIII) — киликийский миниатюрист.

Стр. 288. Саркис Пицак — армянский миниатюрист XIV века, представитель сисской школы. В его искусстве начинают проглядывать черты упадка этой школы.

«Чашоц»

Стр. 291. Ишик-Тимур — алеппский эмир, воины которого в 1375 году завоевали Сис, с падением которого Киликийская Армения потеряла государственность.

- Стр. 292. Епископ Анаварзеци** — впоследствии католикос армян (1293 — 1307). Ярый сторонник латинофильского движения. Автор посланий, панегириков, шараканов.
- Стр. 296. Михаил Восьмой Палеолог** (1261 — 1282) — византийский император.
- Ильхан** (арабск. — «повелитель народов») — титул монгольских ханов династии Хулагидов.
- Стр. 297. Кесария** — название города и сопредельной области в Малой Азии (Каппадокия).
- Стр. 298. Газан-хан** (1271 — 1304) — монгольский ильхан. При его правлении монголы Ирана и Закавказья приняли мусульманство.
- Стр. 299. Кара-Сонкор** (XIII век) — эмир Алеппо.
- Левон** (1301 — 1307) — Левон IV, киликийский армянский царь-
- Стр. 306. Христос-Эммануил** — в период раннего христианства и средневековья к имени Христа во многих случаях присовокуплялось второе имя, отражающее одну из приписываемых ему богословских сущностей.
- Стр. 308. Саак Партев** — католикос (389 — 439) выдающийся деятель древнеармянской культуры.
- Соломон** (965 — 928 до н.э.) — царь Иудейского государства. Сын царя Давида.

«Памятник»

- Стр. 314. Кнунянц И.Л.** (1906) — советский химик-органик. Действительный член Академии наук СССР. Лауреат Ленинской премии.
- Стр. 315. Аветисян М.К.** (1928 — 1975) — заслуженный художник Арм. ССР, живописец.
- Стр. 316. Кочар Е.С.** (род. 1899) — скульптор, живописец, график. Народный художник СССР.
- Сарьян М.С.** (1880 — 1972) — народный художник СССР, лауреат Ленинской премии.
- Стр. 318. Эчмиадзинский матенадаран** — книгохранилище Эчмиадзинского патриархата, на основе его фондов основан Матенадаран в Ереване.
- Стр. 320. Григор** — речь идет о киликийском миниатюристе XII в.
- Стр. 321. Каваллини Петро** (около 1240 — 50 — около 1330) — итальянский живописец.
- Стр. 322. Эль Греко** (Доменико Теотокопулос, 1541 — 1614) — испанский живописец. Грек по национальности.
- Рембрандт Харменс ван Рейн** (1606 — 1669) — голландский живописец и график.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Евангелист Иоанн (1260 год).
2. Заглавный лист Евангелия от Марка (1260 год).
3. Поклонение волхвов (1260 год).
4. Рукопись 1260 года. Хоран.
5. Рукопись 1260 года. Хоран.
6. Рукопись 1260 года. Евангелист Марк.
7. Рукопись 1260 года. Хоран.
8. Рукопись 1262 года (Балтиморская). Портрет Левона и Керан.
9. Рукопись 1265 года. Крещение.
10. Рукопись 1265 года. Вход в Иерусалим.
11. Рукопись 1265 года. Заглавный лист Евангелия от Иоанна.
12. Рукопись 1265 года. Сошествие в ад.
13. Рукопись 1265 года. Воскрешение Лазаря.
14. Рукопись 1265 года. Евангелист Матфей.
15. Рукопись 1265 года. Преображение.
16. Рукопись 1265 года. Евангелист Марк.
17. Рукопись 1265 года. Хоран.
18. Рукопись 1266 года. Хоран.
19. Рукопись 1266 года. Три отрока в печи огненной.
20. Рукопись 1266 года. Переход евреев через Красное море.
21. Рукопись 1266 года. История Ионы.
22. Рукопись 1266 года. Успение Иоанна Богослова.
23. Рукопись 1268 года. Распятие.
24. Рукопись 1286 года. «Чашоц Гетума». Вход в Иерусалим.
На суперобложке: 1. Рукопись 1268 года. Воскресение.
2. Рукопись 1268 года. Крещение.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Пролог	6
Киликия	14
Время	27
Силуэт	43
Помяните учителей	57
«...Многогрешный писец...»	77
Монголы	100
Поклонение волхвов	119
«...Словом и делом...»	135
Странствия	148
Гундстабль	164
Керан	177
Вширь и вглубь	190
Страсти	200
Ересь	223
Праздник Лусаворича	237
Кровь	254
Кровь и солнце	267
Вечность	280
Чашоц	290
Памятник	313
Примечания	324
Перечень иллюстраций	341

Зурабян Тельман Суренович

ТОРОС РОСЛИН

Редактор **Саакян М.В.**
Художник **Яралян А.В.**
Худ. редактор **Арутюнян В.А.**
Техн. редактор **Саакян А.В.**
Контр. корректор **Джалалян Б.К.**

ИБ № 93

Сдано в набор 19/IX 1978 г. Подписано к печати 20/XII. Бумага типографская № 1. 70 × 108¹/₃₂. Печ. л. 10,75 = 15,05 усл. печ. л. Уч.-изд. 15,1 л. + 12 вкл. ВФ 08622. Заказ 1567. Тираж 20000. Цена 1 р. 80 к.

Издательство «Советакан грох», Ереван-9, ул. Теряна, 91.
Типография № 1 Госкомитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Арм. ССР, Ереван, ул. Алавердяна, 65.

Сканирование, OCR — Айвазьян Владимир

17804

"Советаканъ Грохъ"

